МЕМУАРЫ
МЕССИРА Д'АРТАНЬЯНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Простейшим путем к переизданию «Мемуаров месье Шарля де Баатца сеньора Д`Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты мушкетеров короля, содержащих множество вещей личных и секретных, произошедших при правлении Людовика Великого» было бы точно перепечатать оригинальное издание, выпущенное в Колоне в 1700 году.

Не изменяя духу, не опресняя элегантности текста, «Мемуары» были переработаны и даны на языке, понятном и приятном человеку XX века. Сей труд стал произведением месье Эдуарда Глиссана, лауреата Премии Ренодо 1958 года и Интернациональной Премии Шарля Вейона за лучший роман на французском языке 1965 года.

- ТОМ I
  - К ЧИТАТЕЛЮ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ОТ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ
  - УВЕДОМЛЕНИЕ
  - ЧАСТЬ 1
    - Неуместно хвастать своим происхождением
    - Месье де Тревиль и его сыновья, или ошибки отца
    - Честь и добродетель
    - Надругательство в Сен-Дие
    - Головомойка
    - Дворянин в тюрьме
    - Чудесная помощь
    - Под вывеской «Экю де Франс»
    - Париж. Мушкетеры Короля
    - За Короля, против Кардинала
      - Атос, Портос, Арамис
      - Дуэль Портоса
      - Честь стать четвертым
      - Ротондис теряет и вновь обретает сутану
      - Пре-о-Клер
      - Доблестный шпажист
      - Победа
      - Дуэль или встреча?
      - У Месье де Тревиля
      - Одна дуэль нагоняет другую
      - Стычка при Игре в Мяч

- Расследование и контррасследование
- Тактика Месье де Тревиля
- Интриги Кардинала
- Правда — это Мушкетер
- Злоключения Кавуа
- Комедиантка высокой пробы…
- … и врач из комедии
- Королевское вознаграждение
- Военная хитрость Мадам де Кавуа

○ ЧАСТЬ 2

-
- Долги надо платить
- Бемо хвастун
- Фарс по всем правилам
- Появляется еще и другой Кардинал
- В сапогах не маршируют…
- … или война в кружевах
- Атака на конвой
- Вино добавляет смелости
- Война, которая убивает
- Дуэль при бильярде
- Оплошность Его Преосвященства
- Наместник и Мельничиха
  -
  - Месье де Сен-Прей влюбляется в весьма очаровательную мельничиху
  - … похищает ее у мужа,
  - … соблазняет ее всеми способами;
  - … потом подкупает мельника,
  - … покупает у него мельничиху,
  - …он делает из нее свою даму, если не свою жену
- Попытка убийства ведет к большой любви
  - Новости о Росне
  - Гавань любви среди шторма
  - Семейство, обреченное на несчастье
  - Четыре солдата без их сержанта
  - Пистоли берут там, где они есть
  - Преследуемые преследователи
  - Мышеловка
  - Казнь чучела Росне
  - Безжалостный кредитор
  - Герцог де Сен-Симон играет в кости по-крупному

- Обманутый муж одурачен
- ЧАСТЬ 3
  - Несчастья Месье де Сен-Прея
    - Политика Кардинала
    - Борьба против Высшей Знати
    - Герцог де Буйон замышляет заговор
    - Тем же занят Граф де Суассон
    - Секретные миссии
    - Неверная оценка Месье де Тюренна
    - Портрет трех Маршалов Франции
    - Сен-Прей не робеет перед сильными
    - «Моя домохозяйка» становится «моей хозяйкой кабаре»
    - Смерть Суассона и капитуляция Буйона
    - Распутья судьбы
    - Монахини, одержимые бесом
  - Свидания хозяйки кабаре
    - Безумно влюбленный
    - Комната наверху
    - Ловушка
    - Характер ревнивца
    - Намерение и действие
    - Правосудие не дремлет
    - Все заново
- ЧАСТЬ 4
  -
  - Кардинал — великий человек
  - Некто Сенмар
  - Начало заговора
  - Тревиль не говорит ни да, ни нет
  - Боевой кинжал
  - Новая встреча с Орлеаном и Буйоном
  - Тарасконское уединение
  - Умело спровоцированный разгром
  - Шпион доносит
  - Смерть фаворита
  - Смерть Кардинала и конец страсти
    - Кардинал умер, да здравствует Кардинал
    - Настырный ревнивец
    - Жаркое дело
    - Выпавший из окна
    - Доходы полиции
    - Похвальное слово Месье Кольберу
    - Муж рогат и побит

- Нагоняй от Месье де Тревиля
- Отличное письмо разрыва
- Любовь оборачивается ненавистью
- Плата за притупление
- Двое на одного

- ЧАСТЬ 5
  -
  - Преемники Кардинала
  - Агония Людовика Справедливого
  - Завещание Короля
  - Весьма оригинальный монах
  - Сообразительный Кардинал
  - Интриги Государственных Секретарей
  - Герцог д’Ангиен
  - Рокруа
  - Баталия
  - Кардинал Мазарини— первый Министр
  - Раздражения и разочарования нового правления
  - Кабала Вельмож
  - Английские дела
    - Посольство Графа д'Аркура
    - Законы Английской Нации
    - Добровольцы для битвы
    - Французы на переднем крае
    - У Королевы Англии
  - Месть Миледи
    - О значении слова «наглец»
    - Весьма ароматная дуэль
    - Миледи хочет мстить за брата
    - Игра в кошки-мышки
    - Презрение и насмешка
    - Чем рискуют в злачных местах
    - Жестоко обманутая надежда
    - Признание в любви горничной
    - Женщины верят тому, чему желают верить
- ЧАСТЬ 6
  -
  - Канцлерша в восторге от собственного зятя
  - Канцлер упрям, как мул
  - Вспыльчивость Месье де Тревиля
  - Только со шпагой в руке
  - Сорванная дуэль — воссоединенная семья
  - Горничная Миледи
    - Безумие Миледи

- Любовник без лица
- Умирающий от холода и голода…
- …или неудовлетворенная Госпожа
- Ревность горничной
- Отчаяние Миледи
- Ради ночи любви
- Ожесточенный спор о сделке
- По заслугам и награда
- Миледи и Королева
- Все кончается убийством
- Мало симпатичные Англичане
- Атос хочет умереть от любви

○ ЧАСТЬ 7

-
- Принцы и Знатные Сеньоры
- Кошелек дороже жизни
- Слишком молод
- Причины отказа
- Война во Фландрии
- Взятие равелина
- Трусость кадета Менвиля
- Армия, которой не хватает пороха…
- … или экономность Кардинала
- Нашумевшее дело
- Ловко проведенная кампания
- Как хорошо быть Мушкетером
- Тревиль противостоит другому Кардиналу
- Другие влюбленности и Разочарования
  -
  - Молодая, красивая и богатая Дама
  - Еще одна горничная
  - Весьма ловкая Демуазель
- Не следует бегать за двумя зайцами разом
  -
  - Везет в игре, не везет в любви
  - Обманутый обманщик

○ ЧАСТЬ 8

-
- Мудрость Принца де Конде и слава его сына Герцога д'Ангиена
- Вспышка Герцога д'Ангиена
- Снова дорога на Фландрию
- Зависть среди Вельмож
- Нескромный мертвец

- Портрет Дамы
- Две Дамы-соперницы
- Новая любовь
- Памятное письмо
- Месть оскорбленной
- Новая Кампания
- Наставник Короля
- На службе Кардинала
- Осада Куртре
- Убийца при смерти
- Гнев отца
- По примеру Адмирала
- Не надо занимать место рогоносца
- Предусмотрительный муж
- Любовники на седьмом Небе
- Не всякая, что в рясе, — Аббатисса
- Итальянская болезнь
- Тонкая штучка
- Как подчас кончается любовь
- В поисках супруги

○ ЧАСТЬ 9

-
- Взятка Дюнкерка
- Смерть Графа де Лаваля
- Месье де Бюсси-Рабютен совершает похищение
- Еще одна разбитая надежда
- Дамам объявляется банкротство
- Размышления о композиции произведения
- Интриги вокруг Герцога д'Ангиена
- Арест Брусселя
- Баррикады Парижа
- Шпион на Баррикадах
- Угрызения совести провокатора
- А, мошенник! А, злодей!
- Девушка необычайной красоты
- Сам себя перехитрил
- Западня
- Беспощадная битва
- Освобождение Брусселя
- Дворянин — не стражник
- Кардинал-Миротворец

○ ЧАСТЬ 10

- Кардинал де Ришелье или ссора из-за «Сида»
- Кромвель

- Секретный Посредник
- Добрый Советчик
- Обходные пути
- Морская битва
- Встреча с Кромвелем
- Отвратительная миссия
- Казнь Короля Англии
- Парламент Парижа и начало Фронды
  -
  - Король выезжает в Сен-Жермен-ан-Лэ
  - Со шпагой вместо креста
  - Отъезд в Англию
  - В узком кругу с Кромвелем
  - Скупость Его Преосвященства
  - Бормотание Кардинала
  - Заметки по поводу амбиции
  - Битва при Шарантоне
  - Смерть Герцога де Шатийона
  - Стычки среди полей
  - Галантная интрига
  - Парламент разделен
  - Примирение

- notes
  - 1

ТОМ I
МЕМУАРЫ МЕССИРА Д'АРТАНЬЯНА КАПИТАН ЛЕЙТЕНАНТА ПЕРВОЙ РОТЫ МУШКЕТЕРОВ КОРОЛЯ, СОДЕРЖАЩИЕ МНОЖЕСТВО ВЕЩЕЙ ЛИЧНЫХ И СЕКРЕТНЫХ, ПРОИЗОШЕДШИХ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ЛЮДОВИКА ВЕЛИКОГО

К ЧИТАТЕЛЮ

Простейшим путем к переизданию «Мемуаров Месье Шарля де Баатца Сеньора Д'Артаньяна» было бы точно перепечатать оригинальное издание, выпущенное в Кельне в 1700 году. Было бы довольно поменять орфографию конца XVII века и сохранить фразы, слова и пунктуацию эпохи.

Мы выбрали дорогу более трудную, ставящую нас под удар критики.

Не изменяя духу, не опресняя элегантности текста, было, однако, необходимо переиздать «Мемуары» на языке, понятном и приятном честному человеку XX века.

Сей труд стал произведением Месье Эдуарда Глиссана, лауреата Премии Ренодо 1958 года и Интернациональной Премии Шарля Вейона за лучший роман на французском языке 1965 года. Мы надеемся, что эта встреча удачливого мемуариста XVII века и современного маститого писателя будет сочтена доброй, и что представляемое издание будет наилучшим образом оценено читателем.

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полное заглавие этого труда не раскрывает целиком сути изложения, поскольку рассказ о высоких свершениях Месье д'Артаньяна начинается много раньше правления Людовика Великого, появляющегося в королевском обличье лишь к трети рассказа; но, тем не менее, совершеннейшая правда, что при Людовике XIII, либо при Людовике XIV (а чтобы лучше сказать, при Ришелье или Мазарини), автор этих «Мемуаров» никогда не скупится на то «количество вещей личных и секретных», что он нам и пообещал. Признаемся таким образом, что, несмотря на наше удовольствие консультироваться с Историей, и даже малой историей, мы с самого начала обворожены теми самыми «личными вещами», то есть, всем тем, что касается особы Капитана Мушкетеров.

Месье Александр Дюма ответственен, разумеется, в первую голову; он нас очаровал приключениями своего героя; но согласимся также, что за романтическим портретом, выписанным им, мы поначалу изумлены, затем удовлетворены, обнаружив здесь настоящего человека, чья жизнь и писания столь горячо вдохновили автора «Трех мушкетеров». Мы находим, что человек этот на самом деле менее идеален, чем романтический влюбленный Мадам Бонасье. По правде сказать, Месье д'Артаньян был постоянно занят поисками выгодной женитьбы, в чем злосчастная судьба, казалось, не менее постоянно и ревниво ему отказывала, до того дня, когда, к несчастью, наш Мушкетер добился-таки своего. Он мало страдал от щепетильности в области любви и, скажем так, имел откровенную склонность «пожить на счет женщин». Таковы были нравы времени, и одно из многочисленных достоинств «Мемуаров» — не оставлять никаких иллюзий на этот счет. Бесспорное женоненавистничество, наивный эгоизм и ничуть не меньшая суровость — вот ярчайшие характеристики дворянина, не желавшего уронить свой титул в Великий Век. Также неизменное презрение к «Народу» и недвусмысленно выраженные предубеждения против Горожан, особенно, когда, по образу и подобию Канцлера Брусселя, они осмеливались вмешиваться в сопротивление королевской власти. Если бы Месье д'Артаньян глубокомысленно излагал свои взгляды, он надоел бы нам в ту же минуту. Но каким-то чудом видишь его переживающим все бурные перипетии века с тотальным отсутствием манерности в выражениях. Потому что нисколько не хуже героя Месье Дюма, он умеет говорить. Он даже красноречив, как всякий добрый Гасконец; и мы с удивлением

наблюдаем, как сквозь его предубеждения, «естественные» в каком-то роде, он проявляет поистине реальную объективность.

И вот так мы возвращаемся к «вещам секретным», что захватывают нас здесь после свершившихся событий, но, может быть, оттого и более надежно. История решалась тогда в тайне Кабинетов, и Месье д'Артаньян знал ее наилучшим образом. Он не был заглавным ее актером, но, по меньшей мере, весьма немаловажным. Все в его «Мемуарах»: короли, принцы, кардиналы и министры — их характеры, их политика, их странности. Особы, влюбленные в литературу, смогут увидеть здесь играющего в кости Месье де Сен-Симона — отца, Мадам [XI] де Севинье, в пылу интриг организующую защиту ее друга Месье Фуке, и герцога де Ла Рошфуко, раненного в сражении в Предместье Сент-Антуан. Они увидят здесь вызванную в памяти в столь же краткой, как и справедливой форме «Распрю Сида». Любители галантности и деликатных удовольствий (если такие найдутся) поприветствуют по пути Нинон де Ланкло и Бюсси Рабютена, с ним так плохо тогда обращались. Те, кто увлечен Боссюе и его «Надгробным словом над принцем де Конде», обрадуются возможности продолжить здесь классическую параллель между этим принцем и Виконтом де Тюренном. Привычные к «жизни повседневной» насладятся интригами Двора, сценами нравов воинских, галантных, судейских. Люди серьезные поразмыслят немного о положении женщины в те времена, о статусе протестантов, об акциях финансистов, о гении Кольбера, да разве я все упомню? Вот только чего здесь не хватает, так это народа, чей голос, однако, так или иначе поднимается издалека, и, может быть, кто-нибудь удивится, увидев такое множество деталей, данных Месье д'Артаньяном о том обществе; не так уж много лет отделяло Мушкетера — Фигаро от Фронды 1648 и от революции 1789 годов.

Но каждый быстро забудет свое пристрастие или собственную «специализацию», и касается это не только обидчивого и строгого историка, кто вскоре откажется ловить нашего автора на том или ином пункте. Поскольку все будут очарованы. Колоритность рассказа (где он не пренебрегает обращением к поговоркам и грубым удовольствием от игры слов), непринужденная легкость письма ответственны за вашу слабость. История Росне, обидчика молодого д'Артаньяна, или превратности Бемо, приятеля его юношеских лет, служащего почти противоположностью его успехам, филигранью пробегают через рассказ — это уже техника романа. Портрет в полный рост кардинала Мазарини, причем, казалось бы, повествователь вовсе не касается его, — один из самых замечательных успехов произведения, — вот где истинное

искусство портретиста. И как не отметить манеру и ее нюансы, с которой сей Мушкетер Короля признает свое немое восхищение перед кардиналом де Ришелье, замечательно анализируя (и кратко, что имеет свои достоинства) его труды реформатора.

Столько материала и такого богатого разнообразия почти сами собой нашли свой «порядок». Потому никто не сможет обвинить нас в делении на главы данного издания и на присутствие подглавок в тексте. Кроме того, что такое расположение было необходимо для общего восприятия целого, мы заранее протестуем против обвинений, что мы якобы не следовали по накатанной дороге рассказа, пренебрегли серией эпизодов и не согласились с остроумием автора. Мы можем сказать, имитируя Месье де Куртлица в его «Уведомлении» к изданию 1700 года — вот также и все, что мы привнесли нашего.

Мы уважили с той же свободой выражения, как во времена Месье д'Артаньяна, две маленьких мании, показавшиеся нам довольно очаровательными, чтобы быть поддержанными; первая — совершенно английская — начинать с заглавных букв самые обыденные слова — правда, «Дама» может быть прелестнее, соблазнительнее, чем просто «дама»; вторая переносит на весьма разнообразную орфографию имена собственные — и нам кажется вполне законным писать Hedin, как и Hesdin, или же генерал 'Orteste, как генерал Lorteste [1]. Мы следовали, значит, за автором в любезной ему свободе, без всякого навязывания ему, так же, как и нам, никакого регламента в повествовании. Наконец, когда мы были вынуждены выбирать между вычурным выражением и банальностью, мы отсекали банальность, по меньшей мере, надеемся, что так.

Нередко бегут от истории к легенде, по естественной наклонности человеческого духа. Здесь мы восходим от легенды к истории и от Месье Дюма к Месье д'Артаньяну. Быть может, автор «Монте Кристо», чей отец был антильцем, видел на Мартинике, в двадцати километрах от Фор-де-Франс, могилу Маркиза де Баас, первого Генерального Наместника Антильских островов и брата Месье д'Артаньяна? По крайней мере, мы можем это романтично предположить. Кто знает, не задумался ли романист живописец над надписью, украсившей могильный камень, и не решился ли он подняться по течению времени в поисках этого семейства Баас, казалось, явно отмеченного гением авантюры? Как бы там ни было, поблагодарим в конце концов Месье Дюма; он с блеском открыл нам имя д'Артаньяна, он откопал его «Мемуары», талантливо черпал из этой одной из самых привлекательных «Хроник» XVII века, но так и оставшейся неисчерпаемой.

ЭДУАРД ГЛИССАН

ОТ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ

Отдавая должное труду переводчика, мне хотелось бы дать некоторые пояснения к тексту. Я прекрасно понимаю трудность перевода иностранных имен и географических названий русскими буквами. Мало того, что французские имена читаются не всегда так, как пишутся, а с учетом тех или иных местных традиций, восходящих к тем временам, когда французский язык еще не сложился в современном виде, и произношение имен весьма значительно зависело от местных диалектов, а написание вообще зависело от настроения писавшего. Кроме того, и в русском языке сложились определенные традиции написания тех или иных имен, которые тоже весьма далеки от того, как их воспринимают французы. Так, как-то в молодости, мне не удалось объяснить одному французу, что я понимаю под словом «Вогезы». Я говорил и про горы, и про департамент, и про площадь в Париже, но он меня так и не понял. Лишь позже я узнал, что «Вогезы» по-французски произносятся как «Вож». Ну и как он мог меня понять? Ну ладно я. Я учил французский по самоучителю, чтобы понимать французские тексты. Стоит посмотреть официальные наградные листы летчиков «Нормандии». Вряд ли сами французы на слух могли определить, где чей.

Конечно, переводчик имеет полное право передавать имена так, как сочтет нужным. Но читателю не всегда сразу ясно, о ком идет речь. Скорее всего, он об этом догадается, но для этого понадобится некоторое время и усилие. Мне бы хотелось несколько облегчить этот процесс. И тогда за каким-то малознакомым именем возникнет хорошо известный персонаж, что заставит несколько по-иному воспринимать прочитанное.

Автором апокрифических мемуаров г-на д‘Артаньяна считается Гасьен (иногда пишут — Гатьен) де Куртиль де Сандра. В предисловии он упомянут как г-н де Куртлиц.

Несколько раз упомянут город Колон, или Колонь. Только вспомнив «о-де-Колон», можно догадаться о хорошо всем известном Кёльне.

Общепринято, что наследник титула принца де Конде, именуется герцог д’Энгиен, а не д'Ангиен, как здесь (хотя, если следовать правилам французской орфографии, это, как мне кажется, более правильно).

Но вот граф (позже — герцог) де Сент-Эньян никак не может быть прочитан как де Сент-Аньан.

Широк известен, и по литературе, и по истории, заговор маркиза де Сен-Мара, указанного здесь как де Сенмар.

Часто встречается в мемуарах госсекретарь де Нуайе, именуемый здесь как Денуайе.

Чаще встречаются маркизы де Куалены, а не Коэлены, хотя их как только не писали.

Имя герцогов де Роан мало кому что говорит, а Роганов знают все.

То же самое с де Нассо и Нассау.

Герцог Лотарингский более нам привычен, чем герцог де Лорен.

Да и фамилия самого д'Артаньяна пишется у нас то как Баац, то Батс, то с любыми другими комбинациям «а» — «аа», и «тс» — «ц».

Ну а если кто-либо захочет поставить переводчику в укор некую вольность в написании им имен, пусть вспомнит, что никогда в истории Франции не существовало человека с фамилией Ришелье, зато было много различных Ришельё.

Традиции!

А.И. Засорин

УВЕДОМЛЕНИЕ к изданию 1700 года

Теперь, когда нет больше Месье д'Артаньяна, он мертв, а встречался он со многими особами, знавшими его и даже бывшими ему друзьями, они не рассердятся, особенно те, кто находили себя достойными его уважения, что я собрал здесь некоторое количество отрывков, найденных мной среди бумаг покойного. Я воспользовался ими для составления этих Мемуаров, для придания им определенной связности. Они ее не имели вовсе, и только в этом вся честь, на которую я претендую, выпуская этот труд. Это также все, что я вложил сюда моего. [2]

Я вовсе не забавляюсь прославлением его происхождения, хотя нашел по этому поводу чрезвычайно лестные вещи среди его писаний. Боюсь, как бы меня не обвинили в угодничестве перед ним, тем более, что весь свет не согласен считать его потомком той фамилии, чье имя он принял. Если так оно и есть, то он не единственный, кому хотелось бы казаться чем-то большим, чем он был. Его товарищем по судьбе, по крайней мере, когда их подгонял попутный ветер, был Месье де Бемо, Солдат Гвардии вместе с ним, потом Мушкетер и, наконец, Комендант Бастилии. Вся разница между ними в том, что после того, как они начали на равных, познав много бедности и лишений, вознесшись выше их надежд, один умер столь же нищим, каким явился на свет, а другой — необычайно богатым. Богатый, то есть, Месье де Бемо, так никогда и не испытал ни единого мушкетного выстрела; но подхалимство, скупость, жестокость и ловкость ему послужили много лучше, чем искренность, бескорыстие, доброе сердце и доблесть, чем другой мог бы поделиться с сотней. Они оба были, чему надо бы верить, добрыми слугами Короля; но служба одного останавливалась без очередного кошелька, так что он походил на известного Посла Короля в Англии, про кого Его Величество говорил, что он не способен истратить ни одного су, пусть даже дело бы шло о спасении Государства; тогда как д'Артаньян ни во что не ставил деньги, как только вопрос заходил о его службе. Если я заговорил здесь о Месье Бемо, то просто потому, что множество вещей будет сказано о нем в дальнейшем, и очень кстати познакомиться с тем, что он собой представляет.

Я ничего не скажу здесь об этом произведении. Что бы я ни сказал о нем, я не сделаю его более достойным уважения. Нужно, чтобы оно было таковым само собой да так и предстало глазам других; может быть, я обманусь в моем суждении о нем, потому

что приложил к нему руку тем или иным образом, а ведь всегда становишься любителем того, что сделал. В самом деле, не являясь отцом, я помогал ему в выборе направления. Итак, я не должен быть менее подозрителен, чем мэтр, желающий поговорить с учеником; он прекрасно знает, что тому воздадут всю славу за то, что было рекомендовано педагогом. Я, значит, не скажу ничего из страха самому подвергнуться [3] цензуре, лучше я приберегу для нее других. Мне больше нравится оставить всю славу Месье д'Артаньяну, если рассудят, что он достоин хоть какой-нибудь за составление этого труда, чем разделить с ним позор, если публика сочтет, что он не сделал ничего стоящего. Все, что я выдвину в мое оправдание, если я, конечно, не скажу ничего, что может обидеть, так это то, что приготовленные для меня материалы виновны во всем нисколько не меньше, чем я сам. Никто не сумеет построить большой и великолепный дом, если в его распоряжении не окажется того, что потребно для осуществления проекта. Никто не сможет также мелкий бриллиант заставить выглядеть превосходным, какую бы ловкость он при этом ни проявил; но поговорим по чистой совести; и к чему мне притворяться скромником? Я говорил против моего собственного чувства, когда заявлял об отсутствии у меня материалов или о том, что не смогу сложить их наилучшим образом. Скажем же лучше с полной откровенностью, что материал, найденный мной здесь, драгоценен сам по себе, и, вполне возможно, я найду, как им воспользоваться не самым дурным способом.

Текст воспроизведен по изданию: Мемуары мессира Д'Артаньяна Капитан Лейтенанта первой Роты Мушкетеров Короля содержащие множество вещей личных и секретных, произошедших при правлении Людовика Великого. М. Антанта. 1995

ЧАСТЬ 1
Из Беарна в Париж

Неуместно хвастать своим происхождением

Я не стану вовсе забавляться здесь рассказами ни о своем рождении, ни о своей юности, потому что не нахожу, что мог бы о них сказать достойного отдельного рапорта. Когда я скажу, что рожден Дворянином из хорошего Дома, я извлеку из этого, как мне [6] кажется, мало проку, поскольку происхождение есть чистое проявление случая или, лучше сказать, божественного провидения. Оно позволило нам родиться, как ему было угодно, и чем же нам тут хвалиться. К тому же, хотя имя д'Артаньян было уже известно, когда я явился на свет, а я послужил тому, чтобы возвысить его звучание, потому что судьба была ко мне порой снисходительна; тем не менее этого далеко не достаточно, чтобы его известность сравнилась с Шатийонами на Марне, Монморанси и некоторыми другими Домами, что блещут среди Знати Франции. Если и пристало кому-то похваляться, хотя этим кем-то должен быть разве что Бог, то это особам, вышедшим из столь прославленного ряда, как этот. Как бы там ни было, воспитанный довольно бедно, потому что мой Отец и моя Мать не были богаты, я не думал ни о чем ином, как уйти на поиски судьбы, как только достиг пятнадцатилетнего возраста.

Все Недоросли Беарна, Провинции, откуда я вышел, были в том же настроении, как потому, что эти люди очень воинственны, так и потому, что скудость их Страны не обещает им никаких особых наслаждений. Еще и третья причина подгоняла меня, ничуть не наименьшая — она и до меня призвала нескольких моих соседей и друзей как можно раньше покинуть уголок их очага. Бедный дворянин из нашего ближайшего соседства ушел в Париж несколько лет назад с маленьким сундучком за спиной, и он добился столь великого положения при дворе, что если бы он был так же гибок характером, как и храбр, он мог бы пожелать всего. Король отдал ему Роту Мушкетеров, единственную в те времена (динственная Рота — поначалу Корпус Мушкетеров Короля состоял из одной-единственной роты, ее капитаном и был Месье де Тревиль. Корпус разросся при Людовике XIV, в рамках систематической реформы армии, проведенной Лувуа). Его Величество даже говорил, чтобы лучше засвидетельствовать уважение, какое он к нему питал, что если ему придется выдержать какую-нибудь личную схватку, он не пожелает никакого другого секунданта, кроме него.

Месье де Тревиль и его сыновья, или ошибки отца

Дворянин этот звался Труавиль, вульгарно названный Тревиль; у него было два сына, довольно ладно скроенных, но далеких от того, чтобы пойти по его стопам. Они живы еще оба и сегодня; [7] старший при Церкви, его отец рассудил, что ему кстати такое положение; из-за того, что он перенес операцию в юности, отец счел, что он будет менее способен, чем его брат, выдерживать тяготы Войны. Как, впрочем, верят большинство отцов, из всех вещей они обязаны предлагать Богу хлам; итак, Месье де Тревилю больше нравилось возложить на младшего заботу и попечение о судьбе Дома, возведенного его трудами; он находил в нем более разума, чем в том, кому это должно было естественно быть поручено. Итак, он отдал младшему право старшинства и удовольствовался тем, что раздобыл крупное Аббатство его брату. Но, как часто случается, те, у кого больше разума, совершают самые большие ошибки; этот младший, сделавшийся таким образом старшим, оказался столь непереносим всем молодым людям его возраста и его положения, желая им показать, что он ловчее их, что они не могли ему этого простить. Они обвинили его в свою очередь, утверждая, что если они и не способнее его во многих вещах, то, по меньшей мере, они его храбрее. Я не знаю, почему они так сказали, и я даже не верю, что они были правы; но так как верят скорее плохому, чем хорошему, слух этот достиг ушей Короля, кто сделал его некогда Корнетом Мушкетеров; Его Величество не желал в своем Доме людей, чья отвага была бы под сомнением; он потихоньку намекнул ему оставить Роту и перейти в Полк Кавалерии. Тот так и сделал; то ли он заподозрил, что Король действительно этого желает, то ли со всем своим разумом он попал впросак. Однако, более, чем никогда, позволило его заподозрить в слабости то, что с началом Кампании Лиля он покинул свой полк, чтобы броситься к Отцам Оратуар; еще бы ничего, если бы он надел рясу и посвятил там себя Богу, он просто снял там апартаменты, и когда он их даже оставил после, это дало неоценимый повод тем, кто хотел ему зла, продолжать их недобрые разговоры. [8]

Честь и добродетель

Мои Родители были так бедны, что они не могли мне дать ничего, кроме лошадки в двадцать два франка с десятью экю («С десятью экю» — Поскольку Месье д'Артаньян часто будет говорить о деньгах, читатель должен помочь себе следующей суммарной таблицей сравнительных стоимостей эпохи: 1 денье = двенадцатая часть одного су.; 1 лиар = 3 денье.; 1 су = 4 ливра.; 1 франк = 20 су.; 1 ливр = 1 франк = 20 су.; 1 экю = 3 ливра = 3 франка.; 1 пистоль = 10 ливров = 10 франков.; 1 луидор = 2 пистоля = 20 ливров = 20 франков.; 1 двойной луидор (или квадрюпль) = 40 франков, что составит 13.000 денье. Эти стоимости приблизительны, ливр и луидор особенно разнились в цене; су и франк были основными монетами; денье и ливр — мелкой расхожей монетой) в кармане для осуществления моего вояжа. Но они дали мне не только деньги, они мне расточили, в форме компенсации, множество добрых советов. Они мне порекомендовали хорошенько поостеречься и никогда не проявлять трусости, потому что, если это случится со мной хоть раз, я не опомнюсь от нее всю мою жизнь. Они мне растолковали, что честь военного человека, а именно эту профессию я намеревался выбрать, была так же деликатна, как честь женщины; ее добродетель никогда не может быть заподозрена, без чего жизнь ее станет бесконечным упреком в мире, даже если после она найдет средство оправдаться; что я мало знаю о том, как поступают с женщинами сомнительной добродетели, что то же бывает и с мужчинами, запятнавшими себя какой-нибудь трусостью; что я должен бы всегда иметь это перед глазами, потому что я просто не могу слишком рано запечатлеть это в мозгу.

Порой опасно представлять молодому человеку слишком живой портрет определенных вещей, потому что в нем нет еще духа хорошенько их переварить. Я заметил это в момент, когда мне явился рассудок, но в ожидании его я натворил кучу ошибок, из желания применить буквально все, что они мне сказали. Как только я видел, что мне упорно смотрели в глаза, я тут же находил повод повздорить с людьми, не имевшими частенько никакого намерения нанести мне оскорбление.

Надругательство в Сен-Дие

Впервые такое приключилось со мной между Блуа и Орлеаном, стоило это мне немного дороговато и должно было бы сделать меня мудрее. Моя лошадка настолько утомилась от дороги, что едва ли была в силах поднять хвост, и вот местный дворянин посмотрел на меня и моего коня презрительным взглядом. Я прекрасно видел и его самого, и ту улыбку, какой он невольно обменялся с двумя или тремя особами, что были вместе с ним; все это [9] происходило в маленьком городке под названием Сен-Дие, — он приехал сюда, как я узнал потом, чтобы продать здесь леса, и стоял с торговцем, к кому он и обращался, а также с нотариусом, устраивавшим сделку. Его улыбка была мне так неприятна, что я не мог помешать себе засвидетельствовать ему мое неудовольствие в очень обидных словах. Он был намного более мудр, чем я, он сделал вид, что не слышит — либо он принял меня за ребенка, не могущего его оскорбить, либо он не хотел пользоваться превосходством, каким, по его уверенности, он обладал надо мной. Ибо он был крупным мужчиной в самом расцвете сил, и можно было сказать, осмотрев нас обоих, что я, должно быть, сошел с ума, осмелившись атаковать особу вроде него. Однако за меня был довольно-таки добрый рост, но всегда кажешься ребенком, когда тебе не более лет, чем мне было тогда; все, кто были с ним, превозносили про себя его сдержанность, в то же время ругая меня за неуместную выходку. И только я принял все это иначе. Я нашел, что его презрение еще более оскорбительно, чем первое надругательство, что, как мне казалось, я получил. Итак, теряя уже совершенно всякий рассудок, я пошел на него, как фурия, не принимая во внимание, что он-то был на своей земле и что мне придется помериться силами со всеми, кто составлял ему компанию.

Головомойка

Он повернулся ко мне спиной после того, что произошло, и я крикнул ему сначала взять шпагу в руку, потому что я не тот человек, чтобы атаковать его сзади. Он же настолько меня презирал, что, как ребенку, посоветовал мне проходить своей дорогой, вместо того, чтобы сделать так, как я ему говорил; я почувствовал себя в таком раздражении гнева, — хотя обычно я всегда был довольно сдержан, — но тут я нанес ему два или три удара шпагой плашмя по голове.

Дворянин, звавшийся Росне, в то же время взял шпагу в руку и пригрозил мне, что он не замедлит более заставить меня раскаяться в моем [10] помешательстве. Я не придал значения тому, что он говорил, и, может быть, ему пришлось бы потрудиться исполнить обещание, когда я почувствовал себя осыпаемым ударами вил и палки. Двое тех, что были вместе с ним, причем один из них держал в руке палку, которой обычно измеряют деревья, первыми набросились на меня, тогда как двое других нырнули в ближайший дом подыскать другие орудия, какими они собирались меня атаковать. Поскольку они захватили меня сзади, я вскоре был выбит из боя. Я даже упал на землю, с лицом, залитым кровью из раны, нанесенной мне ими прямо в голову. Я крикнул Росне, видя надругательства, каким меня подвергали, что это совершенно недостойно честного человека, за какого я его поначалу принял, если в нем есть хоть немного чести, он не может тайно не упрекать себя в том, что терпит подобное гадкое обращение со мной, я-то его счел за дворянина, но теперь ясно вижу по его поведению, он просто ничтожество, и он хорошо сделает, приказав прикончить меня, пока я в его власти, поскольку если я когда-нибудь отсюда выберусь, я найду однажды, с кем переговорить. Он мне ответил, что не был причиной этой случайности, я сам навлек ее на себя по моей же ошибке; он далеко не вправе командовать вот этими людьми, издевавшимися надо мной, как им хотелось, он от этого в отчаянии, но я, тем не менее, мог бы воспользоваться этой трепкой, дабы быть более мудрым в будущем.

Эта фраза показалась мне такой же бесчестной, как и его поведение. Если начало ее я нашел довольно сносным, то продолжение мне совсем не понравилось. По этой причине я наговорил ему еще и других угроз, не имея иного вооружения, кроме собственных слов, тогда как меня повели в тюрьму.

Если бы при мне по-прежнему была моя шпага, они бы не потащили меня туда, как им это удалось, но эти люди завладели ею, застав меня врасплох, и даже сломали ее в моем присутствии, чтобы еще больше меня опозорить. Я не знаю, что они сделали с моей лошадкой и моим бельем, только я никогда [12] уже их не увидел. На меня донесли в пользу этого дворянина, и хотя побит был я, и мне следовало требовать возмещения крупных убытков, меня еще и приговорили к ответственности перед ним. Меня обвинили в нанесении ему оскорблений и зачитали мой приговор; я сказал Секретарю суда, что я его обжалую. Эта каналья наплевала на мое обжалование и, приговорив меня еще и к оплате судебных издержек, забрала себе все деньги за лошадку и белье, их, видимо, уже успели продать. Меня продержали в тюрьме два с половиной месяца, ожидая, не явится ли кто за мной и не заплатит ли мои судебные долги.

Я бы намного больше страдал во время моего заточения, если бы через четыре или пять дней местный Кюре не явился меня навестить. Он постарался меня утешить и сказал мне, что, к моему несчастью, не оказалось на месте дворянина, соседа Росне; при нем расследование прошло бы совсем иначе, чем оно было сделано. Но теперь слишком поздно чему бы то ни было помочь; все, что этот дворянин может сделать для меня — предложить мне помощь, на какую он только способен; он всегда пошлет мне несколько рубашек и какие-нибудь деньги, и если не является навестить меня сам, то только потому, что у него была размолвка с моим врагом, и он его даже немного помял, в результате чего на него был наложен запрет от имени Сеньоров Маршалов Франции (Трибунал Маршалов Франции — разбирал определенные распри между дворянами и, кроме того, нарушения Эдиктов о дуэли. Дуэль была запрещена по причине опустошений, что она вносила в ряды знати. 4000 дворян умерли на дуэли за девять лет правления Генриха IV) — под угрозой тюрьмы предпринимать что-либо, противное их мнениям.

Чудесная помощь

Такая помощь могла бы быть мне как нельзя более кстати. У меня забрали все, что оставалось от десяти экю, когда посадили меня в тюрьму. У меня была всего лишь одна рубаха, да и та не замедлила бы сгнить прямо на теле, потому что никакой смены у меня не было. Но так как я обладал добрым запасом того, в чем, как обвиняют Беарнцев, они никогда не нуждаются, то есть большой гордостью, я счел за оскорбление предложение мне такой милостыни. Потому я ответил кюре, что очень обязан дворянину, [13] пославшему его, но он меня еще не знает; я был таким же дворянином, как и он, и никогда не совершу ничего, недостойного моего рождения, а оно меня научило ни от кого и ничего не принимать, кроме как от Короля; и я намерен придерживаться этого правила, и скорее умереть самым отверженным на свете, чем изменить ему.

Дворянин, кому рассказали все, что я сделал, засомневался в моем ответе и преподал урок кюре на случай, если я откажусь; следовало сказать мне, якобы он и не рассчитывал отдавать мне ни денег, ни своих рубах, но одолжить мне их до тех пор, пока я не смогу вернуть ему и то, и другое; и дворянин впадает иногда в нужду, как обычный человек, и ему вовсе не возбраняется, как и этому последнему, обратиться к своим друзьям, дабы выбраться из нее. Я нашел, что моя честь таким образом не будет затронута. Я составил расписку кюре на сумму денег и стоимость рубах; это составило сорок пять франков. Мои денежные траты были замечены и удлинили мне срок пребывания в тюрьме до двух с половиной месяцев; как я сказал, правосудие продлило бы его и дольше в надежде на то, что тот, кто дал мне деньги, даст их и еще, лишь бы вырваться из его лап. Но кюре позаботился убедить правосудие, что эта милостыня, прошедшая через его руки, поддержала меня. Итак, эти мерзавцы, поверив, что ничего больше не выиграют, охраняя меня и дальше, выставили меня вон.

Под вывеской «Экю де Франс»

Сразу же, как я вышел на свободу, я отправился к кюре поблагодарить его за добрые услуги и за все труды, понесенные им ради меня. Ведь кроме уже сказанного мной, он еще и вымаливал мое освобождение и наверняка ничем здесь не повредил. Я спросил его, позволено ли мне пойти повидать моего кредитора, и засвидетельствовав ему мою признательность, заверить его, как только я буду в состоянии, я немедленно верну ему все, что задолжал. Он мне ответил, что этот последний приказал [14] ему просить меня ничего не предпринимать из страха, как бы мой визит не насторожил его и моего врага; однако он хочет меня увидеть и на следующий день явится инкогнито в Орлеан; мне же следует поселиться там в «Экю де Франс» и подождать его в этом месте, или, по меньшей мере, он явится туда в то же время, что и я, одолжит мне своего коня для удобства моего пути, и поскольку он прекрасно знает, у меня не могло остаться больше денег из тех, что он мне передал, он мне одолжит еще для завершения моего путешествия.

Я действительно испытывал нужду, как он и говорил; потому, не прочь найти такую помощь, я уехал на следующий день в Орлеан, решившись как можно раньше вернуться в те края, что я покидал, дабы возместить деньги, одолженные мне тут, и отомстить за оскорбление, тут же полученное мной. Я бы даже никуда не уехал, не удовлетворив моей справедливой досады, если бы кюре не известил меня, что дворянин, с каким я имел дело, узнав о моем скором выходе из тюрьмы, уселся в седло и отправился в свои земли в пятидесяти или шестидесяти лье отсюда. Я нашел такое поведение достойным его и не сказал кюре, что я о нем думаю, потому что хорошо знал, — те, кто более всего грозят, менее всего опасны; я уехал на следующий день пораньше по дороге на Орлеан.

Я поселился в «Экю де Франс», и дворянин, столь любезно выручивший меня, звавшийся Монтигре, явившись в тот же день, познакомился со мной. Я поблагодарил его с живейшей признательностью, и после того, как он мне ответил, что это такая малость, что не стоило труда и упоминать о ней, я навел его на разговор о Росне. Увидев, что меня съедает нетерпение достать его, он мне сказал, что я должен взяться за дело тонко, если хочу в нем преуспеть, потому что этот Росне способен сделать со мной то же, что сделал с ним, то есть, если он [15] случайно заметит, что я преследую его, он тотчас вынудит меня явиться перед Маршалами Франции и таким образом лишит меня

всех средств, что я мог бы предпринять; мне нужно использовать величайшую скрытность, если я хочу его сцапать.

Этот дворянин всеми силами хотел усадить меня в наемную карету. Он одолжил мне еще десять испанских пистолей, хотя я выдвигал невероятные трудности, чтобы их не брать; теперь я задолжал ему около двух сотен франков, даже не доехав еще до Парижа. По правде говоря, это было почти все, что я мог надеяться получить в наследство; как я уже докладывал, мои богатства не были непомерно велики; но, оставив себе надежду в придачу, я завершил мою дорогу, договорившись предварительно с Монтигре, что он мне будет сообщать новости о себе, а я ему — обо мне.

Париж. Мушкетеры Короля

Едва прибыв в Париж, я отправился на поиски Месье де Тревиля, жившего прямо возле Люксембурга. Я вез рекомендательное письмо для него от моего отца. Но, к несчастью, у меня его забрали в Сен-Дие, и кража только увеличила мой гнев против Росне. Он же сделался еще более скромен, потому что из письма узнал, что я дворянин и должен найти покровительство у Месье де Тревиля. Наконец я решился рассказать ему самому все, что со мной произошло, хотя мне было очень трудно это сделать, потому что, мне казалось, у него сложится совсем неважное мнение обо мне, когда он узнает, что я явился оттуда, не вырвав удовлетворения за полученное унижение.

Я расположился в его квартале, чтобы быть поближе к нему. Я снял маленькую комнатку на улице Могильщиков, совсем рядом с Сен-Сюлъпис, под вывеской «Вольный Лес». Там имелась игра в шары, а одна из дверей выходила на улицу Феру. На следующее утро я отправился к утреннему туалету Месье де Тревиля; вся его прихожая была забита [16] Мушкетерами. Большая часть из них была моими земляками, что я прекрасно услышал по их разговору; и, оказавшись таким образом почти в родной стране, я счел себя сильнее наполовину, чем был прежде, и подошел к первому, кто попался мне под руку. [17]

За Короля, против Кардинала

Атос, Портос, Арамис

Истратив часть денег Монтигре, я хорошенько отчистился и не забыл обычай страны, гласивший — когда не имеешь ни су в кармане, позаботься хотя бы о плюмаже над ухом и о цветном банте на галстуке. Тот из Мушкетеров, к кому я подошел, звался Портос и оказался соседом моего отца, жившим от него в двух или трех лье. У него было два брата в Роте; одного из них звали Атос, а другого Арамис. Месье де Тревиль вызвал их всех троих из страны, потому что они провели там несколько битв, чем заслужили большое уважение в Провинции. Впрочем, ему было очень просто подбирать себе людей, потому что существовала такая ревность между Ротой Мушкетеров и ротой Гвардейцев Кардинала де Ришелье, что схватывались они врукопашную ежедневно. [18]

Сплошь и рядом случаются ссоры между видными людьми, особенно когда идет спор, у кого из них более доброе имя. Но вот удивительно — эти мэтры первым делом хвастают обладанием людьми, чья храбрость не имеет себе равной у других. Не было ни единого дня, когда бы Кардинал не кичился отвагой своих Гвардейцев, а Король не стремился ее принизить, потому что он прекрасно видел, как Его Преосвященство думает этим лишь возвысить свою Роту над его собственной. И это правда, таково и было намерение Министра, недаром он разослал по Провинциям специальных людей; они привозили ему тех, кто там становился опасным из-за своих личных потасовок. Итак, хотя существовали строжайшие Эдикты против дуэлей, и были подвергнуты смертной казни несколько особ высочайшего положения, сошедшиеся в поединке, несмотря на их опубликование, этот министр не только давал пристанище подле себя провинциальным бретерам, но еще, и чаще всего, уделял им часть своих добрых милостей.

Портос спросил меня, кем я был с тех пор, как прибыл, и с каким намерением я явился в Париж. Я удовлетворил его любопытство. Он сказал мне, что имя мое не было ему неизвестно, он часто слышал от своего отца о бравых людях из моего Дома, и я, должно быть, на них похожу, или же мне следует незамедлительно вернуться в нашу страну. Рекомендации родителей, данные мне перед отъездом, сделали меня столь щепетильным во всем, относящемся к вопросам чести, что я не

только начал пристально вглядываться ему в глаза, но еще и спросил его довольно резко, почему это именно ко мне он обращается с подобной речью, уж не сомневается ли он в моей отваге, я не замедлю ему ее показать; стоит ему лишь спуститься со мной на улицу, и вскоре все будет закончено.

Дуэль Портоса

Он расхохотался, выслушав мое обращение к нему, и сказал мне, что при быстрой ходьбе обычно преодолевают большую дорогу, но, может быть, [19] я еще не знаю, больнее всего расшибают себе ноги, как раз слишком торопясь вперед; если надо быть бравым, то для этого совсем не нужно быть задирой; обижаться же некстати — столь же позорная крайность, как и слабость, какой хотят избежать таким путем. Но раз уж я не только из его страны, но еще и его сосед, он хотел бы послужить мне наставником, а не драться со мной; однако, если мне так приспичило напороться, он предоставит мне такую возможность в самом скором времени.

Я подумал, когда услышал такой разговор его со мной, прикинувшись скромником, он готовит мне добрую взбучку. Итак, поймав его на слове, я поверил, что мы обнажим шпаги, как только спустимся на улицу; но, когда мы были у двери, он сказал мне следовать за ним в девяти или десяти шагах, не приближаясь к нему. Я не знал, как мне это понимать, но, рассудив, что скоро все выясню, решил запастись терпением до тех пор. Он спустился вдоль улицы Вожирар по стороне, ведущей к разутым Кармелитам (Разутые Кармелиты — религиозный орден, его члены ходили «разутыми», то есть в легких сандалях и без чулок. Один из четырех нищенствующих орденов). Он остановился у дворца Эгийон, обратился к некому Жюссаку, стоявшему у двери, и добрых четверть часа беседовал с ним. Когда он к нему подошел, я подумал, они сейчас обнимутся, что они были лучшими друзьями на свете, в чем я разубедился, когда, проходя мимо, повернул голову, посмотреть, не последует ли за мной Портос, и увидел Жюссака, говорившего с жаром, как весьма недовольный человек. Я пристроился у двери Голгофы, религиозного дома, находившегося поблизости; там я ожидал моего человека, как я видел, отвечавшего в том же тоне; они даже оба вышли на середину улицы, чтобы Швейцарец дворца Эгийон не подслушал, о чем они говорили. Я увидел со своего поста, как Портос указывает на меня, это обеспокоило меня еще больше, я ведь вовсе не знал, что все это означает.

Честь стать четвертым

Наконец Портос, после долгого разговора, подошел ко мне и рассказал, как здорово он поспорил ради любви ко мне; теперь они должны будут [20] драться через час, трое на трое, на Пре-о-Клер в конце Предместья Сен-Жермен; и, решившись, ничего мне не говоря, принять меня в свою партию, он убеждал этого человека найти четвертого, чтобы я смог испытать себя против него. Другой ему отвечал, что не знает, где найти такого человека за час, потому-то они и заспорили. Я должен был понять из его рассказа — лично он просто не мог принять мой вызов и, вообще, зачем гоняться за двумя зайцами разом. Тут я понял все, о чем не мог догадаться раньше, и я спросил у него имя этого человека, и не он ли был зачинщиком спора. Он поведал мне все, о чем я хотел узнать. Звали его Жюссак, и он командовал в Гавре при Герцоге де Ришелье, кто был Наместником города. Он же был и зачинщиком спора, поссорившись по этому поводу с его старшим братом. Один утверждал, что Мушкетеры разобьют Гвардейцев Кардинала всякий раз, когда с ними встретятся, другой же поддерживал обратное.

Я благодарил его, как только мог, говорил ему, что оставил дом в намерении взять Месье де Тревиля себе в Патроны, а он мне доставил удовольствие, выбрав меня вместе с другими своими друзьями поддержать спор в честь его Роты. К тому же, как я знал, всегда было славно принимать партию Короля, в ущерб всем заманчивым предложениям, с какими подступал к нему Его Преосвященство. Я с легким сердцем шел на битву за дело, бывшее не менее по моим наклонностям, как и по его. Я бы и сам не смог сделать лучшего для собственного пробного удара. И я попытаюсь не уронить доброго мнения, выраженного им по поводу моей храбрости. Мы дошагали в такой беседе за монастырь Кармелитов, где мы свернули на улицу Шкатулки; мы спустились по всей ее длине и, добравшись до угла улицы Голубятни, вошли на улицу Святых Отцов, потом на улицу Университета, в конце которой и находилось место, где должно было состояться наше сражение.

Мы нашли там Атоса и его брата Арамиса; они не знали, что и подумать, когда увидели меня вместе [21] с Портосом. Они отвели его в сторону, потребовав у него ответа; он рассказал им о том положении, в какое я его поставил, он не мог найти лучшего выхода из затруднения; они заметили его огромную ошибку — кто же выворачивается таким образом? Кто я такой? Всего лишь ребенок, и Жюссак не замедлит воспользоваться таким преимуществом и сумеет их опорочить; он выставит против меня

такого человека, кто быстренько отправит меня на тот свет, и этот человек обернется против них, в результате они останутся только втроем против четверых, а из этого не выйдет уже ничего, кроме несчастья.

Если бы я слышал, что они обо мне говорили, я бы пришел в страшный гнев; в самом деле, это было очень обидное мнение о моей особе — как же можно было поверить в мою способность дать так легко себя побить. Однако выхода у них больше не было; они сочли себя обязанными состроить хорошую мину при дурной игре, как говорится. Так и поступив, изобразив на лицах самый довольный вид на свете оттого, что я соизволил подвергнуть риску свою жизнь ради их спора, совершенно не зная их, они даже отвесили мне цветистый комплимент, но он чуть было не застрял у них в горле.

Ротондис теряет и вновь обретает сутану

Жюссак взял в секунданты Бискара и Каюзака, двух братьев и ставленников Месье Кардинала. У них был еще и третий брат по имени Ротондис, и тот, лишь накануне добившийся бенефиций Церкви, видя Жюссака и своих братьев в растерянности, не знающих, кого бы им взять для драки против меня, сказал им, что его сутана держится всего лишь на одной пуговице, и он готов ее оставить для такого случая.

Не то, чтобы им не хватало друзей, ни одним, ни другим, но десять часов уже пробило, и время близилось скорее к одиннадцати, чем к десяти; они боялись, как бы мы не вышли из терпения, и уже посетили пять или шесть мест, не найдя никого дома; итак, они совсем уже было согласились поймать Ротондиса на слове, когда, к счастью для них и для [22] него, вошел капитан Полка Наварры, принадлежавший к друзьям Бискара. Бискара, без лишних приветствий, оттащил его в сторону и сказал, что он им нужен для одного спора, и разрешить его надо тотчас же; он не мог зайти более кстати вытянуть их из огромного затруднения, и вообще, если бы он не явился, потребовалось бы взять в руки шпагу Ротондису, хотя его профессия не предполагает пользования ею.

Этот капитан, звавшийся Бернажу, был дворянином, происходившим из Графства де Фуа; он был польщен обращением к нему Бискара, да еще с просьбой об услуге — он предложил ему свою руку и шпагу, и, поднявшись все вчетвером в карету Жюссака, они спешились у входа на Пре-о-Клер, как бы невзначай пожелав прогуляться и оставив на месте их возницу и лакеев. Мы обрадовались их приезду; было уже поздно, и мы их почти не

ждали больше. Мы не пошли им навстречу, наоборот, мы еще глубже удалились от света, гулявшего в их стороне; мы двинулись в сторону островка Сводница и добрались до маленькой низинки, где, не увидев никого, мы и решили их дождаться.

Пре-о-Клер

Они не замедлили присоединиться к нам, и Бернажу, у кого были пышные усы, как это было в моде в те времена, увидев, что Жюссак, Бискара и Каюзак выбрали трех братьев, желая иметь дело с ними, тогда как ему оставили меня для развлечения, спросил, не посмеялись ли они над ним, подсунув ему в противники ребенка. Я был задет за живое такими словами и ответил, что дети моего возраста разбираются в деле не хуже тех, кто их презирает. Я взял шпагу в руку и показал ему, какими действиями я умею подкреплять слова. Он был вынужден вытащить свою, ему пришлось защищаться, увидев по манере, с какой я за него взялся, торговаться с ним я не буду. Он даже выложил мне несколько довольно мощных ударов, претендуя быстро отделаться от меня. Но, отпарировав их с большим счастьем, я [23] нанес ему один под руку и пробил ее этим ударом насквозь.

Доблестный шпажист

Он упал в четырех шагах оттуда; я подумал, не умер ли он, и, поспешив подать ему какое-нибудь исцеление, если еще было время, заметил, как он подставляет мне острие своей шпаги, поверив, видимо, будто я настолько ополоумел, что нацеплюсь на нее сам. Я рассудил, если он способен на такие хитрости, то ему еще можно помочь. И так как я был воспитан по-христиански и знал — потеря души была бы самой ужасной вещью, какая когда-либо могла с ним приключиться, я крикнул ему издалека, чтобы он подумал о Боге; я явился не вырывать у него остатки жизни, но, скорее, их ему сохранить; я даже разозлен тем состоянием, в какое я его поставил, но пусть и он хорошенько оценит, что я был вынужден варварской яростью, составляющей честь дворянина и заставляющей его отнимать жизнь у человека, кого он часто никогда и не видел, и даже порой у лучшего из его друзей. Он мне ответил, что поскольку я говорю так справедливо, он без всякого сопротивления отдаст мне свою шпагу, и он просит меня соизволить перевязать ему рану, вырезав перед его рубахи; этим я, может быть, остановлю окончательную потерю его крови; не дам ли я ему руку после, чтобы он смог добраться до кареты, или

же я проявлю еще большую доброту и схожу за ней сам, он боится упасть без сознания по дороге.

В то же время он отбросил шпагу на четыре шага, показывая мне, что не желает пользоваться ею против меня, когда я приближусь к нему. Я сделал так, как он мне сказал, разрезал его рубаху ножницами, которые вытащил из моего кармана, и, наложив ему компресс спереди, помог ему приподняться и присесть, иначе я не мог бы сделать того же сзади. Приготовив ленту как можно лучше, я скроил ее из двух обрезков; вскоре я завершил эту работу.

Победа

Однако время, употребленное мной вроде бы на доброе дело, я же его и потерял, потому что мои хлопоты, думаю, чуть было не стоили жизни Атосу, а, [24] может быть, равно и его двум братьям. Жюссак, против кого он бился, нанес ему удар шпагой в руку и накинулся на него, пытаясь его заставить вымаливать себе жизнь; он только и ждал, как бы всадить ему острие своей шпаги в живот; когда я заметил опасность, в какой оказался Атос, я тут же побежал к нему; одновременно я закричал Жюссаку обернуться ко мне лицом, потому что я не могу решиться атаковать его сзади; тот обнаружил необходимость дать новое сражение, вместо того, как он верил, со славой завершить собственное.

Этот новый бой не мог обернуться для него ничем, кроме неудачи, потому что Атос, избавленный таким образом от угрозы, не был расположен наблюдать, сложив руки, пока мы будем фехтовать. И в самом деле, увидев опасность быть настигнутым сзади, в то время, как я атакую его спереди, Жюссак хотел приблизиться к Бискара и, по меньшей мере, встать вдвоем против троих, тогда как теперь он был один против двоих. Я разгадал его намерение и помешал ему его исполнить. Тогда он увидел, что вынужден сам вымаливать жизнь, он, хотевший заставить умолять об этом других. И он протянул свою шпагу Атосу, кому я оставил честь его разгрома, хотя мог бы с таким же правом приписать ее себе. Мы вдвоем отправились на выручку Портосу и Арамису в надежде помочь им одержать победу над их врагами. Вот это нам было совсем нетрудно, поскольку у них самих было довольно отваги и ловкости одолеть и без нашей помощи; дело у них пошло еще лучше, когда они увидели нас, спешащих на подмогу. Остальным же стало невозможно им сопротивляться, их было не более двух против четырех; они были обязаны отдать шпаги, и битва закончилась в такой манере.

Все вместе мы пошли посмотреть на Бернажу; он вновь улегся на землю по причине охватившей его слабости. Так как я был подвижнее других и обладал лучшими ногами, я и отправился за каретой Жюссака. Так его и доставили домой, где он шесть [25] недель провалялся в постели, прежде чем выздороветь. Но, наконец, рана, хотя и очень серьезная, не была смертельной, и он отделался болезнью без особых последствий. С тех пор мы стали добрыми друзьями, он и я, и когда я сделался Младшим Лейтенантом Мушкетеров, он мне отдал одного из своих братьев для зачисления его в Роту.

Дуэль или встреча?

Король узнал о нашей битве, и мы испугались последствий; он очень ревностно относился к силе своих Эдиктов; но Месье де Тревиль заявил ему, что, случайно оказавшись на Пре-о-Клер и не думая драться, Атос, Портос и Арамис не могли не услышать, как Жюссак расхваливал своим друзьям Роту Гвардейцев Кардинала, в ущерб Роте его Мушкетеров; они не могли не возмутиться; это повлекло за собой слова, от слов перешли к рукам, но невозможно рассматривать все эти действия иначе, чем встречу (Встреча (столкновение, стычка) — была непредвиденной битвой; дуэль подготавливалась — один из двух соперников (в основном тот, кто считал себя оскорбленным) «вызывал» другого, назначал ему свидание, решая с его согласия о часе и месте, о выборе оружия, и уточняя число «секундантов», кто примет участие в нападении. Нельзя было осудить дворян, попавшихся на «встрече». Только дуэль, с ясно установленным намерением, наказывалась порой смертью), но не как дуэль. Больше того, Кардинал будет убит этим обстоятельством; он так превозносил Бискара и Каюзака, как чудеса всех достоинств, и рассматривал их, так сказать, как свою правую руку. В самом деле, он их поднял превыше того, на что они могли бы правдоподобно надеяться по происхождению и, может быть, превыше их достоинств. Лучшее качество, каким они обладали, было личной привязанностью к нему, если только это может быть принято за доброе качество, в соответствии с тем, что он их заставлял делать ежедневно против службы Короля. Они принимали партию Кардинала вкривь и вкось, не оценивая, заинтересован ли Его Величество в их действиях или нет; так, стремясь поддержать его сторону, они не только время от времени ссорились с лучшими слугами, каких мог иметь Его Величество, но еще и дрались всякий день против них, потому как были более преданы делу Министра, чем Мэтра.

Все сказанное Месье де Тревилем было ловким ходом

утонченного куртизана. Он знал о неодобрительном отношении Короля к этим двум братьям именно по причине их привязанности к Кардиналу. [26]

Он знал, к тому же, что не мог доставить большего удовольствия Его Величеству, как оповестив его о победе, одержанной Мушкетерами над ставленниками Кардинала. Итак, Король, не осведомляясь больше, была ли наша битва встречей или нет, отдал приказ Месье де Тревилю привести в его Кабинет Атоса, Портоса и Арамиса по маленькой потайной лестнице. Он указал ему час, когда он должен быть один, и Месье де Тревиль явится туда с тремя братьями, и они расскажут ему все вещи, и как они произошли. Тем не менее, явившись, они скрыли от него все, что могло бы навести его на мысль о дуэли, и настаивали на неожиданной встрече. Они говорили ему обо мне, и Его Величество проявил любопытство меня увидеть; он приказал Месье де Тревилю привести меня на следующий день в тот же час к нему в Кабинет, и когда, по распоряжению Месье де Тревиля, три брата передали мне это от имени Его Величества и его собственного, я упросил их в тот же день провести меня к утреннему туалету этого Командира.

Я был обрадован тем, как довольно счастливо вела меня судьба, с самого начала представив меня Королю, моему Мэтру. Я почистился в этот день наилучшим образом, как мне только было возможно, и так как, без бахвальства, у меня была довольно красивая фигура, довольно славная мина и даже довольно красивая физиономия, я надеялся, мое лицо не произведет на Его Величество того же эффекта, какой произвела на него физиономия Месье де Фабера уже некоторое время назад. Тот купил роту в одном из старых корпусов (Роту в одном из старых Корпусов — эти армейские Корпуса были самыми привилегированными, по причине их древности, их положения на службе, и происхождения тех, кто туда допускался), а Король отказал ему в своем согласии, потому что его мина, далеко не самая приятная, чрезвычайно ему не понравилась.

У Месье де Тревиля

У меня не было больше нужды после распоряжения Его Величества сожалеть о потере рекомендательного письма, каким я обладал для Месье де Тревиля. То, что я сделал, более благоприятно отрекомендует меня перед ним, чем все письма на свете, и даже доставит мне честь принести поклонения [27] моему Мэтру. Переполнявшая меня радость сделала эту ночь самой долгой в моей жизни. Наконец утро настало, я соскочил с

кровати и оделся в ожидании, когда Атос, Портос и Арамис явятся забрать меня для представления их Командиру.

Они явились некоторое время спустя, и так как от моего дома было недалеко до Месье де Тревиля, мы вскоре прибыли. Он отдал команду своему камердинеру, чтобы тотчас, как мы появимся в прихожей, тот прямо провел бы нас в его Кабинет; для всех остальных вход был запрещен. Стоило Месье де Тревилю бросить на меня один взгляд, как он тут же отчитал трех братьев, не сказавших ему правды— они говорили о молодом человеке, тогда как я был всего лишь ребенком. В другое время я бы страшно разозлился, услышав такие речи. Этим словом — ребенок — я, казалось бы, должен быть исключен из службы до более зрелого возраста; но мои дела говорили в мою пользу лучше, чем если бы я был на несколько лет старше; я уверился, — чем моложе я буду выглядеть, тем больше в этом будет для меня чести.

Однако, поскольку я знал, что недостаточно исполнять свои обязанности, если у тебя еще не хватает духу приправлять свои поступки достойной уверенностью, я ему очень почтительно ответил — да, я и вправду молод, но я сумею справиться с каким-нибудь Испанцем, ведь я уже показал ловкость, выбив из боя Капитана старого корпуса. Он мне весьма любезно ответил, что, говоря так, я присваиваю себе малейшую долю должной мне славы, я мог бы сказать и о разоружении двух Командиров Гвардии и одного Командира Стражи, а это стоит не меньше одного Капитана старого корпуса. Атос, Портос и Арамис рассказали ему полностью, как происходило все дело, они добросердечно соглашались, что без меня они, может быть, не взяли бы верх над их врагами, и главное, Атос, кто даже признавался, что без моей помощи ему вряд ли бы удалось выбраться из рук Жюссака. Месье де Тревиль сказал мне, [28] что он еще не говорил с Его Величеством, потому что не знал всех обстоятельств, когда имел честь обсуждать с ним нашу битву, но он не преминет теперь все ему доложить; он даже будет говорить с ним в моем присутствии, дабы я получил удовольствие услышать из его собственных уст должные мне славословия.

Я делаюсь скромником при подобных речах, хотя в глубине души никакие другие не могут быть мне более приятны. Месье де Тревиль приказал заложить лошадей в свою карету и отправился навестить Бернажу, кого он знал лично. Он хотел услышать от него, каким образом протекала наша битва; он вовсе не подвергал сомнению слова трех братьев, но просто желал уверить Короля, что получил все подробности из места, не способного вызвать подозрения, то есть, из уст тех самых людей, с кем мы имели

дело. Он нас пригласил, однако, отобедать с ним, а пока он не вернется после визита, мы пошли в сторону Игры в Мяч, располагавшейся совсем рядом с Конюшнями Люксембурга. Мы лишь обменивались мячами, — занятие, в котором я не был особенно ловок или, лучше сказать, ничего совершенно в нем не понимал, поскольку никогда не играл, кроме этого самого раза; потому, боясь получить удар в лицо, возможно, помешавший бы мне оказаться на свидании, назначенном мне Королем, я оставил ракетку и поместился на галерее, совсем рядом с оградительной веревкой.

Одна дуэль нагоняет другую

Там было четверо или пятеро дворян, я с ними был незнаком, и между ними находился один Гвардеец Месье Кардинала, кого Атос, Портос и Арамис знали не больше, чем я. Он же прекрасно знал, что они Мушкетеры, и поскольку имелась определенная антипатия между двумя Ротами, и покровительство Его Преосвященства его Гвардейцам обращало их в наглецов, едва оказавшись под галереей, я услышал, как тот говорил своим компаньонам — не следует удивляться моему испугу, должно быть, я подручный Мушкетера. [29]

Он не особенно заботился, услышу ли я его слова, а поскольку произносил он их достаточно громко, чтобы я их все-таки услышал, я подал ему знак, что мне надо замолвить ему словечко, причем его друзьям совсем не обязательно этого видеть. Я вышел из галереи; Атос и Арамис, увидев, как я прохожу, поскольку они были около входа, спросили меня, куда я иду; я им ответил — иду туда, куда они не могли бы сходить вместо меня. Они сочли, что я выхожу по какой-нибудь нужде, и продолжали перекидываться мячами. Гвардеец, решивший дешево разделаться со мной, потому что видел, как я молод, последовал за мной моментом позже, как ни в чем не бывало. Его товарищи, не видевшие поданного мной ему знака, спросили, куда он идет; он им ответил, из страха, как бы они не усомнились в чем-нибудь, — он идет во дворец де ла Тремуя, примыкавший к игорному дому, и сейчас вернется. Его кузен был Оруженосцем Месье Герцога де ла Тремуя, и он уже заходил его навестить вместе с ними, они легко поверили, что, не застав его, он пошел осведомиться, не вернулся ли тот.

Я ждал моего человека у двери, твердо решив заставить его раскаяться в наглых словах. Итак, как только он ко мне присоединился, я ему сказал, выхватывая шпагу из ножен, что ему здорово повезло иметь дело всего лишь с подручным

Мушкетера, потому что, если бы речь шла о мэтре, то я не считал бы его способным ему сопротивляться. Я не знаю, что уж он мне там ответил, да и не придавал никакого значения ничему, кроме как отомстить за его наглость до тех пор, как появится некто, чтобы нас разнять. Я недурно преуспел, нанес ему два удара шпагой, один в руку и другой по корпусу, прежде чем явилась особа, оказавшая нам такую добрую услугу. Наконец, за короткое время, пока нас не беспокоили, я, без сомнения, ни с чем не считался, когда поднялся шум в самом доме Игры в Мяч, и все заволновались происходящим перед дверью. Тотчас набежали его друзья, и Атос, Портос и Арамис [30] сделали то же самое, опасаясь, как бы со мной чего не случилось, поскольку они не видели меня возвращающимся. Первыми прибыли друзья Гвардейца, и это стало для него большой подмогой — я держал его на коротком поводке и как раз собирался нанести еще один удар в бедро; он не думал больше ни о чем, только бы добраться до Дворца де ла Тремуя и там спастись. Его друзья, увидев его в таком состоянии, взяли шпаги в руки, чтобы помешать мне докончить его убивать; может быть, они не остановились бы на этом и перешли бы от обороны к наступлению, не явись тут Атос, Портос и Арамис. Зная раненого, как родственника их Оруженосца, весь Дворец де ла Тремуя одновременно восстал против нас.

Стычка при Игре в Мяч

Мы, без сомнения, были бы подавлены, если бы Арамис не начал кричать: «К нам, Мушкетеры!» Люди довольно охотно сбегаются на подмогу, когда слышат это имя — схватки Мушкетеров с Гвардейцами Кардинала, — кто был ненавидим народом, как ненавидят почти всех Министров, хотя никто не знает толком, почему их ненавидят, — сделали так, что почти все дворяне и все солдаты Гвардий охотно принимали партию за них, когда они оказывались в подобном положении. Наконец, один человек, видимо, обладавший большей сообразительностью, чем другие, и как раз проходивший мимо, подумал, что окажет нам наилучшую услугу, если побежит к Месье де Тревилю и поднимет тревогу, чем если он просто вытащит шпагу и станет нас защищать. К счастью, человек двадцать Мушкетеров находились на его дворе, ожидая, когда он вернется из города; они немедленно прибежали и загнали людей де ла Тремуя обратно в его дворец; друзья того, с кем я имел дело, были слишком счастливы отступить туда, даже не оглядываясь назад. Что до раненого, то он уже туда вошел и был не в очень хорошем

состоянии, потому что полученный им удар по корпусу был крайне опасен. Вот что он навлек на себя своей неосторожностью. [31]

Наглость, проявленная прислугой Дворца де ла Тремуя, породила у нескольких Мушкетеров, явившихся нам на помощь, идею разложить огонь у дверей этого дворца, чтобы научить их не мешаться в следующий раз в чужие дела. Но Атос, Портос и Арамис и некоторые другие наиболее мудрые разъяснили им, что все произошедшее было к славе Роты, и не следует таким недостойным поступком, как этот, подавать Королю повод их укорять; все согласились с этим мудрым советом.

Действительно, все располагало нас к тому, чтобы быть довольными — кроме Гвардейца Кардинала, кого я привел в то состояние, о каком сказал, еще двое из его друзей были ранены — Атос и Арамис, каждый, нанесли им по доброму удару шпагой, и тем, всем троим, придется не меньше месяца проваляться в постели, предполагая, во всяком случае, что Гвардеец не умрет от своих ран.

Мы возвратились после всего этого к Месье де Тревилю, он еще не вернулся. Мы ожидали его в зале, каждый подходил сделать мне комплимент насчет того, что я сделал. Такие начала были слишком прекрасны, чтобы не привести меня в совершенный восторг. Я уже пророчил себе даже великую судьбу, но в самом скором времени мне поубавили спеси.

Расследование и контррасследование

Месье де Тревиль вскоре прибыл — Атос, Портос и Арамис просили его соблаговолить уделить им маленькую личную аудиенцию — они намеревались сказать ему важную вещь. Такие таинственные слова, выражения их лиц подсказали ему, что они были более смущены, чем обычно. Он пропустил их в свой Кабинет, где они попросили его разрешения мне войти вместе с ними, поскольку то, о чем они будут говорить, касалось меня более, чем кого бы то ни было; едва они получили позволение, как я последовал за ними. Они рассказали ему обо всем произошедшем, и как я поддержал честь Роты, какую Гвардеец Кардинала осмелился нагло атаковать без всякого данного ему повода. Месье де Тревиль был обрадован, что я его так славно покарал, а узнав о еще двоих, [32] пожелавших его защищать и отделавшихся ранами, он послал просить Месье Герцога де ла Тремуя не давать убежища людям, выказавшим себя столь недостойными в поступках. Он даже потребовал его правосудия за вылазку его людей, предпринятую против нас. Месье де ла

Тремуй, предупрежденный его оруженосцем, прислал сказать в свою очередь, что жаловаться надлежит ему, а не Мушкетерам — убив перед его дверью Гвардейца Месье Кардинала, родственника одного из его главных слуг, они хотели поджечь дверь; они еще и ранили двух других особ, пожелавших их разнять — таким образом, если он не накажет главарей этого беспорядка, больше никто не будет в безопасности в собственном доме.

Месье де Тревиль, выслушав, в какой манере разговаривал этот оруженосец, сказал ему, что его мэтр не должен был бы его слушать и верить тому, кто слишком заинтересован в этом деле; он же прекрасно знает, как все произошло, и люди, чье слово стоит его собственного, были тому свидетелями и все ему рассказали. Он тотчас направился к Герцогу и взял меня с собой. Он опасался, как бы Герцог не позволил обманывать себя и дальше, а потом не настроил разум Его Величества, пересказав ему дело совершенно иначе, чем оно было на самом деле. Он боялся к тому же, как бы к Королю, предупрежденному таким способом, не явился бы еще на осаду и Месье Кардинал и окончательно не захлопнул бы дверь всему, что могло бы быть сказано после него. Его Величество обладал таким изъяном, стоило его один раз предубедить, и ничто уже не было более трудным, как его в этом разубедить. Скорее, чем идти к Герцогу, Месье де Тревилю было бы лучше самому отыскать Короля и предупредить его первым. Это был бы выигрышный удар партии, но Его Величество, к несчастью, отправился с утра на охоту, и он не знал, в какую сторону. В самом деле, хотя накануне Король говорил, что желает ехать [33] охотиться в Версаль, он с тех пор изменил намерение и выехал через ворота Сен-Мартен.

Месье Герцог де ла Тремуй принял Месье де Тревиля довольно холодно и сказал ему в моем присутствии, что он ему советует еще раз, как добрый друг, покарать тех из его Мушкетеров, кто оказались виновниками убийства, кто были в это замешаны, поскольку дело на этом не остановится. Месье Кардинал уже о нем извещен, и Кавуа, Капитан-Лейтенант его пеших Мушкетеров, мгновение назад был у него и молил от имени Его Преосвященства присоединиться к нему, чтобы потребовать удовлетворения за общее оскорбление, нанесенное им обоим. Кавуа еще сказал ему, — если Гвардеец этого Министра был ранен, то его собственный дом чуть было не сожгли, и что одно было, по меньшей мере, столь же оскорбительно, как другое — потому что часто предпринимают ссору против человека, не задумываясь о мэтре, кому он принадлежит, но нельзя вознамериться сжечь дом, не задумавшись о том, кто этим будет оскорблен, даже если в

результате не произошло никакого убытка.

Тактика Месье де Тревиля

Месье де Тревиль, кто был человеком рассудительным, позволил ему выговориться, постаравшись уяснить, что у того было на сердце; но увидев Герцога замолчавшим, он у него спросил, как если бы раздумывал над сказанным ему, как тот человек — серьезно ранен? Месье де ла Тремуй ответил ему, что боятся за его жизнь, удар шпаги, нанесенный по корпусу, пробил ему легкие; первым же делом ему посоветовали подумать о душе, потому что он был между жизнью и смертью. Месье де Тревиль спросил его, не сам ли умирающий сказал ему, каким манером он был ранен, и Герцог чистосердечно согласился, что рассказчиком был не он, но один из тех, кто прибежал ему на помощь. Месье де Тревиль попросил его соизволить проводить его в комнату раненого, дабы, пока он еще в состоянии сказать правду, они могли бы выслушать ее из его собственных уст. Он сказал ему, что это послужит возданию [34] Гвардейцу быстрой и полной справедливости, если окажется, что он был оскорблен, но также, если окажется, что он был нападавшим, как он слышал от Мушкетеров, это послужит к оправданию несчастных, лишь ответивших на обиду, ведь они не могли ее стерпеть, не потеряв их честь.

Герцог, кто был довольно добрым человеком, и кто не особенно заботился обхаживанием Кардинала, которого он видел очень редко, так же, впрочем, как и Короля, не мог найти возражений на эту просьбу. Он отправился вместе с Месье де Тревилем в комнату раненого, а я не захотел за ними туда следовать, из страха, как бы не принести ему горя, если он меня увидит, меня, кто привел его в это жалкое состояние. Герцог не успел задать ему вопрос, как он признал свою вину и рассказал, как все произошло. Герцог был страшно удивлен, когда услышал его рассказ в таком виде и, в то же время вызвав к себе того, кто изложил ему все навыворот, он приказал ему покинуть его дом и никогда не являться ему на глаза, поскольку он был способен его обмануть.

Месье де Тревиль, очень довольный своим визитом, возвратился к себе, где мы и отобедали: Атос, Портос, Арамис и я, так, как он нам и предлагал прежде. Хотя собралась такая бодрая славная компания, и нас было восемнадцать за столом, там не разговаривали почти ни о чем другом, как о моих двух битвах. Не было никого, кто не воздал бы мне больших почестей, что может слишком вскружить голову молодому человеку, у кого уже было в

себе самом довольно гонору, чтобы поверить, будто он и вправду чего-нибудь стоит. Когда мы отобедали, все уселись играть в «ланскене (ландскнехт)»; у меня достаточно чесались руки, чтобы сделать, как остальные, если бы мой карман был потуже набит; но мои родители заклинали меня перед отъездом бежать от игры, как от подводных камней, она губит большинство молодежи; я так твердо держался настороже, не только на этот раз, против моей собственной склонности, но еще и при всех других обстоятельствах, когда [35] меня пробирал тот же зуд, что, какими бы ни были соблазны, я поддавался им только в крайне ограниченных пределах.

Интриги Кардинала

Проведя послеобеденное время в этой манере, то есть, одни играя, другие наблюдая за игрой, мы отправились вечером в Лувр, Атос, Портос, Арамис и я. Король пока еще не возвращался с охоты, но так как он не мог надолго задержаться с появлением, мы оставались в его прихожей, куда, как сказал Месье де Тревиль, он зайдет забрать нас, чтобы отвести в Кабинет Короля. Его Величество явился момент спустя, и три брата, имевшие честь быть лично известными и даже уважаемыми им, выстроились на его проходе, желая привлечь к себе какой-нибудь взгляд; но вместо того, чего они добивались, они испытали на себе взор гнева и негодования. Они вернулись совсем опечаленные к окну, где я стоял, так и не осмелившись показать меня перед ним, прежде чем сами не будут представлены и не принесут ему свои поклонения. Они были настолько убиты только что приключившимся с ними, что мне было нетрудно разглядеть их горе. Я спросил, что привело их в такое состояние — они ответили, что наши дела пошли плохо, или же они сильно ошибаются; во всяком случае, следовало дождаться прибытия Месье де Тревиля и тогда уже разобраться здраво; он сам спросит у Его Величества, в чем было дело, но зная характер этого Монарха, он, конечно, не зря состроил им мину; он был чрезвычайно естественен; и если абсолютно необходимо для ремесла правления, как заявлял известный политик, умение скрывать, то никогда не существовало менее пригодного Принца, чем он.

Я почувствовал себя совершенно ошеломленным при этих словах. Я испугался, тем не менее совершенно не зная, что случилось, как бы дурное настроение Его Величества не распространилось и на меня; потому я так нетерпеливо ждал прибытия Месье де Тревиля, чтобы узнать поскорее, каков же мой

удел. Он явился, наконец, и сказанное им еще [36] более увеличило мое беспокойство. Он нам сообщил, что Месье Кардинал, отослав Кавуа к Герцогу де ла Тремую, и с тех нор, как он был уверен, заручившись поддержкой Герцога, распорядился передать Королю все, что произошло при выходе из нашей Игры в Мяч; Его Преосвященство написал ему длинное письмо по этому поводу, представив ему, что если только он не покарает своих Мушкетеров, они во всякий день будут устраивать тысячу убийств и тысячу наглых выходок, и тогда никто уже не осмелится больше призывать их к порядку. Месье де Тревиль покинул нас, сказав напоследок, что он не рассматривает сложившуюся ситуацию, как благоприятствующую нам увидеть в этот день Его Величество; сам он войдет в его Комнату, и если он не вернется к нам через момент, мы сможем каждый разойтись по домам; он тогда сумеет предупредить нас о том, что следует делать, и он не упустит ни единого мгновения. Он тотчас же нас оставил и вошел к королю. Его Величество некоторое время стоял, ничего ему не говоря, и даже состроил ему мину, как только что трем братьям. Месье де Тревиль, кого это не особенно тронуло, потому что он знал, — Король вскоре заставит его вернуться к впечатлениям, внушенным ему Кардиналом, тоже ничего не говорил, зная, что должен отложить наше оправдание на другое время. Король, кто, как я уже говорил, был весьма естественен, не понимая, почему ему не сообщают о том, что произошло, как он думал, в чем ему обязаны были отдать отчет, наконец, внезапно разорвал тишину. Он спросил Месье де Тревиля — значит, так он справляется со своим поручением — его Мушкетеры убили человека и спровоцировали множество беспорядков, и, однако, он не говорит ему об этом ни единого слова. Еще более важная вещь, он пренебрег своей обязанностью заключить их в тюрьму, дабы они понесли наказание в должное время и на указанном месте; подобное поведение недостойно доброго Офицера, [38] каким он его всегда считал, и он тем более удивлен, зная лучше, чем кто бы то ни было, насколько тот был врагом всякого насилия и всякой несправедливости.

Правда — это Мушкетер

Месье де Тревиль спокойно дал ему выговориться, предоставив Королю возможность излить всю его желчь; тогда он ответил, что в курсе всего сказанного Его Величеством, но, по-видимому, он был дурно оповещен, поскольку отчитал его таким образом; он просит у него прощения за смелость своих выражений, но так как он глубоко осведомился обо всем этом

деле, вплоть до личного посещения Месье Герцога де ла Тремуя, Его Величество не найдет неуместным, если он будет молить его послать за Герцогом, прежде чем он продолжит свой рапорт. У Герцога находится человек, кто может говорить об этом более точно, чем другие, поскольку это тот самый человек, кого, как заставили поверить Его Величество, убили. Он сам его допросил в присутствии Герцога, и даже близко Мушкетеры Его Величества не оказались виноваты; этот человек признал, что он сам, по своей наглости, стал причиной своего несчастья. Больше того, и ранили-то его не Мушкетеры, но тот же самый молодой человек, кто выдержал бой, о котором он имел честь рассказывать ему накануне.

Король был изумлен, когда он услышал подобные речи. Тем не менее, так как это было удобно после недавнего взрыва неудовольствия не давать веры никаким словам до того, как не станет ясно, представляют ли они собой правду, он послал сказать Герцогу де ла Тремую не преминуть появиться на следующий день при его утреннем туалете. Кардинал, имевший шпионов в Комнате Короля, докладывавших ему обо всем, что там происходит, уже узнал о дурном приеме, оказанном Его Величеством Месье де Тревилю. Это дало ему надежду погубить его, наконец, в сознании Короля. Он давно искал такой удобный случай; не то, чтобы он не уважал [39] Месье де Тревиля, но ему никогда не удавалось заставить его служить своим интересам, какие бы посулы ему ни делались. Когда же ему доложили о том, что сказал этот Командир не только для собственного оправдания, но еще и для оправдания тех, кого Кардинал обвинил в убийстве, тот испугался, как бы его не поймали на лжи. Он немедленно отправил кого-то к Месье Герцогу де ла Тремую узнать, не изменил ли он своего мнения. Герцога не было во дворце — он уехал ужинать в город; и так как его люди не могли сказать, к какому часу он возвратится, Кавуа посчитал за лучшее вернуться к себе и отложить на следующее утро исполнение приказов Его Преосвященства. Герцог возвратился лишь к двум часам после полуночи, и его Швейцарец вручил ему письмо Месье Бонтама, коим ему указывалось от имени Короля прибыть к его утреннему туалету; он встал с раннего утра, к чему был привычен, дабы быть пунктуальным в том, что ему предписывалось.

Злоключения Кавуа

Потому-то, когда Кавуа туда вернулся, он его уже не застал; Швейцарец сказал ему об отъезде Герцога в Лувр, чему он с

трудом поверил, потому что, как я докладывал, Герцог не особенно заботился обхаживать Его Величество. У него даже вошло в обычай говорить, что одна из вещей мира заставляет его считать себя счастливее других, а именно то, что он всегда больше любил свой Дом в Туаре, чем Лувр; так и получилось — прошло более тридцати пяти лет, как он не видел Короля, Протестантская религия, какой он придерживался, стала причиной его ненависти к ремеслу Куртизана — он знал — Король не любил ее приверженцев и удовлетворялся страхом перед ними. Совершенная правда, что сегодняшний Король, говоря однажды с людьми этой религии, имевшими дерзость упрекнуть его в том, что строгость его эдиктов не отвечает их чаяньям, заметил: «Все потому, что вы всегда смотрели на меня, как на Короля моего Отца и как на Короля [40] моего Деда (Краткая хронология правлений Людовика XIII и Людовика XIV: Людовик XIII: Правление от 1610 до 1643 гг.; Министерство Ришелье: 1624–1642 гг.; Регентство Анны Австрийской: 1643–1651 гг.; Министерство Мазарини: 1643–1661 гг.; Фронды: 1648–1653 гг.; Война против Габсбургов: 1635–1648 гг. и 1659 г. в Англии: Революция 1648 г. против Карла I.; Протекторат Кромвеля: 1648–1658 гг.; Людовик XIV: Правление от 1643 до 1715 гг.; Совершеннолетие в 1651 г.; Личное Правление с 1661 г.). Вы верили, без сомнения, что я вас люблю, как делал один, или, что я вас. боюсь, как делал другой, но я желаю, чтобы вы знали, я вас не люблю и не боюсь».

Когда Кавуа прибыл, Герцог де ла Тремуй уже переговорил с Королем и подтвердил ему все сказанное Тревилем. Его Величество больше не испытывал гнева против своих Мушкетеров; но зато у Кардинала накопилось много гнева против Кавуа, столь дурно исполнившего его приказания. Он сказал ему, что тот должен был бы скорее дожидаться Герцога у него всю ночь, чем упустить его, как он это сделал; так бы они вместе приняли меры, чтобы погубить мелкого дворянчика, считающего себя достаточно заслуженным, чтобы вечно ему сопротивляться. Он не простит Кавуа за всю его жизнь, и он приказывает ему удалиться прочь с его глаз, с запретом когда-либо появляться здесь без его указаний. Кавуа, знавший нрав своего Мэтра, не хотел ничего ему возражать, боясь из невиновного, каким он и был, сделаться преступником, выставив напоказ его несправедливость; он вернулся к себе в совершенном горе, и его жена, обладавшая не меньшим разумом, чем он сам, захотела узнать, что он такого сделал. Едва она все выяснила, как заявила ему, что он позволяет себе огорчаться по пустякам; есть средства от всего, кроме смерти, и не пройдет и трех дней, как она

восстановит его отношения с Его Преосвященством в лучшем виде, чем они когда-либо были. Он ответил, что она не знает Кардинала, он упрям, как мул, и если уж он отвернулся от кого-то с презрением, нет никакой возможности заставить его повернуться обратно. Мадам де Кавуа ответила, что она так же хорошо, как и он, знает, на что способен этот Министр, значит, ему и заботы нет, каким фасоном она за это примется, но она вернет его к рассудку, она сделает свое дело, а так как ему известно, если она за что-нибудь берется, то доводит это до конца, ему остается только спокойно почивать. [41]

Комедиантка высокой пробы…

Действительно, эта дама делала почти все, что хотела, при Дворе, и частенько заставляла смеяться Министра, даже когда он этого совсем не хотел. Однако достигала она всех этих чудес не женским кокетством, не истертыми насмешками, что так часто слышишь из уст куртизанов. Все, что она делала, так это приправляла свои слова определенной дозой соли, удовлетворявшей самых разборчивых и заслужившей ей такое уважение, что все уже просто не могли обходиться без ее компании. Ее ловкости был обязан и ее муж частью своего успеха, потому он передал в ее руки заботу вытащить его из той оплошности, что он допустил. Она ему сказала тогда всего лишь в точности исполнять все, что она ему будет рекомендовать — первым делом улечься в постель и сделаться больным; пусть он говорит всем, кто нанесет ему визит или явится от чьего бы то ни было имени справиться о его здоровье, что оно не может быть хуже, чем сейчас; пусть он постарается, однако, говорить как можно меньше; когда же он будет к тому принужден, пусть говорит сиплым голосом, как человек, мучимый удушьем.

Со своей стороны она держалась весь день так, будто только что отошла от его постели, как если бы мнимая болезнь ее мужа вывела ее из состояния даже думать о собственном туалете. Этот человек, имевший множество друзей, как все обласканные Министром, а он всегда был в хороших отношениях с ним, не испытывал недостатка в визитах, когда слух о его болезни распространился по городу. Визитеры, однако, прекрасно знали слова, сказанные ему Кардиналом, чего было более, чем достаточно, по обычаям куртизанов, чтобы лишить его их дружбы. Но так как они надеялись, что немилость не затянется, они продолжали навещать его, как ни в чем не бывало.

Кардинал, совсем недавно выслушавший сердитые слова Короля, упрекнувшего его в том, что по его фальшивым рапортам

он чуть было не разжаловал Тревиля и его Роту Мушкетеров, пребывал более, чем никогда, в гневе против Кавуа. Потому, узнав, [42] что его дом не оставляют визитеры, он сказал во весь голос перед большой толпой особ, что удивляется столь малому почтению к нему, когда посещают человека, кого он счел достойным своего неудовольствия. Этих слов оказалось довольно, чтобы сделать дом мнимого больного таким же пустынным, каким он был переполненным прежде.

Мадам де Кавуа была этому только рада, потому что она боялась, как бы кто-нибудь не раскрыл ее подвоха и не донес о нем Кардиналу. Однако их родственники, не веря, что запрет настолько же строго касался и их, посылали туда, по меньшей мере, лакеев, если не осмеливались больше ходить туда сами; эти лакеи передавали им именно то, что говорила мадам де Кавуа, иногда сама, когда они поднимались до ее прихожей, иногда через привратников, когда они не давали себе труда к ней подниматься.

… и врач из комедии

Больной чувствовал себя по-прежнему, как говорили, все хуже и хуже; и мадам де Кавуа, чтобы еще надежнее утвердить такое мнение в свете, вызвала к себе первого Медика Короля, дабы он высказал, что думал по поводу этого недуга. Она рисковала немногим, поступая так — никогда не существовало врача более безграмотного, чем он; в конце концов это было настолько явно признано при Дворе, что он был с позором изгнан. Впрочем, для большей достоверности она распорядилась принести в комнату своего мужа сосуд с кровью одного из лакеев, больного плевритом, и убедила врача, что это была его кровь. Не нужно было особой учености, чтобы констатировать отвратительное качество этой крови; тут он покачал головой, как бы говоря ей таинственным тоном, что опасность поистине высока. Мадам де Кавуа внезапно сделалась плаксивой, — ремесло, естественно, присущее ей, как и всем женщинам, но она еще и изучила его, чтобы пользоваться им ко времени и к месту.

Еще бы немного, и Бувар, таково было имя медика, расплакался бы вместе с ней во время ее рассказа [43] о болезни, сопровождавшегося тысячью рыданий. Он хотел пощупать пульс больного и заметил, что тот был весь в поту; причина была та, что мадам де Кавуа поместила в постель маленькую вазочку с теплой водой, где ее муж и оросил свою руку. Несколько капель пролили даже на простыню и уверили врача, будто укутывали ею больного; пока он сидел у постели, она оставалась более, чем

влажной, что придавало еще больше правдивости. Он нашел, что вещество, увлажнившее эту простынь, пахло исключительно гадко. Он сделал из этого вывод, что болезнь была чрезвычайно опасна, и, выйдя из их дома, рассеял слухи при Дворе. Месье Кардинал был растроган, как и остальные, но не подавал никакого вида. Он думал о том, что не следует так скоро менять свои чувства, если он хочет удержать в руках свою партию Великого Министра; к тому же, это будет и бесполезно, если Кавуа умрет, а вот, если он выкарабкается, всегда найдется время примириться с ним.

Королевское вознаграждение

А пока все это происходило, Король, вернувший свою дружбу Месье де Тревилю, сказал ему привести нас к себе, трех братьев и меня, в его Кабинет, как он и приказывал прежде. Месье де Тревиль провел нас туда в тот же самый день, когда Герцог де ла Тремуй подтвердил Его Величеству то, что он ему сказал. Король нашел меня совсем еще юным для моих свершений и, разговаривая со мной с большой добротой, сказал Месье де Тревилю зачислить меня Кадетом в Роту его родственника, кто был Капитаном Гвардейцев. Звался он дез Эссар, и там я и прошел мое обучение армейскому ремеслу.

Этот полк был тогда совсем другим, не тем, чем он является сегодня — Офицерами были люди знатных родов, и не видно там было ни Судейских людей, ни сыновей Сторонников (Сторонники — деловые люди и финансисты, создававшие партии или общества для поднятия податей. Они авансировали деньги Государству под довольно крупные проценты), как их видишь там теперь. Я не хочу сказать, что первые были достойны презрения. Если бы им запретили носить оружие, у нас не было бы двух Маршалов Франции, которых уже дал нам Парламент Парижа. Маршал де Марийак, [44] хотя он и злосчастно погиб, тем не менее считался достойным человеком многими честными людьми, знавшими, каким образом с ним приключилось такое несчастье. Маршал Фуко также происходил из Судейского семейства, и если он и носил другое оружие, нежели привыкли носить выходцы из подобных семейств, то только потому, что Генрих IV сменил их ему в награду за важную услугу, оказанную Королю одним из его предков.

Король, прежде чем меня отпустить, пожелал, чтобы я ему рассказал не только о моих двух битвах, но еще и обо всем, что я делал с тех пор, как начал себя осознавать. Я удовлетворил его любопытство, утаив лишь случившееся со мной в Сен-Дие; я

поостерегся ему об этом говорить. Ничто не заставило бы меня терпеливо снести полученное там оскорбление, разве что надежда на скорую месть. Я особенно полагался на обещания, сделанные мне Монтигре, предупредить меня, когда Росне не будет больше ничего опасаться и возвратится в свой дом. У меня были некоторые беспокойства; я раздумывал, как смогу вернуть те деньги, так щедро одолженные мне Монтигре, когда Король счастливо вывел меня из затруднения. До того, как я вышел, он сказал привратнику своего Кабинета вызвать к нему его первого камердинера, и когда тот явился, приказал ему взять пятьдесят луидоров из его шкатулки и принести их ему. Я прекрасно догадался, что эти пятьдесят луидоров предназначались для меня, и в самом деле Король мне их тут же отдал, сказав мне только позаботиться быть честным человеком, а уж он не оставит меня нуждаться ни в чем.

Я поверил, что моя судьба обеспечена, когда услышал такие его речи, и так как не имел желания уклоняться от предписанного им для меня пути, то принял за несомненную реальность все, что исходило из уст такого великого Короля. Я очень скоро признал, что был неправ, доверившись этим речам, и если бы я изучил те слова Святого Писания, где говорится, что мы никогда не должны доверяться [45] Принцам, но единому Богу, кто никогда не обманывает и не может быть обманут, я поступил бы гораздо лучше, чем рассчитывать на его слова. Я объясню все это в свое время, а пока я должен доложить сперва о том, что вышло из розыгрыша Мадам де Кавуа.

Военная хитрость Мадам де Кавуа

Она четыре дня сохраняла своего мужа в том состоянии, какое я уже описал, и Бувар, как можно лучше строя из себя важную персону, продолжал уверять, что если не вмешается чудо, он не выкарабкается. На следующий день она отправилась в Кардинальский Дворец в траурном платье, самом строгом, какое когда-либо могла носить женщина. Офицеры Кардинала, знакомые с ней, едва лишь завидели ее в этом облачении, как сразу же заподозрили, что она потеряла мужа. Они осыпали ее соболезнованиями, и она приняла их, словно все это было правдой. Они хотели доложить о ней Его Преосвященству, но она отказалась, сказав, что дождется, когда он пойдет к мессе; ей будет достаточно взглянуть на него, чтобы дать понять Его Преосвященству, как она нуждается в его помощи. Министру все-таки шепнули, что Кавуа мертв, а его вдова ожидает на проходе к часовне, чтобы поручить ему своих детей. Кардинал при этой

новости не осмелился выйти из комнаты, боясь, как бы она при всех не обвинила его в том, что он уморил ее мужа. Итак, предпочитая, чтобы она выступила обвинительницей в его Кабинете, чем перед всеми его куртизанами, он распорядился привести ее к нему. Он пошел ей навстречу и обнял ее, сказав, как он расстроен ее потерей, что покойный был неправ, приняв все так близко к сердцу, он должен был бы узнать его характер, так долго находясь подле него, и понять, каким бы грозным ни был его гнев против его истинных слуг, он никогда не бывает долговременным. Он добавил, что потеря, какую он понес, ничуть не меньше ее потери, больше, чем никогда, он признает, насколько покойный был ему другом, поскольку он [46] не смог перенести из его уст единого резкого слова без того, чтобы не умереть от горя.

Чуть только Мадам де Кавуа услышала от него такие речи, как она сказала, что ей не надо больше ни плакать, ни носить такие одежды, она надела их в знак траура по потере, понесенной ее мужем и ей самой, по утраченной чести его добрых милостей; но поскольку он им их возвращает, ни к чему ей больше ни траур, ни слезы; ее муж еще очень плох, но так как он пока не умер, он поправится скорее, узнав эту добрую новость. Кардинал был порядком изумлен, когда увидел, как быстро она преобразилась. Он сразу засомневался, не подстроила ли она все это, чтобы вынудить его говорить именно так, и он сильно рассердился, что, пожалуй, слишком поспешил и что здесь не обойдется без насмешек над ним в свете. Тем не менее, дело было сделано, отступать было некуда, и он рассмеялся первым. Он сказал, что не знал покуда лучшей комедиантки, чем она, и добавил, что желает, дабы доставить ей удовольствие, просить Короля, чтобы он соизволил учредить должность Суперинтенданта Комедии, как существует Суперинтендант Зданий, и ее же ею и увенчать; хотя и не в обычае поручать какое-либо дело женщине, он постарается добиться для нее этого, и он не сомневается, Король отдаст его преимущественно ей, чем всякому другому, поскольку она более способна, чем кто бы то ни был, им пользоваться.

Месье Кардинал, продолжая шутить и острить вместе с ней, пригласил в Кабинет своих главных Офицеров и сказал, что им всем, сколько их там ни было, не пристало насмехаться над другими, поскольку все они в равной степени попались в одну ловушку, поверив, что Кавуа был мертв, тогда как теперь есть все причины подозревать, что он был только болен; правда, его уверял Бувар, но так как этот Бувар не что иное, как бестолочь, да позволено будет всем уверовать в это, не подвергаясь риску прослыть еретиком. Офицеры, увидев его в столь прекрасном [47]

настроении, подхватили его остроты, добавив, что Бувар просто осел с медицинской точки зрения и что весь Париж с этим согласится, так же, как добровольно соглашаются они с тем, что Мадам де Кавуа их всех провела.

Последнее слово за Месье де Тревилем. Вот так эта дама примирила своего мужа с Кардиналом. Кто-то рассказал Королю, какую шутку она сыграла с Его Преосвященством, и страшно этим рассмешил Его Величество. Тревиль, сердитый на Кардинала, потому что Его Преосвященство был сердит на него, был не из последних, кто от души веселился вместе с Королем, приговаривая, что и у великих людей есть свои смешные стороны ничуть не меньше, чем и у других, и он давал волю собственной радости за счет Министра, уж и не знаю, в течение какого времени.

ЧАСТЬ 2
Осада Арраса

Получив пятьдесят луидоров от Короля, я думал только о том, как бы возвратить Монтигре его деньги. Некий человек из Орлеана, проживавший в том же доме, что и я, видя меня в затруднении, к кому бы обратиться, чтобы наверняка урегулировать это дело, предложил оказать эту маленькую услугу, передав деньги через кого-то из его знакомых, кто ездил в страну Монтигре по меньшей мере раз в неделю. Я обрадовался такой оказии и отдал ему одолженную сумму; и так как я хотел добавить что-нибудь на расходы, человек отказался, говоря мне не наносить ему обиды; он не тот человек, чтобы требовать возмещения за столь малую вещь, удовольствие оказать мне услугу — вот все, чего он желает. Я не сделал бы подобного предложения другому, но так как этот [49] человек содержал постоялый двор в Орлеане и не казался мне чересчур богатым, я не хотел упрекать себя, вынудив его истратить хоть единое су из любви ко мне.

Долги надо платить

Мои деньги были верно переданы Монтигре, кто не ожидал получить их так скоро и, может быть, даже вообще получить их когда-нибудь назад. Ришар, так звали человека, оказавшего мне услугу, просил своего друга привезти ему расписку, оставленную мной Монтигре. Он передал мне ее в руки, доказав этим, как он позаботился о моем деле. Я поблагодарил его, потом сунул расписку в карман, вместо того, чтобы порвать ее, как должен был бы сделать; я потерял ее в тот же или на следующий день, может быть, вытаскивая платок, а заметил это лишь двумя или тремя днями позже. Это меня живо обеспокоило, как если бы я предвидел, что должно было случиться со мной однажды, и я поделился всем этим с Ришаром, кто меня укорил за мою небрежность.

Это обстоятельство поддерживало мою обеспокоенность в течение нескольких дней, но так как нет ничего, что бы не забывалось на расстоянии, я больше и не думал о ней через некоторое время. Я старался исполнять мой долг солдата так хорошо, как это только было для меня возможно.

Бемо хвастун

В той же роте, где был и я, находился так называемый Бемо. У этого человека был другой характер, чем у меня, и мы не имели абсолютно ничего общего, если не считать, что мы оба были гасконцы. Он обладал тщеславием превыше всякого воображения, вплоть до того, что почти пытался нас уверить, будто происходит чуть ли не прямо от Людовика Святого. Имя Бемо принадлежало маленькой ферме, приносившей весьма скудные доходы, но он присвоил титул Маркизата этой лачуге, как только сколотил небольшое состояние.

Что до меня, то я всегда следовал своим путем, не желая казаться чем-то большим, чем я был. Я знал, что был всего лишь бедным дворянином — я и жил так, как должен был жить, без стремления подняться над моим положением, но и не опускаясь ниже. Я [50] с трудом переносил разговоры Бемо, когда он хвастал именем Монлезен, что он носил, или когда принимал надутый вид. Правда, это было славное имя, но так как никто не признавал, что оно ему принадлежит, я счел себя обязанным ему сказать, как товарищ и друг, что все его хвастовство приносит ему больше вреда, чем добра. Он дурно принял мое высказывание, и, вообразив, будто я завидую ему, как, впрочем, и другие кадеты, он смотрел на меня с тех пор, как на человека, кто должен быть ему подозрителен. У него был еще и тот изъян, что если он видел какую-нибудь новомодную вещь, он тотчас приобретал себе что-то похожее, не разбирая, была ли в этом нелепость или нет. Я припоминаю по этому поводу одну историю, приключившуюся с ним и рассмешившую не только нашу Роту, но еще и весь Полк.

Мы стояли в Фонтенбло, и Бемо проживал у одной хозяйки, оказывавшей ему некоторые милости. Он пользовался ими, как только мог, но так как она была небогата, из этого мало что выходило. Его вовсе не привлекало набивать себе брюхо, как множеству молодцов, предпочитающих чувствовать себя полными изнутри, чем тащить на спине все великолепие мира. Итак, следуя поговорке, бытующей у Гасконцев: «Живот пустой, зато бархат густой», он посвящал собственной одежде все, что мог вытянуть из этой женщины, не заботясь об остальном.

В то время начали носить перевязи, расшитые золотом, что стоило восемь или десять пистолей, а поскольку финансы Месье де Бемо не могли достичь такой цифры, он решил приказать отделать себе перед перевязи этим фасоном, а заднюю часть оставить без всякого украшения. Однако, дабы не увидели подвоха, он принялся носить плащ под предлогом мнимого

недомогания; итак, он выставлял на глаза всего света одну лишь переднюю часть, и никто ни в чем не отдавал себе отчета в течение двух или трех дней.

Но вот пришла очередь нашей Роты нести [51] охрану, Бемо был вынужден нацепить другую перевязь, потому что было запрещено носить плащ на этом посту, и один из моих товарищей по имени Менвийер, кто тоже не мог терпеть его тщеславия, сказал мне, что спорит на собственную голову — у его расшитой перевязи нет задней стороны. Я ему ответил, что это было бы невероятно, и Бемо слишком умен, он не будет выставлять себя на посмешище, а ведь он неизбежно окажется в таком положении, если об этом когда-нибудь узнают. Он мне заметил, что я могу верить во что мне будет угодно, но он останется при своем убеждении; и к тому же, он не замедлит узнать, кто из нас прав, он или я.

Мы сменились с поста; Бемо продолжал разыгрывать недомогание, чтобы иметь предлог накидывать плащ. Он не хотел так рано упустить случай выставлять напоказ свою перевязь, пока не переменилась мода, и давать знать всему свету, что уж он-то не из обычных людей.

Фарс по всем правилам

Менвийер, шустрый малый, не требовавший от жизни большего, как посмеяться и насмешить других, видя, что Бемо опять ухватился за свой плащ, а это только подтверждало его мысль, рассказал пяти или шести из наших товарищей, тоже насмехавшимся над Бемо, все, что он об этом думает. До тех пор никто ни о чем не догадывался, и нашелся один, кто спросил у него, как бы устроить так, чтобы выяснить наверняка. Он ответил ему, что лучше всего было бы явиться всем вместе к этому фанфарону после обеда и предложить ему прогулку в лес; тогда этому товарищу стоит только пойти за ним, и он сам, собственными глазами увидит, кто был прав. Мне он сказал то же, что и всем другим, и мы, отобедав, сразу же отправились к Бемо; мы нашли его как раз готовящимся явиться провести вечер с нами, и на плечах его уже красовался плащ. Он согласился на предложенную прогулку, и при входе в лес пятеро или шестеро из нас остановились и сделали вид, будто рассматривают гнездо на вершине дерева. [52]

Менвийер разговаривал с ним, дабы не возбудить никакого подозрения насчет того, что он собирался сделать. Мы же следовали за ним, как нам и рекомендовал Менвийер, и он, увидев, что мы были уже не более, как в пятнадцати или двадцати шагах от них, сделал шаг вперед, все еще не раскрывая своего намерения. Тогда он сказал Бемо, что тот просто неженка со своим плащом, а это не подобает молодому человеку и еще менее Кадету Гвардейцев; в то же время он завернулся в один из углов его плаща и сделал три или четыре полуоборота влево, открыв тем самым позорную часть перевязи. Раздался взрыв смеха, который можно было услышать, наверное, за четверть лье. Бемо; настоящий Гасконец, каким он и был, и даже самый отборный Гасконец, оказался разгромлен; каждый высмеивал его мнимую болезнь, и так как смеялись также и над его перевязью, он счел, что единственным решением для него, чтобы спастись от бесчестья, каким он покроет себя во всем полку, было бы драться против Менвийера; и в тот же день он вызвал его через одного парижского бретера из его знакомых.

Менвийер, кто был бравым малым, поймал его на слове, и, явившись рассказать мне, что с ним приключилось, упомянул, что теперь он нуждается в секунданте; я предложил ему мои услуги, мне было прекрасно понятно, — говоря мне все это, он сам хотел попросить меня пойти к нему в секунданты.

Свидание было назначено на следующее утро за сотню шагов

от Эрмитажа Святого Людовика, над Фонтенбло, в чаще леса. Явившись туда, мы повстречались с отделением нашей роты, искавшим нас, чтобы помешать битве — наш Капитан был извещен о ней в тот же вечер запиской от бретера, кто ощущал себя гораздо сильнее на мостовой Парижа, чем на открытом воздухе, и не желал рисковать здоровьем. Бемо был этим страшно недоволен, но нас такая ситуация не особенно трогала, не наша честь была под ударом. Что до бретера, то он разыграл из себя храбреца с наименьшими затратами, [54] и заявлял, что Бемо ему так же обязан, как если бы он убил своего человека и помог бы ему таким образом одержать победу.

Отделение препроводило нас в наше расположение, где Месье дез Эссар засадил нас всех четверых в тюрьму за дерзость идти наперекор приказам Короля. Тем не менее, он доложил Королю, но в такой манере, чтобы нам не навредить. Король сказал ему, что оставляет его единственным судьей в этом деле, но что неплохо бы нам несколько дней посидеть в тюрьме, дабы в другой раз мы поостереглись пренебрегать нашим долгом. Мы просидели там пять дней, что много для молодости, не требующей ничего более, как вечно резвиться. При нашем выходе наш Капитан пожелал, чтобы мы обнялись, Бемо, Менвийер и я, и наложил на нас запрет говорить кому бы то ни было о перевязи; но, когда бы даже Его Величество нам это запретил, я не знаю, смогли ли бы мы ему повиноваться. Как мы были далеки от того, чтобы хранить молчание об этом деле, Бемо отныне не имел для нас другого имени, кроме «Бемо ле Бодрие» (Бодрие — le Baudrier (фр) — перевязь), так же, как прозвали Подполковника некоего полка из Фонтене «Удар шпаги», и как еще сегодня называют одного Советника Парламента — «мандат удар кинжала».

Бемо рассердился на меня за согласие быть секундантом его врага. Он находил, что я проявил крайнюю нелюбезность, я — его соотечественник или почти, принял сторону выходца из Боса, поскольку Менвийер был из окрестностей Этампа. Король, любивший свой полк Гвардейцев и знавший всех Кадетов вплоть до того, что почти фамильярно разговаривал с ними, сказал мне в день моего выхода из тюрьмы, что я так долго не протяну, если не изменю своего поведения; всего только три недели, как я прибыл из своей страны, и, однако, уже участвовал в двух битвах, а если бы мне не помешали, то ввязался бы и в третью. Он сказал мне быть более мудрым, если у меня есть желание ему угодить, иначе я не получу от него ничего, кроме неудовольствия. [55] Его Величество говорил бы со мной еще более строго, если бы знал, что приключилось со мной в Сен-Дие, и исходило-то от меня самого. Однако это дело все еще лежало у меня на сердце, и я не

понимал, как Монтигре, показав мне столько благородства, мог так надолго оставлять меня без всяких новостей. Я ему написал, отправляя назад его деньги, и, не получив ответа, почти засомневался, что деньги ему были переданы, если бы мне не возвратили расписку, что сохранилась у него от меня.

Появляется еще и другой Кардинал

После возвращения из Фонтенбло нашему полку был устроен смотр перед Королем, приказавшим нам держаться наготове для отправки на Амьен, куда Его Величество должен был явиться незамедлительно. Он уезжал туда, чтобы поддержать осаду Арраса, начатую по его распоряжению маршалами де Шон, де Шатийон и де ла Мейере. Уже некоторое время Кардинал Инфант бродил вокруг их лагеря с армией не менее сильной, чем их войска, и заявлял, что заставит их снять осаду без всякого сражения. Он совсем неплохо преуспевал в этом до сих пор; наша армия испытывала недостаток во всем, поскольку он прилагал все свое старание, мешая конвоям добираться до места назначения. Делать ему это было довольно легко, по причине большого количества народа в его распоряжении. Итак, половина наших конвоев обычно перехватывалась, а те, что проходили, были явно недостаточны для удовлетворения нужд такой огромной армии.

Этот успех превращал осажденных в наглецов. Они выставляли на их стенах крыс из картона и противопоставляли им котов, сделанных из того же материала. Осаждающие недоумевали, что бы это могло означать, и, захватив двух или трех пленников, настоящих Испанцев, потребовали от них объяснения. Приведенные в штаб Маршала де Шатийона и услышавшие от этого последнего тот же вопрос, эти пленники, отличавшиеся большим присутствием духа, нахально ему ответили, что если бы кто-нибудь другой поставил им такой вопрос, они [56] бы ему легко простили, но так как он исходит от него, они не могут ни на что решиться, поскольку им казалось, что уж он-то должен бы быть более сообразительным. Неужели он сам не видит, что это значит — когда крысы сожрут котов, Французы возьмут Аррас.

Маршал не посмел осмеять этот ребус, что бы он, может быть, сделал, если бы дела осады находились в лучшем состоянии. Он сделал вид, будто не слышал, что они сказали, предпочтя противопоставить презрение их дурацкому ответу. Тем временем Король выехал из Парижа, и часть нашего полка, по прибытии в Амьен, получила приказ маршировать на Дорлан, где подготавливали большой конвой для осаждающих. Другие остались в Амьене, частью для охраны Его Величества и частью для экспортирования второго конвоя, что должен был соединиться с первым. Не то, чтобы какая-то опасность угрожала на тех семи лье, что отделяют Амьен от Дорлана, но требовалось все-таки принять все меры предосторожности, дабы не попрекать

себя потом, поскольку противник мог перейти реку за этим маленьким городком и поджечь его.

В сапогах не маршируют…

Король, получавший громадное удовольствие от вида проходящих перед ним его войск, вызвал несколько других полков из Шампани, дабы увеличить армию этих маршалов. Среди них был один, замечательный тем, что Полковник его был очень молод, потому что в те времена, как, впрочем, и в эти, состояние особы служило ему гораздо лучше для получения доброго поста, чем его служба; и в самом деле, вовсе не без причины всегда больше почтения состоянию перед достоинством, поскольку одно из главных качеств для Полковника, кто хочет иметь хороший полк, — это держать добрый стол. Это чудесно служит на пользу его Офицерам, и они уважают его настолько же за это, как и за все остальное. Этот не отличался недостатком разума, но он верил, может быть, что разума у него еще больше; он не очень был любим своими, то ли он не особенно [57] хорошо справлялся с той, главной обязанностью, то ли имел несчастье понаделать себе больше врагов, чем друзей, как делают почти все люди, у кого больше разума, чем у других. В самом деле, так как они не прощают ошибки других, их всегда страшатся и смотрят на них, как на неудобных педагогов, что вызывает больше ненависти, чем любви.

Этот Полковник, кто, к несчастью для него, был человеком именно такого сорта (поскольку я лично считаю, что лучше не иметь такого разума, зато быть побольше любимым), не дошел какой-нибудь четверти лье до Амьена, когда набат оповестил о его приближении. Как только Король услышал его звон, он отправил кого-то узнать, что там увидели на колокольне. Ему доложили, что это полк, двигавшийся единым корпусом и разбивавшийся теперь на батальоны. Его Величество, пожелав увидеть его марширующим перед ним прежде, чем он явится в отведенный ему лагерь, послал ему приказ пройти вдоль земляного вала города, на который он выходил. Майор, кого Полковник отправил к Королю за его приказами, найдя при въезде в город гонца с тем посланием, о каком я только что говорил, вернул его назад, взяв на себя засвидетельствовать перед своим Полковником волю Короля. Однако, так как он был счастлив заставить этого Полковника претерпеть какое-нибудь унижение, дабы научить его раз и навсегда (каким бы умелым он себя не считал, найдется еще множество вещей, по каким ему не худо бы посоветоваться со старыми Офицерами), он отослал бывшего вместе с ним Капитана в полк, чтобы предупредить подполковника о смотре, что желал провести Король, но не

говорить ни единого слова Полковнику. Подполковник распространил эту новость из уст в уста всем Капитанам, не поделившись ею со своим вышестоящим, и каждый принял свои меры, храня молчание. Те, кто были в сапогах, переобулись в башмаки, как и подобает Пехоте, когда она проходит на смотру. Наконец, когда полк был не [58] более, как на расстоянии пистолетного выстрела от города, Майор вышел оттуда, чтобы подойти и сказать Полковнику, что Король находится в сотне шагов от них для наблюдения за их проходом перед ним. Этот Полковник, кто не отдал себе отчета в маневре его Подполковника и его Капитанов, тут же спешился и скомандовал, чтобы каждый делал, как он. Он додумался только взять пику, совершенно забыв про свои сапоги.

… или война в кружевах

Итак, когда он маршировал в сапогах перед Его Величеством, Месье дю Аллье, Маршал Лагеря (Современный эквивалент — Генерал Бригады), кому было поручено проведение конвоя, и кто был родственником этого Полковника, сказал Королю, что он желал бы ради блага его службы, чтобы все те, кто носит оружие ради него, имели бы столько же разума, как проходивший Полковник. При этих словах Его Величество отвел взгляд от инспектируемого им Полка, чтобы посмотреть на Маршала. Так как он ничего не сказал, тот удивился и спросил у Его Величества, что бы это могло означать? — Я не смею вам этого объяснять, — ответил ему Король, — из страха вас огорчить; поскольку, если бы мне было позволено сказать вам, что я думаю, я бы вам откровенно признался, что если вы верите в большой разум человека, как вот этот, надо полагать, что у вас его вообще нет.

Месье дю Аллье был сильно изумлен, услышав, как Король говорит таким образом. Он умолял просветить его, поскольку он не видел, в чем была его ошибка. — Я бы вам простил, — ответил ему Король, — если бы это с вами случилось до того, как вы стали Офицером Генералитета; я бы подумал тогда, что, постоянно служа в моих Телохранителях и в моей Страже, вы настолько привыкли к виду сапог, что не удивились бы, увидев их даже на обезьянах; но, чтобы Маршал Лагеря, кто видит Полковника Пехоты, проходящего на смотру с пикой в руке передо мной, не заметил их на нем — это большая оплошность, и этого я не могу стерпеть.

Месье дю Аллье был весьма сконфужен, услышав [59] эти упреки, и он хотел бы вовсе не произносить тех слов, что у него вырвались, но так как время было упущено, он послал секретно предупредить своего родственника приготовиться получить большой нагоняй от Его Величества. И в самом деле, когда Полковник явился отсалютовать ему после смотра его полка, — Такой-то, — сказал ему Король, — Месье дю Аллье говорил мне, что вы обладаете большим разумом; я ему ответил, что охотно этому верю, но надо также, чтобы и он поверил вместе со мной, что у вас очень мало усердия к службе, или же вы очень плохо воспользовались временем, затраченным на подготовку; где и когда вы обучились тому, что Полковник может маршировать передо мной в сапогах? — Сир, — ответил ему Полковник, — я узнал о желании Вашего Величества осмотреть мой полк, только когда уже был у ворот города, и у меня хватило времени лишь на

то, чтобы взять мою пику. К тому же, кто мог подумать, что при такой жаре и пыли, как сегодня, Ваше Величество соблаговолит дать себе такой огромный труд. — Поверьте мне, — заметил ему Король, — каким бы там разумом вы ни обладали, вы очень плохо выкручиваетесь из этого дела, и стоило бы гораздо лучше вам помолчать, чем говорить настолько некстати; это лучший совет, какой я могу вам дать. — Этот Полковник не лазил за словом в карман и ответил Королю, что он и не пытался оправдаться, раз Его Величество не находит его достойным, но, как бы ни была велика его ошибка, она, по меньшей мере, послужила ему для того, чтобы первым выразить восторг, испытываемый всеми при виде самого великого Короля Христианского Мира на коне, в момент, когда каждый не просил бы ничего иного, как укрыться от жары и других неудобств природы.

Его лесть не послужила ему ни к чему, равно, как и гнев на его Майора. Он напрасно старался добиться его разжалования, так же, как и нескольких Офицеров его Полка, кого он подозревал в соучастии подготовки его унижения. Никто, кроме [60] Полковников, в те времена не имел такой большой власти над их Капитанами, но, наконец, когда эти последние были признаны, как бравые люди, и когда они имели друзей, то если и случалось Полковникам пожелать предпринять что-то против них, они объединялись все против него, и Двор не считал уместным, ради удовлетворения страсти одного-единственного, отнимать их звания у людей, славно ему в них служивших.

Атака на конвой

Король провел подобным образом смотр всех других войск, прибывших в лагерь и сформированных за четверть лье от Амьена. Он так проинспектировал пятнадцать или шестнадцать тысяч человек, включая в это число и Дом короля (Дом Короля — имел в своем составе из Кавалерии — Мушкетеров Короля, Телохранителей, Стражников и Рейтаров — и из Пехоты — Мушкетеров и Телохранителей, Гвардейцев Французских и Гвардейцев Швейцарских. Дом Короля был элитным корпусом Армии). Когда они все были собраны, мы двинулись в путь вместе с конвоем, его-то мы и должны были эскортировать. Из-за количества повозок, что нам требовалось провести, мы два дня добирались до Дорлана. Там мы приняли еще и другой конвой, приготовлявшийся заранее, и, пробираясь вдоль лесов Графства Сен-Поль, сделали в этот день всего лишь два лье. На следующий день, хотя мы выехали гораздо раньше, чем в день предыдущий, нам не удалось сделать намного больше. В самом деле, враги, решившиеся дать нам ложную тревогу, чтобы скрыть их истинное намерение взломать ряды осаждающих, бросили Пехоту в леса, что тянулись и справа, и слева. Она показывалась в разных местах, создавая впечатление подготовки к чему-то важному — мы удовлетворялись тем, что отгоняли ее маленькими подразделениями по мере того, как она появлялась, без особого беспокойства для нас. Месье дю Алье считал, что ему нет до этого дела, лишь бы он довел конвой до пункта назначения — это все, что от него требовал Двор.

Мы разбили лагерь в этот день между двух лесов, на страшно стиснутой ими в этом месте равнине, протянувшейся на лье, и так как нужно было получше там устроиться, мы разожгли большие костры. Враги, по-прежнему заставляя нас поверить, что они [62] не допустят прохода конвоя, подогнали к этой стороне несколько маленьких полевых пушек. Они нас подхлестывали из них всю ночь, но только слева от нас, потому что там у них было сзади больше свободного пространства, чем справа, где мы могли бы их отрезать. Их маленькие полевые пушки убили у нас лишь нескольких лошадей, интенданты заменили их другими, и мы, наконец, показались в виду наших линий.

Враги заняли позицию посередине, чтобы преградить нам проход; это вынудило нас окопаться, из страха, как бы они не напали на нас врасплох. Они даже являлись на разведку, опять же пытаясь внушить, что именно на нас они нацелились, но, поразвлекав нас таким образом в течение двух дней, они,

наконец, внезапно раскрыли свой план атакой на Форт, что Граф де Рантсо, ставший впоследствии Маршалом Франции, возвел для безопасности наших линий. Этот Граф был славным Воином, и, может быть, не имел бы себе равных во многих вещах, если бы меньше предавался вину. Насколько он был активен и бдителен, когда постился, настолько же был он сонливым и неспособным, когда вливал десять или двенадцать бутылок вина Шампани себе в желудок, поскольку требовалось никак не меньше, чтобы его свалить. Когда же он выпивал только половину, по нему ничего не было видно, будто капля воды падала в море. Кардинал Инфант, имевший отличных шпионов, через кого он узнавал хорошее и дурное обо всех наших Генералах, выведав, что у него есть такая склонность, задумал атаковать именно его расположение с самого начала осады, длившейся около двух месяцев, предпочитая его всякому другому, и пусть он был бы, может быть, более силен; Кардинал предполагал встретить там меньшее сопротивление, если, конечно, он атакует его в благоприятный момент.

Рантсо, догадавшись о его намерении, удерживался от какого бы то ни было дебоша, пока он полагал, что существует опасность. Днем и ночью он не [63] спускался с седла и даже усовершенствовал этот Форт в такой манере, что казалось невозможным предпринять его захват на виду у всей армии трех Маршалов. Но, наконец, Рантсо, кто до сих пор держал себя в струне, убедив себя, что всякая бдительность будет для него теперь бессмысленна, раз Кардинал Инфант не думает больше ни о чем, кроме как атаковать наш конвой, тотчас поддался своей склонности. Он устроил дебош, пригласив на него главных Офицеров двух полков, что были в его распоряжении, одного Пехотного и другого Кавалерийского. Они располагались лагерем рядом с ним и были сформированы из особ его Нации, поскольку Двор не имел тогда политики, какую имеет сейчас, то есть, не доверять командование иноземными войсками Офицерам Генералитета их же национальности из страха, как бы они этим не злоупотребили или не сделались чересчур могущественными. Правда, всегда поручали их полки Бригадирам, как было сделано с Кенингсмарком в первый год войны с Голландией; но, когда они становились Генералами Корпуса или Маршалами Лагеря, их либо обязывали отказаться от командования, либо отправляли эти полки служить в другие места, дабы принять все меры предосторожности.

Вино добавляет смелости

Как бы там ни было, но едва только Рантсо уселся за стол, как шпионы Кардинала Инфанта, зная, что он нескоро из-за него выйдет, пошли предупредить этого Принца. Хотя от одного лагеря до другого было недалеко, и соответственно не нужно было много времени, чтобы прибыть в Форт, он поднялся в седло лишь два часа спустя. Он хотел не просто оставить Графу свободу начать пиршество, но еще и дождаться момента, когда он не будет больше в состоянии защищаться. Принятые им меры не могли быть более верными. Он прибыл в Форт через четыре часа после того, как Рантсо поместился за стол, но этот последний, пока он совершенно не погружался в вино, получал от него лишь еще больше храбрости, и он защищал свои позиции с гораздо большей [64] суровостью, чем мог себе вообразить Кардинал Инфант. Маршал де Шатийон очень быстро примчался на выручку Рантсо; он поспешил тем скорее, узнав, что этот последний был застигнут тогда, когда был за столом. Было уже два часа утра, и, имея сведения, что Рантсо сел за стол в десять часов вечера, он думал, что тот, должно быть, опустошил столько бутылок, что к настоящему часу вряд ли был в состоянии взглянуть в лицо ситуации. Он нашел Рантсо верхом, и это было просто чудо, как его еще не убили. В самом деле, вот так, на коне, тогда как другие приближались к врагу пешком; по нему стреляли бесчисленное множество раз. По первому же его слову Маршал де Шатийон прекрасно понял, что он выпил много больше разумного, но он рассудил, что не время делать ему упреки; он просто посоветовал ему спешиться или удалиться за других, поскольку если он до сих пор и ускользал от смерти, то один момент мог все это изменить. Он, разумеется, никогда бы не согласился, если бы мы были в силах удерживать Форт и дальше, но Кардинал Инфант, овладев им после долгой и упорной битвы, начинал разворачивать против него несколько пушек, найденных им в Форте.

Маршал де Шатийон, приведший с собой войска, скомандовал им тогда отбить Форт, открытый с этой стороны. Дабы взбодрить эти войска, он сам встал во главе атаки, и его люди, постыдившиеся бы не исполнить их долг в присутствии их Генерала, столь доблестно устремились туда, что этот Форт был очень быстро взят назад из рук врагов. Мы потеряли четыреста человек в этой первой атаке, из них шестьдесят четыре Офицера, среди которых двадцать девять принадлежали к двум полкам Рантсо. Вражеский лагерь потерял двести пятьдесят человек, и

Кардинал Инфант, не ожидавший такого поворота судьбы, более, чем никогда, горел нетерпением возобновить сражение. Он сменил людей, кто, побывав в победителях, сделались побежденными, свежими силами. Он сказал им в кратких словах, что слава [66] Арраса или его гибель зависят только от их смелости, и если они преданы их Королю и их стране, они не найдут, может быть, никогда такой прекрасной возможности это доказать. Действительно, Его Католическое Величество (Его Католическое Величество — Король Испании, в противоположность, если можно так сказать, Его Христианнейшему Величеству, Королю Франции) придавал чрезвычайную важность этому городу, и Король, забирая его, не только закрывал этим свою границу, но еще и открывал себе широкий проход в его страну. К тому же, это была столица Артуа, завоевание, что должно было принести славу оружию Франции и отнять ее у Испании.

Война, которая убивает

Маленькая проповедь Кардинала Инфанта не оказалась для него бесполезной, поскольку его войска браво пошли на тех, кто только что отбили Форт. Те хотели его защищать, но, несмотря на их усилия, они были принуждены уступить, а большая часть этих людей была убита на месте или выведена из состояния драться.

Маршал де Шатийон, кто выдвинул с этой стороны свежих людей, дабы поддержать их в случае нужды, увидев, как его войска отходят достаточно быстро, чтобы предположить, что они скорее бегут, чем отступают, снова сам повел нападение. Он делал чудеса, так что враги, не имея времени укрепить их позицию в Форте, были изгнаны оттуда во второй раз. Месье дю Алльe, подошедший к лагерю в течение этого времени с восемью или девятью тысячами человек, в том числе и с нашим полком, нагнал страху на Кардинала Инфанта этим маршем, поскольку тот знал, что он вел с собой Дом Короля, одну из лучших частей Его Величества. Итак, не помышляя больше о захвате Форта, он дал нам время провести наш конвой, принесший изобилие в лагерь. И осажденные, мощно защищавшиеся до тех пор, не замедлили больше, чем на два дня, с просьбой о капитуляции.

Король, кто оставался в Амьене всего лишь с дозором Телохранителей, Бригадой Стражников и Рейтаров, и Ротой его Мушкетеров, исполнявших при [67] нем те же функции, что привык исполнять наш Полк, был тотчас извещен и пустился в путь, чтобы посетить свое новое завоевание.

Дуэль при бильярде

Перед отъездом из Амьена три Мушкетера и три Гвардейца Кардинала опять бились между собой, так и не придя к согласию, за кем осталось преимущество. Их ссора произошла в бильярдной, где, по обычаю этих двух Рот, едва они успели встретиться, как начали друг друга искоса оглядывать. Игравшие до них люди, закончив партию, удалились, и один из Мушкетеров взял один бильярдный кий, тогда как Гвардеец взял другой. Конечно, они не собирались вместе играть, посокольку недостаточно любили друг друга для этого, но когда кого-то не любят, получают удовольствие от того, что ищут с ним ссоры. Мушкетер по имени Данневе, кто был дворянином из Пикардии, щелкнул по шару, находившемуся перед Гвардейцем, и так как он отлично играл в эту игру, он заставил шар подскочить. К несчастью, он попал в лицо Гвардейцу; тот или счел себя намеренно оскорбленным, или просто ухватился за предлог, подал ему глазом знак выйти, дабы посмотреть, так ли ловко он будет щелкать шпагой, как щелкает по шарам. Два товарища Гвардейца последовали за ним, и два друга Мушкетера сделали то же. Данневе убил своего человека, и один Мушкетер также был убит. Четверо остальных были разлучены Горожанами, вынужденными крикнуть «к оружию!», чтобы вынудить их прекратить схватку. Отделение Мушкетеров получило приказ выяснить, что произошло и почему кричали «к оружию!» Как только они их увидели, двое Гвардейцев сбежали, уверенные, что те явились изрубить их в куски, и поскольку они таким образом бросили поле боя, два Мушкетера заявили, что одержали победу. Их заявление, впрочем, было основано на факте, что двое беглецов были ранены, а они — нет. Гвардейцы возражали на это, что их раны были ничтожны, и они не помешали бы им призвать [68] противников к ответу, если бы им позволили так поступить; что отступление их было сделано из предусмотрительности, а не из страха; не было ничего чрезвычайного в том, что два человека убегали перед дюжиной, особенно, когда эта дюжина была вооружена мушкетами, тогда как у них из всей защиты оставались только шпаги.

Хотя я всегда был в душе Мушкетером, что простительно, поскольку у них я сформировался, я не могу умолчать, что эти два Гвардейца не были неправы, отстаивая свое мнение. Однако Король, кого время от времени так и подмывало огорчить Кардинала, сразу же, узнав об этой истории, не разбираясь, должна ли она рассматриваться как дуэль, или как простая

встреча, принялся над ним насмехаться. Он сказал ему, что ежедневно видит разницу между своими Мушкетерами и Ротой его Гвардейцев; когда бы даже он не заметил ее сам, эта единственная встреча была бы достаточна, чтобы на нее ему указать. Кардинал, каким бы великим умом он ни был, тем не менее, моментами не отвечал тому высокому уважению, какое снискал себе в мире; он оскорбился этими словами, забыв, что почтение к Его Величеству обязывало его слушать еще и не такое, пусть бы это ему абсолютно не нравилось. Он ответил ему довольно грубо, — если позволительно так говорить о Министре, — что надо признать его Мушкетеров бравыми людьми, но только, когда их оказывается дюжина против одного. Король был задет; он ему заметил, что это можно было бы отнести лишь к его Гвардейцам, настоящему сброду из всех бретеров Парижа; однако Данневе убил одного, а те, кто ему секундировали, ранили остальных, и хотя с их стороны один Мушкетер был убит, это не помешало им обратить в бегство их противников; наконец, не существовало ни одного Мушкетера, кто не смог бы сделать так же, как Данневе, и что те из его Гвардейцев, кто будут иметь дело с ними, не смогут надеяться на лучшее обхождение. [69]

Эти слова повлекли за собой другие со стороны Кардинала, все более и более забывавшего, что он имеет дело со своим Мэтром, и что он обязан ему почтением. Граф де Ножан вошел в эту самую минуту и тотчас понял при виде лиц Его Величества и Его Преосвященства, что там происходило что-то необычайное. Он был крайне смущен, что прибыл в такой момент, и хотел тут же выйти, когда Кардинал, начинавший осознавать свою ошибку, его удержал, говоря, что нуждается в нем, дабы рассудить, виновен ли он или нет, потому что некто третий был бы более способен это сделать, чем он сам.

Этот Граф был новоиспеченный Граф, и был настолько незначителен, что, естественно, сделался чрезвычайно богат. В течение определенного времени он проходил при Дворе за буффона, но, наконец, самые мудрые вскоре признали, что у него больше рассудка, чем у других, поскольку он сумел сколотить более трех миллионов добра, и это при том, что считалось, будто он не изрекает ничего, кроме глупостей. Он любил игру превыше всего и даже терял на ней деньги. Он не был в добром настроении, когда такое с ним случалось, потому что был очень корыстен. Он ругался и поносил тогда крещение и святость, что настолько удивило однажды одного из братьев Герцога де Люина, кто вел очень крупную игру против него, что, лишь бы не слушать больше его богохульства, он вернул ему более пятидесяти тысяч экю, какие у него выиграл. Он сказал ему, смешивая жетоны, лежавшие перед ними и стоившие по пятьдесят пистолей каждый, что он придает больше значения его дружбе, чем его деньгам, что, приводя себя в такой гнев, он губит свое здоровье, и из страха, как бы он не заболел, он предпочитает лучше никогда более не играть против него, чем подвергать его подобной опасности.

Однако этот великий богохульник сделался человеком благотворительности к старости, что далеко не огорчило Капуцинов. Так как он соседствовал [70] с одним из их монастырей, когда он видел аппетитное блюдо на своем столе, он распоряжался убрать его ради умерщвления плоти, не желая притрагиваться к нему, и отправлял его им, приказывая сказать съесть его во имя его спасения. Его жена и дети, кто распрекрасно съели бы его сами и кто вовсе не были такими набожными, как он, частенько здорово бесились, но им приходилось запасаться терпением, ибо он заставлял себе подчиняться вопреки всему.

Человек, чей портрет я очертил в немногих словах, хорошо понял по тону Кардинала, что он нуждается в его помощи, чтобы

вытащить его из этого дела. Тем не менее, он не мог угадать, что это было за дело, поскольку и не предполагал, что Министр настолько лишился разума или оказался настолько мало политичным, что у него не достало почтения к Его Величеству. Когда ему все было рассказано, он прекрасно увидел, что и самые великие люди способны, как и другие, совершать великие ошибки. Так как он был большим дипломатом и большим льстецом, он увидел по лицу Короля, что Его Величество был шокирован не без причины всем сказанным Его Преосвященством, и он рассудил, что не остается никакого другого средства его утешить, как свалить всю вину на Кардинала.

Король был страшно обрадован, что Ножан высказался за него. Теперь он почувствовал себя вправе сделать самые строгие упреки Его Преосвященству, говоря ему, что его личные интересы настолько его ослепляли, что он становился неспособным прислушиваться к голосу разума, и если бы не появился некто третий, дабы его осудить, он бы сопротивлялся ему до дня Страшного Суда. Кардинал, осознавая по этим словам, в каком праведном гневе пребывал Его Величество, был достаточно ловок, чтобы все загладить смиренным раскаяньем в своей [71] ошибке. Он даже попросил у него прощения в присутствии Ножана, а когда ему подвернулся случай встретиться с ним наедине, он сказал ему, что тот оказал ему такую огромную услугу, что он будет признателен ему за нее всю свою жизнь. [73]

Наместник и Мельничиха

Король отдал Наместничество над Аррасом Офицеру по имени Сен-Прей, бывшему Капитану Гвардейцев. Он был тогда Комендантом Дорлана, и так как оттуда выводили большую часть конвоев, послуживших поддержке жизнеобеспечения армии, а следовательно, и взятию крепости, Его Величество подумал, что услуги, оказанные им в подобной ситуации, вполне достойны такого вознаграждения. Это был очень бравый человек, очень опытный в своем ремесле и, кроме того, неутомимый до той степени, что с четырех часов утра, [74] когда он вставал, до одиннадцати часов вечера, когда он ложился, он старался единственно о том, как бы сорвать все планы, какие бы могли иметь враги. Когда гарнизон считал его погруженным в самый глубокий сон, именно тогда он вставал и шел делать обход, и его видели на всех укреплениях. Он частенько проходил там по два или по три раза за одну ночь, так что его солдаты, даже когда они его уже видели, не были уверены, что не увидят его снова моментом позже. Это заставляло их быть более бдительными, чем они бывали в других местах, потому что существует множество Комендантов, кто думает, что когда им дают Комендантство, это лишь для вознаграждения их прошлых трудов и забот, и в будущем они должны быть избавлены от этого бремени.

Месье де Сен-Прей влюбляется в весьма очаровательную мельничиху

Сен-Прей никогда не был женат. Не то, чтобы ему недоставало выгодных партий, но он думал, что супружество вовсе не согласуется с его ремеслом. Тем не менее, так как он был в самом цветущем возрасте и обладал живыми страстями, у него всегда имелась какая-нибудь любовница за отсутствием жены. Через несколько дней после получения своего Наместничества он отправился посетить окрестности вплоть до двух лье в округе, и на одной мельнице он нашел жену мельника, столь очаровательную, что всеми силами захотел ее иметь. У этой женщины были такие прекрасные глаза, что родись она чем-то иным, чем была, ей не понадобилось бы много времени, чтобы разглядеть разницу между Наместником и ее мужем. Ни время, ни обстановка не позволили им поговорить, но так как опыт научил Сен-Прея, что в подобных случаях лучше действовать через третьих лиц, чем самому, он поручил все дело своему

камердинеру, кто два или три года назад сделался его Главным Дворецким. Тот направился к мужу вместе с булочником Сен-Прея под тем предлогом, что ему надо наделать муки для хлеба его мэтра. Но тогда, как булочник беседовал с мужем, Главный Дворецкий сообщал жене о том, что [75] его мэтр безумно влюбился в нее, как только увидел, причем настолько, что он не будет вовсе иметь покоя до тех пор, пока он не будет ею обладать. Это совсем не мимолетная прихоть, он желает сделать ее своей любовницей и не потерпит, чтобы муж разделял ее ласки с ним.

Главный Дворецкий хотел передать ей бриллиант, стоивший целых пятьдесят пистолей, и мельничиха, какой бы простушкой она ни была, знала достаточно, чтобы не сомневаться, — когда принимаются одаривать, намереваются всерьез. Итак, она тут же про себя заключила сделку; но она подумала, — если покажется чересчур доступной, это будет самое верное средство погасить страсть Сен-Прея, вместо того, чтобы ее разжечь. Может быть, она приобрела такую опытность в объятьях кого-то другого или, по меньшей мере, в руках собственного мужа; как бы там ни было, она выставила Главного Дворецкого вместе с его подарком. Тем не менее, она успела шепнуть ему, что только стыд ее удерживает.

… похищает ее у мужа,

Выслушав рапорт своего Главного Дворецкого, Сен-Прей не рассердился, что мельничиха не сдалась на первое сделанное ей предложение. Он за ней приказал следить, дабы подступить к ней с другими предложениями в случае, если она явится в город. И когда эта особа туда явилась в день Святой Девы Сентябрьской, Главный Дворецкий пригласил ее вместе с двумя другими сопровождавшими ее женщинами на угощение к Наместнику. Он говорил, однако, только от своего имени и поостерегся делать это от имени его мэтра перед двумя свидетельницами. Мельничиха приняла его приглашение, и обе женщины были счастливы, поскольку они надеялись выпить там доброго вина, Фламандки не менее пристрастны к нему, чем их мужья; итак, они пошли туда все втроем за компанию. Главный Дворецкий потчевал их на славу, и, подав знак мельничихе воздерживаться, он напоил двух других женщин до такого состояния, что они потеряли всякое сознание. [76] Каждой из них постелили постель и уложили их так, что они совершенно не соображали, что с ними делают, настолько винные пары ударили им в голову. Они беспробудно проспали всю ночь, тогда как Главный Дворецкий передал мельничиху в руки своего мэтра. Она немного поломалась,

прежде чем броситься в его объятия, поскольку боялась, как бы он не отослал ее назад, когда пройдет его фантазия. Но Сен-Прей поклялся ей, что даже и не думал об этом и накупил уже разнообразных тканей ей на платья, потому что не желал всегда видеть ее одетой так, как она была, и немедленно послал за тканями, дабы ей их показать.

… соблазняет ее всеми способами;

Вопреки тому, что он говорил, эти ткани были куплены не для нее, но для одной любовницы, которая была у него до нее; но, когда он заподозрил ее в какой-то неверности, та из гордости не пожелала перед ним оправдываться; то ли она была невиновна и не считала себя обязанной этого делать, то ли она действительно была виновна и не хотела приносить ему бесполезных извинений. Вид тканей убедил мельничиху, что здесь не было и следа подвоха, и она не заставила тянуть себя за уши, чтобы остаться с ним.

Мельник был крайне обеспокоен, когда увидел, что мельничиха не вернулась, и так как он знал, что она ушла в город с двумя знакомыми женщинами, он отправился к каждой из них в надежде разузнать новости. Он нашел их мужей в таком же состоянии, в каком находился и он сам, и так как было уже слишком поздно, чтобы идти искать их в военном городе, да и ворота, должно быть, уже закрыли в такой час, они решили дождаться, пока их откроют, и тогда отправиться на эти розыски.

Сен-Прей, предвидевший нечто подобное, послал своего Главного Дворецкого им навстречу. Так как тот знал, через какие ворота они должны прибыть, он явился на подъездную дорогу под предлогом какого-то дела в лавке бакалейщика. Он был настороже, дабы мельник не проскочил мимо него и, [77] наконец, увидев его проходящим, окликнул его по имени и спросил в присутствии бакалейщика и его семейства, не знает ли он двух женщин, явившихся накануне с его женой. Милые кумушки, — добавил он, — накачались вином в его Кладовой, он вынужден был приказать уложить их в постель, и он не верит, что они и сейчас-то проснулись. Главный Дворецкий уже рассказал эту басню бакалейщику и его жене, чтобы их предупредить. Двум мужьям не составило больше труда искать их жен, но мельник, по-прежнему ничего не зная о своей, был встревожен, как никогда. Он спросил у Главного Дворецкого, не была ли и она уложена, как другие. Тот сделал удивленный вид и сказал ему, что она наверняка спала у себя, поскольку она пошла обратно рано накануне. Этот ответ лишь увеличил замешательство

мельника, и он покинул их, чтобы идти искать ее повсюду, где считал возможным узнать новости о ней. Так и не сумев ее найти, бедняга не мог придумать ничего лучшего, как пойти спросить у двух ее компаньонок, что с ней сделалось. Так как они по пробуждении не помнили больше абсолютно ничего, мельник, не продвинувшийся ни на шаг вперед, начал побаиваться, не приключилось ли с ней какого-нибудь несчастья, однако, совершенно не подозревая того, что было на самом деле.

Он провел несколько дней, разыскивая ее по всем местам; поскольку она была очень хороша, он находил, что это стоило труда. Тем не менее, Главный Дворецкий весьма часто наносил ему визиты, следуя указаниям своего мэтра, и время от времени, чтобы посмотреть на его реакцию, говорил ему, — должно быть, какой-нибудь Офицер, найдя ее по своему вкусу, наверняка ее похитил. Мельник отвечал ему на это, если бы он знал точно, он не пожалел бы труда, специально пошел в Париж и бросился бы в ноги Королю; Его Величество не зря носит имя справедливый, и он не сомневается, попроси он у него правосудия за столь большое насилие, он ему в нем не откажет. [78]

… потом подкупает мельника,

Эта речь была передана Сен-Прею, кто рассудил за благоразумное не выставлять немедленно свое новое завоевание на глаза публике. Он спрятал ее, по меньшей мере, на месяц или на два, тогда как устраивал всяческие удовольствия, какие только мог изобрести, — мельнику, чтобы обезоружить его гнев. Он взялся за дело очень ловко, дабы тот ни о чем не подозревал. Как-то ночью он послал спалить хлев возле его мельницы, где были одни коровы… Мельник, находившийся далеко не в добрых отношениях с одним из его соседей, счел, что это его рук дело, и устроил ему процесс. Затем, опомнившись, мельник понял, что неизбежно его проиграет, поскольку несправедливо обвинил человека, и попросил покровительства у Наместника, испугавшись, как бы его самого не засудили за отсутствием доказательств. Сен-Прей оказал ему покровительство, а чтобы примирить соседей, он не только оплатил все издержки, но еще и распорядился заново отстроить хлев за свой счет. Он ему отдал также вдвое больше коров, чем сгорело.

Наконец, уверовав, что достаточно умаслил его столькими знаками явной щедрости, он польстил себя мыслью, что нет больше никакой опасности и можно раскрыть ему все дело; потому, в одно прекрасное утро он послал за ним и спросил, — если то, что он слышал о своей жене, было правдой, если она

содержится, и с ней очень хорошо обходится персона большого благородства, и дабы поделиться с ним своим счастьем, она посылает ему сумму в две тысячи ливров.

Мельник, хорошо понимавший, что часть этой речи была фальшивой, все-таки надеясь, — может быть, другая будет правдой, ответил ему, что он в первый раз слышит о подобной вещи; что он не может сказать, свалилась ли его жена на руки персоне, кто так о ней заботится; со своей стороны он больше ничего не слышал о ней с тех пор, как она уехала, и если она теперь сильно зажиточна, вряд ли она интересуется, живут ли так другие или же нет. [79]

… покупает у него мельничиху,

Так как его речь казалась более корыстной, чем любовной, Сен-Прей перестал церемониться и заговорил ясно. Он сказал этому человеку — то, что он выдвигал ему, как неопределенную новость, он скажет ему теперь, как решенную вещь; персона, забравшая его жену, передала ему самому две тысячи франков, и он взялся предложить их мельнику. Его слова вновь открыли раны бедного человека, еще не полностью закрытые временем, и он не мог помешать себе испустить глубокий вздох. Однако, так как он узнал, что обеспечит себе две тысячи франков, всего лишь согласившись их взять, тогда как он не был уверен, что если потребует свою жену, ему ее вернут, он принял деньги, в счет будущего платежа, да позволено будет так сказать. Он знал, что в том веке, в каком мы живем, деньги весьма полезны, и не существует более могучего утешения, чем это. Сен-Прей, кому вполне доставало рассудка и кто знал, какие у него влиятельные враги, провернул здесь ловкую штуку, но она, тем не менее, не особенно пригодилась ему, как я расскажу позже. Он взял с него расписку на эту сумму и велел занести ее в список, как секретное дело между ними. Он задумал таким образом, если этот человек решится потом пожаловаться, что он у него похитил жену, сразу же показать, что тот сам ему ее продал. Он был убежден, что невозможно придать никакого другого смысла документу, и что бы там этот бедный рогоносец ни сделал, он не добьется ничего, кроме как изобличения во лжи.

…он делает из нее свою даму, если не свою жену

Когда это дело было улажено, он подумал, что нет большой опасности показать мельнику, что именно он услаждается его женой. Он впустил его в комнату, где была она. На ней были

великолепные одежды, и, взглянув на ее наряд, скорее сказали бы, что она жена Наместника, а не мельника. Бедный муж, кому Сен-Прей ничего не сказал перед тем, как его ввести, был так поражен, увидев ее, что повалился без чувств к ногам одного и другой. Им стоило немалых трудов привести его в себя, и когда он [80] немного оправился, Сен-Прей дал ему еще тысячу франков, чтобы смягчить его горе. Он пообещал, что при случае он снова будет щедр к нему, лишь бы тот вел себя мудро и вовсе ничего не говорил. Мельник взял еще и эту тысячу франков, так и не осмелившись приблизиться к своей жене, и, возвратившись на мельницу, он не заботился больше, как прежде, о том, что с ней стало. Так как они расстались добрыми друзьями, по крайней мере, по всей видимости, и этот бедный человек молча согласился на все условия, Наместник рассудил, что он не обязан больше держать свою любовницу взаперти. Он позволил ей распустить перышки, и так как у него был дар внушать к себе любовь так же, как и страх, внезапно увидели, как весь его гарнизон проникся настолько же большим почтением к мельничихе, как если бы она была его женой. [81]

Попытка убийства ведет к большой любви

Новости о Росне

Двор пребывал в Адвиле, и наш Полк возвратился из Арраса в Париж к середине сентября месяца. Я нашел здесь письмо от Монтигре; он извещал меня, что Росне вернулся в свой дом, но провел там одну-единственную ночь, и, видимо, я был тому причиной; он опасается меня, как самой смерти, особенно с тех пор, как узнал о двух моих битвах; он считает, что я заставлю его пережить дурной момент, если мне удастся его отыскать. Монтигре говорил, что не может мне дать лучшего совета, как держаться настороже, поскольку Росне богат, и он такой человек, что не пожалеет денег, лишь бы укрыться от того, кого он опасается. В коротких словах это означало, что он такой человек, кто способен распорядиться меня убить; мне с [82] трудом в это верилось, потому что, естественно, я довольно хорошо сужу о моем ближнем. В самом деле, я никогда не мог вбить себе в голову, как можно довести себя до такой огромной злобы.

Засыпая со спокойной совестью, я думал, что все, о чем извещал меня Монтигре, вызвано ненавистью, царившей между двумя особами, прошедшими вместе через процесс. Однако я отправил ему ответ, поблагодарив за его мнение, хотя я и считал его ошибочным. Я просил его в этом письме дать мне знать, верит ли он, что Росне в Париже, дабы я мог принять предварительные меры, и желает он мне зла или нет, всегда, как галантный человек, а не как убийца, показать ему, что когда получают такую обиду, какую он мне нанес, невозможно забыть ее иначе, как за нее отомстив.

Монтигре написал в ответ, что Росне пустился в путь на Париж, и никто не сможет лучше известить меня о нем, чем некий Месье Жило, кто был Советником Парламента Парижа; живет он где-то возле Шарите, и если люди его квартала не смогут указать мне его дом, я всегда узнаю об этом у его племянников, Месье ле Бу, Советника, или Месье Анселена, Офицера Счетной Палаты; этот Месье Жило был когда-то близким другом моего врага, но они затеяли вместе процесс из-за какой-то безделицы, и их неприязнь сделалась еще большей, чем была когда-либо их дружба.

По получении этих новостей я счел, что ничем не рискну, повидав этого Месье Жило, поскольку мы питаем одинаковую ненависть к Росне. Я искал в указанном квартале, и, найдя его,

едва было не ускорил мою гибель в этом случае, вместо того, чтобы поторопить мою месть, как намеревался. Один из лакеев старого Советника проводил меня в его комнату, и мне пришлось объяснять ему, зачем я к нему пришел, в рожок, что он вставлял себе в ухо, поскольку был глух. Этот лакей, кто оставался в комнате, оказался шпионом Росне, и, описав меня ему, повторил ему в тот же день все речи, что я вел с его [84] мэтром. Месье Жило поведал мне, где обитает Росне, и я уверился, что найду там его и сразу же отомщу за себя без всякого ожидания. Но портрет, переданный этим лакеем, не оставил у него никаких сомнений по поводу моей личности; он немедленно переехал, разрушив таким образом все мои планы. Неудовлетворенный этим, он еще подыскивал солдат среди Гвардейцев, чтобы поручить им разделаться со мной, не сообразив того, что я был их товарищем, и они, может быть, не захотят обагрять их руки в моей крови. Он надеялся, раз уж деньги заставляют идти на все тысячу самых разнообразных людей, эти сделают все, что он пожелает, особенно, если ему подберут таких, каких ему было нужно.

Он обратился для этого к Тамбурмажору Гвардейцев, кто был из его страны и служил когда-то Барабанщиком в другой Роте вместе с одним из его братьев. Тем не менее, он не сказал ему, каково было его намерение, и Тамбурмажор отказался в довольно резкой манере. Он сказал ему, хотя он и знает всех храбрецов, какие только есть в Полку, он не сможет их привести, когда устраивают тайну из услуги, какой от них ожидают. Получив отказ от Тамбурмажора, Росне обратился к Сержанту, кто не был так разборчив, как тот, и кто привел ему на следующее утро четырех солдат, занимавшихся в Париже примерно тем же ремеслом, каким в Италии занимаются те, кому дают имя «Браво». Такое имя им вовсе не подходит, поскольку вся их бравада состоит лишь в том, чтобы хладнокровно убить человека, особенно, когда их шестеро против одного, и они могут сделать это, не подвергаясь опасности.

Я и не подозревал вовсе, что замышлялось против меня, и думал только о том, как бы подстеречь Росне в том месте, где, по словам Месье Жило, он проживал, когда узнал, что он переехал в тот самый день, как я явился к Советнику. Я спросил у его домохозяйки, исключительно прелестной женщины, весьма стоившей того, чтобы за ней поухаживали, куда он переехал. Она мне ответила, что ничего не знает, но [85] наверняка с ним приключилось дело, крайне его взволновавшее, потому как он не успокоился до тех пор, пока не унесли все его пожитки; случилось это после визита лакея, одетого в зеленое; он поспешно спустился

в ее комнату, спросил у нее свой счет и съехал. По деталям, какие она мне дала, я догадался, что это был лакей Месье Жило, кто провожал меня в его комнату. Итак, дабы лучше в этом убедиться, я молил ее сказать мне, как он выглядел. Ее описание полностью соответствовало тому человеку, какого я видел, и я ничуть не сомневался, что ухвачу там персонажа, позволившего моему врагу так быстро улизнуть.

Гавань любви среди шторма

Столь малого времени, когда я оставался с хозяйкой, задавая вопросы и выслушивая ответы, однако, оказалось достаточно, чтобы я влюбился в нее и, может быть, она влюбилась в меня. Я сказал, что она потеряла постояльца в лице Росне, но если она пожелает, я могу предложить ей другого; может быть, его кошелек не будет так туго набит, как у Росне, но я могу ее заверить, он заплатит ровно столько, сколько пообещает. Услышав от меня такие речи, она прекрасно поняла, что я сам намереваюсь поселиться у нее, и так как у нее уже появилась определенная склонность к моей особе, как она призналась мне впоследствии, она мне ответила, что придает небольшое значение тому, богаты ее постояльцы или нет, лишь бы ей регулярно платили; для нее важнее честность, чем богатство, и поскольку я пожелал оказать ей честь поселиться у нее, мне стоит только занять комнату, покинутую Росне, где имеется довольно удобный гардероб; и когда я там расположусь, в Париже найдется тысяча других, кто не будет так удобно устроен, как я.

Хотя я и Гасконец, то есть, происхожу из той страны, где неохотно признаются в собственной бедности, тем не менее, я сказал, что как раз та причина, какую она назвала, помешает мне принять ее предложение; эта комната слишком хороша для меня, мне хотелось бы что-нибудь более обычное, дабы [86] быть в состоянии расплатиться; мне нечего делать с гардеробом, прихожей и конюшней, потому что я всего лишь бедный дворянин из Беарна, нет у меня ни лошадей, ни лакея. Другая на месте этой женщины, занимавшаяся тем же ремеслом, что и она, была бы обескуражена таким наивным заявлением, но эта, более щедрая, чем множество других, ответила мне, что каким бы бедным я ни был, она хочет поселить меня в этих апартаментах, или же я могу вообще не переезжать к ней; я ей дам за них столько, сколько сам пожелаю, и даже совсем ничего, если это доставит мне удовольствие; скорее она попросит меня вспомнить о ней, когда я составлю себе состояние, поскольку она убеждена, это случится со мной однажды. Мне понравились и ее щедрость, и ее

пророчество. Я ей ответил, что как только ее увидел, сразу же решил снять у нее хотя бы чердак, чем лишиться такой хозяйки, и она может судить о моих чувствах теперь, когда она предложила мне с такой доброй любезностью одни из лучших ее апартаментов. Я пообещал как можно меньше быть ей в тягость, а если гороскоп, предначертанный ею, когда-нибудь сможет сбыться, я буду счастлив разделить мое состояние с ней, иначе во мне совсем уже не останется чувств.

Семейство, обреченное на несчастье

Не следует удивляться, что эта женщина настолько превосходила своими чувствами тех особ, кто обычно занимается подобным ремеслом. Она родилась настоящей Демуазель и даже происходила из довольно древнего рода в Нормандии, но дурное поведение ее матери послужило причиной гибели их дома. Эта женщина влюбилась в одного дворянина из их соседства, и он в нее также; ее муж не мог стерпеть их темных делишек и однажды убил ухажера, когда он явился к своей жене, веря, что другого там не было. Это убийство разорило два дома, весьма зажиточных прежде; они растратили свое добро, одни, гоняясь за смертью убийцы, другие, защищаясь. Наконец убийца добился помилования и приказал запереть свою жену, никогда не желая ей прощать. [87] Он сам взялся за воспитание детей, а было их у него восемь человек, три мальчика и пять девочек. Мальчики недолго обременяли его, поскольку он отправил их на войну. Что до девочек, то он рассчитывал раскидать их по монастырям, но либо они пошли в мать и любили распущенность немного больше, чем допускает разум, либо они не могли решиться запереться на всю жизнь, только ни одна из них не пожелала туда поступить. Он, значит, был вынужден выдать их замуж за первого встречного, потому что, когда не имеют больше достояния, не только не приходится выбирать себе зятьев, но еще слишком счастливы принять их такими, какими они являются. Одна была замужем за бедным дворянином, соблюдавшим пост по полгода, и заставлявшим делать то же и свою жену, вовсе не из набожности, не по какой-то заповеди Церкви, но чаще всего потому, что ему не на что было есть. Другая стала супругой Мэтра Крючкотвора, исполнявшего ремесло адвоката и прокурора в суде, расположенном довольно близко от того места, где она родилась. Эта была не самая несчастная, поскольку люди такого сорта всегда находят средство жить за счет другого. Мужья двух других были людьми примерно того же пошиба, и если их супруги жили и не блестяще, то они выживали, по крайней мере. Наконец, та, у

кого я должен был поселиться, получила в мужья человека, кто сейчас отсутствовал, и кто, дослужившись до Лейтенанта Пехоты, сменил ремесло и занялся сдачей внаем меблированных комнат.

Я не знаю, сохранила ли его жена что-то из своего прошлого, и не забрала ли она себе в голову, увидев меня, хотя была старше меня на пять или шесть лет, что я буду слишком счастлив сделаться для нее тем же, как тот, кого ее отец убил подле ее матери. Ее муж уехал в Бургундию на процесс в Парламенте Дижона по поводу наследства, на которое он претендовал, и она вовсе не была раздосадована его отсутствием, поскольку нисколько его не любила.

Как только я обосновался у нее, и она буквально [88] вынудила меня въехать в апартаменты Росне, она не пожелала, чтобы я питался в моей комнате или где-нибудь еще, но исключительно вместе с ней. И увидев, как я колебался из страха перед теми расходами, в какие это меня введет, она мне сказала, что разводя подобные церемонии, я изменяю моей стране; не существует ни одного Гасконца, кто на моем месте не был бы слишком счастлив воспользоваться столь доброй фортуной. Я был еще так молод и так мало привычен к женщинам, что это не придало мне большей дерзости. Однако, угадывая, что все это может означать, я решился объясниться с ней, когда дело, гораздо более затруднительное, свалилось мне на руки.

Четыре солдата без их сержанта

Четверо солдат, кого Сержант, уже упомянутый мной, привел к Росне, пообещав ему убить меня за сорок пистолей, не намерены были медлить между планом и исполнением, кроме как на время, что им понадобится для отыскания удобного случая. С момента моей первой битвы три брата, Атос, Портос и Арамис, сделались моими близкими друзьями, и большинство их друзей стали также и моими. Итак, я редко выходил совсем один, и почти всегда возвращался к себе в компании. Красота моей хозяйки, может быть, способствовала этому, так же, как и дружба, какую, по словам всех этих людей, они питали ко мне. Я проживал на улице Старой Голубятни в Предместье Сен-Жермен, и так как эта улица не была удалена от резиденции Мушкетеров, и как раз этой дорогой три брата уходили в город или возвращались оттуда, четверо солдат несколько дней не могли сдержать их слова.

Между тем, другой солдат из моей Роты, кто был другом одного из четверых убийц, не имея денег нанять повитуху для девицы, с какой он находился в близком общении, обратился к

нему, дабы тот их ему одолжил. Он попросил у него четыре или пять пистолей и рассказал, в какой он оказался нужде, чтобы тот ему в них не отказал. Тот, к кому он адресовался, ответил, что он в отчаянии, но, наконец, [90] невозможно одолжить деньги, когда их не имеешь; это зависело от другого дела, он бы сказал ему запастись терпением на несколько дней, потому что тогда он бы их наверняка получил, но поскольку его дело спешное, он бы посоветовал ему, как добрый друг, обратиться к кому-нибудь другому.

Этот проситель, знавший, каким ремеслом занимался другой, и не поверивший, что, рискуя собственной жизнью, как тот делал ежедневно, он может не иметь такой маленькой суммы, обвинил его, что тот отказывает ему скорее из-за недостатка доброго отношения, чем возможности. Тот, дабы доказать ему обратное, предложил ему пойти вместе с ним, всего их было четверо, они взялись убить одного человека, и если они преуспеют, они тотчас получат сорок пистолей; он охотно разделит с ним десять из его части; эти деньги уже переданы в руки одного общего друга, и теперь их оставалось всего лишь заработать. Желание или скорее нужда заставили его согласиться составить компанию четырем убийцам. Другой назначил ему свидание в ста шагах от моего дома, где они сидели в засаде больше двух часов; наконец, я прошел в сопровождении Портоса и Арамиса, так же, как и еще двоих из их товарищей, зашедших за мной, чтобы повести меня в Комедию. Итак, увидев, что у них менее, чем никогда, удобства для нанесения удара, тот, у кого одалживали деньги, сказал просителю, указывая на меня, — без всякого сомнения, я чего-то остерегаюсь, поскольку больше не выхожу без компании.

Из четырех убийц ни один не узнал, что я тоже принадлежал к Полку. Так как они были из первого батальона, а я из второго, мы еще никогда не оказывались вместе. В деле при Аррасе один из этих батальонов был в Дорлане, тогда как другой оставался в Амьене, и с тех пор они меня видели во всякой другой одежде, но не в форме Полка. Проситель, кто, как я сказал, был из той же Роты, что и я, и кто узнал меня даже переодетым, едва лишь остановил на мне свой взгляд, как принял решение меня [91] предупредить. Он подумал, когда он окажет мне такую услугу, я не откажу ему в деньгах, что он просил у другого, и если даже у меня их нет, я скорее займу из тысячи кошельков, чем уклонюсь от этого, настолько я ему показался щедрым во время одной охраны, когда я угощал его и троих из его товарищей.

Он, разумеется, поостерегся говорить другим, о чем он думал, и так как он был довольно изобретательным для солдата, и хорошо понимал — для того, чтобы придать своему сообщению

больше значения в моих глазах, он должен разузнать всю подноготную о том, кто командовал делом, он ловко осведомился о нем у своего друга. Тот без всяких сложностей признался ему, что речь шла о Росне, кто специально явился в Париж распорядиться меня убить, потому что он боялся, как бы я не захотел отомстить за обиду, какую он мне нанес, и тотчас же, покончив с делом, он отсюда уедет.

Пистоли берут там, где они есть

Запасшись такими важными сведениями, этот солдат на следующее утро явился в мою комнату, тогда как я был еще в постели. Так как я уже находился в совсем недурных отношениях с моей хозяйкой, она сама подвела его к моему изголовью, поскольку на ее ответ, что слишком рано меня будить, он ей возразил, что, тем не менее, ему надо видеть меня в ту же минуту, дело, о каком он будет со мной говорить, имеет для меня жизненный интерес. То участие, какое она начала проявлять ко мне, сделало ее чувствительной к подобным словам; она не пожелала, чтобы он вошел ко мне без нее и намеревалась выслушать все, что он мне скажет. Солдат заметил, что дело, о котором пойдет речь, не для женских ушей; но та, упрямая, как ослица, ни за что не захотела удалиться. Напрасно я подавал ей знаки, что в глазах солдата это может нанести ей большой вред, и он может вообразить себе невесть что о ней и обо мне, она ничему не хотела внимать. Такое упорство было вызвано только страхом, как бы меня не спровоцировали на дуэль, и как бы не за этим именно важным делом явился человек, кому она сама открыла [92] дверь. Со своей стороны, я знал, что никому не давал повода меня ненавидеть, и, следовательно, не должен был опасаться никакого врага. Я скорее подумал, что он явился занять у меня несколько экю, и смущение мешало ему осмелиться разговаривать об этом при ней.

Так как я все более и более укреплялся в этом ощущении, я откровенно спросил его, не этим ли вызван его визит ко мне, и добавил, — когда я могу, я всегда с удовольствием помогаю моим друзьям и особенно ему, кого я знаю за честного малого. Я был уверен, что это одолжение обойдется мне в экю или в полпистоля самое большее, и считал это просто ничем в сравнении с той тревогой, в какой я видел мою хозяйку. Солдат, увидев, как я направляю его на такую добрую дорогу, ответил, что всегда признавал меня достаточно щедрым в поддержке моих друзей, когда они оказывались в нужде, и, по правде, это было частично именно то, что его ко мне привело. Однако он может

похвастаться, — если я соглашусь оказать ему большую услугу, то он сполна расквитается со мной, раскрыв мне одно дело, где речь шла ни больше ни меньше, как о моей жизни; он явился отдать мне в нем отчет, дабы я смог принять все предосторожности, какие принимаются в подобных случаях.

Так как я вовсе не верил в существование врага, замышлявшего что-либо против меня, я, признаюсь, поначалу принял его речь за предлог, найденный им для прикрытия просьбы, с какой он намеревался ко мне обратиться. Моя хозяйка, более чувствительная ко всему, относящемуся ко мне, вывела из этого иное суждение, чем я, и она его резко спросила, — с настолько малым разумением, какое только когда-нибудь может иметь женщина, поскольку она раскрывала таким образом, что интересуется мной гораздо больше, чем была бы должна, — не держать и дальше мою душу в неведении, такие слова могли бы навлечь на меня болезнь, и она будет признательна, если он объяснится, так что же это за тайна, о которой он говорил. [93]

Я с трудом переносил непредусмотрительность этой женщины, не ради себя, но скорее ради нее. То, что она говорила, не приносило мне никакого вреда, но, совсем напротив, только бы повысило уважение ко мне, если бы узнали, что я нахожусь у нее в таких добрых милостях. Как бы там ни было, я все еще упорствовал в своем мнении о солдате, но с первого же слова он заставил меня его потерять. Он меня спросил, не знаю ли я Росне, и когда я ответил, что слишком хорошо его знаю, поскольку мне предстоит отомстить ему за оскорбление, какое он мне нанес, он мне заметил, — если я не приму меры, тот распрекрасно мне в этом помешает; он пообещал сорок пистолей четырем солдатам, чтобы меня убить, и если я и ускользнул от этой опасности, то только потому, что несколько дней не выходил из дома, кроме как в доброй компании; он даже не знает, сколько времени они меня подстерегают утром и вечером, решившись атаковать меня в тот же день, когда я не приму столь надежных предосторожностей; он мне поможет схватить этих четырех солдат, если я пожелаю; негодяи, вроде них, не заслуживают ни малейшего снисхождения.

Затем он рассказал мне, как явился занять денег у одного из них, и обо всем, что за этим последовало, вплоть до того, как он пришел ко мне; он все-таки скрыл то участие, какое хотел принять в их преступлении, поскольку он составил им компанию, чтобы меня убить. Я сделал вид, будто поверил всему, что он мне говорил, и одолжил ему или, скорее, отдал четыре пистоля, в каких, по его словам, у него была огромная нужда. Прежде чем отдать ему деньги, я заставил его поклясться, что он

засвидетельствует, когда придет время, все, сказанное им мне; и, отпустив его из-за срочной необходимости сообщить его любовнице, что у него теперь есть чем ей помочь, я забавлялся рассуждениями с моей хозяйкой о том, как я должен поступить в столь деликатной ситуации. [94]

По ее мнению, я не должен был подвергать себя риску и выходить, из страха, как бы эти четыре солдата, убедившись в невозможности для них меня настигнуть, не позвали бы на помощь еще четырех других, но я должен послать разыскать Комиссара и подать ему жалобу; по его позволению я получу декрет и распоряжусь его затем исполнить, как при встрече с Росне, так и при столкновении с его сообщниками. Я не нашел ее мнения хорошим во всех его частях, зная, что для получения декрета требовалось два свидетеля, а у меня был только один; но я решился подать жалобу, рассудив, что она не будет мне бесполезной для оправдания всего, что может воспоследовать из этого дела. Моя хозяйка вызвалась сама сходить за Комиссаром, кто был одним из ее соседей и ее друзей. Я поймал ее на слове и сказал привести его в коротком плаще, из страха, как бы не вспугнуть дичь, если она находится в окрестности и, по всей видимости, меня подстерегает. Я одевался, ожидая, когда она вернется, и тут вошел один Мушкетер из друзей Атоса, Портоса, Арамиса и моих. Найдя меня всего взбудораженного, он спросил меня о причине, и я ему перечислил все, приключившееся со мной, и меры, какие я принимаю по этому поводу.

Преследуемые преследователи

Так как он был еще совсем молод и не обладал избытком здравого смысла, он мне ответил, чтобы я и не думал обращаться к правосудию, всегда медлительному и подчас ненадежному, у меня есть более верные пути отомстить за себя, и если я доверюсь ему, он сейчас же приведет отряд Мушкетеров; они расправятся с этими негодяями, затем отправятся к Росне и обойдутся с ним точно так же, таким образом мне не понадобится и получаса или трех четвертей часа самое большее для избавления от моих врагов. Он хотел выйти в ту же минуту. Удержав его за руку, я ответил, что не следует торопиться в деле такой большой важности; можно и раскаяться за слишком поспешные решения, и надо поразмыслить обо всем прежде, чем действовать, дабы потом не в чем было себя упрекнуть. [95]

Комиссар явился минуту спустя, и мы договорились, какие принять меры для захвата моих забавников. Вот, что он сделал со своей стороны, а я с моей.

Он вызвал офицера стражи и приказал ему разместить человек тридцать лучников в том месте, где, по словам солдата, меня подстерегали. Офицер их переодел перед тем, как туда идти, и отправил их, одних за другими. Я был предупрежден тотчас, как только они туда прибыли, и тогда я вышел совсем один, дабы заманить моих убийц, но я держался наготове, боясь быть застигнутым врасплох. Они выскочили на меня из засады, едва увидели, что могут безнаказанно меня атаковать, но в тот же момент нагрянули лучники и похватали всех четверых; те даже не успели причинить мне никакого зла. Комиссар, ожидавший только исполнения этой операции, чтобы пойти овладеть особой Росне (солдат указал мне его дом), немедленно отправился туда. К счастью для него, тот уже вышел, когда прибыл Комиссар. Этот последний допустил оплошность; он не должен был бы проникать к нему, не зная, там ли он или нет, но служанка, не видевшая, как выходил Росне, уверяла, что он еще в постели, и всего лишь момент назад она его там видела. Как всегда в подобных случаях, большое количество народа собралось перед дверью Росне, тот же не отходил особенно далеко; едва он вернулся к своему дому и заметил, сколько людей толпится у его двери, как сразу же рассудил туда не возвращаться. Он опасался, не случилось ли чего-нибудь с его «браво», и если это было так, то его, без сомнения, обвинили, хотели засадить в тюрьму, чтобы выяснить правду. Итак, он внезапно повернул на другую улицу, и, оказавшись таким образом в безопасности, больше не имел ни минуты покоя, пока не добрался до Нормандии, к одному из своих родственников, кто был дворянином этой провинции. Его родственник написал оттуда одному из своих друзей в Париже, чтобы осведомиться, не зря ли тот забил тревогу и не без причины ли напугался. Этот друг ответил ему, что тот [96] поступил мудро, когда уехал, дело это натворило много шума, заключенные, поначалу сговорившиеся все отрицать, веря, что не было никаких свидетелей, в конце концов признались, когда им предъявили одного; тотчас же был выдан приказ об аресте Росне, и его процесс, видимо, будет произведен заочно. Росне, кому требовались «браво», когда он хотел с кем-нибудь разделаться, испытал нужду в еще большей смелости, какой он, естественно, не обладал, чтобы выдержать новость, вроде этой. Он уже чувствовал, как все стражники Парижа гонятся за ним по пятам, и, не веря больше в собственную безопасность у его родственника, хотя никто не знал, какую он выбрал дорогу, перебрался в Англию, где, как он прекрасно знал, Правосудие

Франции не осмелится исполнять свои декреты.

Казнь чучела Росне

Моя хозяйка, узнав, что он обладал состоянием, сочла, что ничего не потеряет, если поведет тяжбу против него, и была достаточно безумна, чтобы, очертя голову, броситься в этот процесс. Я позволил ей действовать, так как был еще очень молод и не осознавал до конца, что значит судиться. Все эти процедуры производились под моим именем и обошлись ей по меньшей мере в две тысячи франков перед тем, как был вынесен окончательный приговор моим убийцам. Росне был приговорен к отсечению головы, а четверо гвардейцев — к Галерам. Осуждение было бы реально исполнено против этих, если бы их Капитан, по имени дю Буде, не смог бы добиться их помилования. Месье де Тревиль, оказывавший мне тысячу любезностей, как потому, что мы были соотечественники, так и потому, что я был другом Атоса, Портоса и Арамиса, кого он весьма уважал, скрытно этому воспротивился. Итак, Король, созидавший свою славу, показывая себя достойным прозвания «Справедливый», данного ему, оказался непреклонным в этом вопросе, и пожелал, чтобы эти четыре солдата были посажены на цепь. Что касается Росне, то он был казнен только в виде чучела, но моя хозяйка заставила наложить [97] арест на все его имущество и наделала ему еще, сам уж не знаю, сколько расходов, прежде чем он смог навести там порядок.

Безжалостный кредитор

Так как ей было не под силу выдержать всю эту процедуру, не занимая, ее муж нашел, что она много задолжала, когда он вернулся из Дижона. Он там выиграл свой процесс и привез оттуда доброго вина, которое привело бы его в отличное настроение, если бы на следующий день к нему не явились с требованием выплатить восемьсот ливров, занятых его женой у мало приятного кредитора по доверенности, что он ей оставил перед отъездом. Он ее спросил, как она их употребила, и эта женщина, поопасавшись все ему рассказывать, потому что с потерей его денег он, может быть, заметил бы, что потерял и кое-что другое, она привела ему такие нелепые объяснения, что они рассорились с этого дня. Преследование, какому они подверглись ради любви ко мне, привело меня в большое беспокойство, и не зная, как поступить, чтобы помешать распродаже их обстановки, какую должны были осуществить через неделю после наложения ареста, я решился отыскать кредитора и вымолить у него пощаду.

Он показал себя неумолимым до такой степени, что придя в еще большую досаду, чем прежде, я принялся ему угрожать, если у него хватит дерзости привести в исполнение свой приговор. Он мне ответил, что мои слова только усилили его решение, и он не предоставит ни минуты отсрочки своим должникам; он мне посоветовал, однако, побыстрее выйти из его дома, потому что, если он пошлет за Комиссаром, он мне покажет, что мы живем при таком правлении, когда не позволено являться грозить человеку, одолжившему свои собственные деньги с самыми добрыми намерениями.

Мое вмешательство было юношеским порывом, поскольку я не задумался, что оно гораздо более способно навредить моему хозяину и моей хозяйке, чем послужить им. Наконец, срок готов был иссякнуть, и я предложил этой последней пятнадцать [98] луидоров, еще остававшихся у меня от пятидесяти, данных мне Королем; она проявила великодушие, не захотев их принять; но я продолжал настаивать, говорил, если она сможет найти еще восемь или десять других луидоров и отнесет их своему кредитору, тот, может быть, отложит свои домогательства, и в конце концов она меня послушалась. Присоединив к моим пятнадцать других луидоров, а это составляло почти половину одолженной суммы, она отправилась к нему, думая, что он не будет уже таким гнусным турком, чтобы отказать в ее просьбе. Но мой поступок настолько озлобил его разум, что он приказал ей удалиться, иначе он заставит ее пересчитать ступени его дома, поскольку она посылала к нему бретера, и тот угрожал ему прямо в его комнате; он бы хотел, чтобы она запомнила это на всю жизнь, и сейчас же, как только истечет срок, он распорядится распродать всю ее мебель.

Герцог де Сен-Симон играет в кости по-крупному

Бедная женщина возвратилась от него домой в совершенном отчаянии и хотела отдать мне мои деньги, поскольку они ничему больше не могли послужить. Я упорно отказывался, но она меня вынудила положить эти пятнадцать луидоров обратно в мой кошелек, что я и сделал, не менее удрученный, чем могла быть она. У нас был четверг, а распродажа обстановки должна была состояться в субботу — итак, желая, так сказать, сделать невозможное, дабы остановить надвигавшееся на нее бедствие, я явился в прихожую Короля, где я видел несколько раз, как играли в кости на большие деньги. Я никогда до конца не разбирался в игре, поскольку далеко не был игроком; напротив, я решил удерживаться от этого всю мою жизнь. Все, чему я научился, так

это делать ставку и узнавать, когда выиграл или когда проиграл. И вот, не имея другого выбора, как только рискнуть и сыграть на мои пятнадцать луидоров, я приблизился к столу, где ставили довольно крупно, чтобы занять там место сразу же, как кто-нибудь от него отойдет. Я ждал более полутора часов, прежде чем получить его, так как там было больше [99] людей, чем могло бы присутствовать при поучении самого искусного проповедника Парижа. Однако я дрожал при мысли потерять мои деньги и тем еще больше усугубить мою печаль. Наконец, с трудом втиснувшись на место, я оглядел расположение перед тем, как произнести слово, от которого должно было зависеть все мое счастье. Я увидел, что здесь играли в устрашающую игру, наименьшие ставки были по двенадцать или пятнадцать пистолей; более того, затем они удваивались, и все рисковали всем, что лежало перед ними, как если бы речь шла о простой булавке. От этого меня затрясло еще больше, чем прежде, поскольку я сказал себе — одного захода, вроде этих, вполне хватит, чтобы вытащить нас из беды, мою хозяйку и меня, или же отправить нас обоих в лечебницу.

Понаблюдав за игрой около четверти часа, я рискнул сделать ставку в пять луидоров. Месье Герцог де Сен-Симон держал кости и посмотрел на эту ставку, как на недостойную его гнева; итак, он не ответил мне ничем, пока держал рожок; после него кости перешли к Шевалье де Моншеврею, дворянину из Французского Вексена, из окружения Месье де Лонгвиля. Он не стал презирать меня, как сделал Герцог де Сен-Симон, то ли он хотел вовлечь меня в Братство игроков, где он играл большую роль, то ли, не имея больше денег, что было правдой, он нашел мою ставку более соответствующей своим средствам, чем множество других, предлагавшихся вокруг стола. Я выиграл девяносто шесть луидоров, это было на несколько пистолей больше, чем я жаждал получить; таким образом, вернувшись домой, более довольный, чем мог бы быть сам Король, я нашел по прибытии, что там произошли вещи, весьма способные частично поубавить мое удовлетворение.

Обманутый муж одурачен

Хозяин, видя, как истекают последние двадцать четыре часа, когда он еще мог помешать распродаже его мебели, отправился на поиски кредитора, ничего не сказав жене и не зная, что я побывал там до него. Кредитор, кто был не только грубым, но еще [100] и злобным человеком, не удовольствовался, обругав его, но добавил в придачу, что в другой раз ему следовало бы лучше

следить за своей женой, потому что она, по всей видимости, проела вместе со мной одолженные деньги. Это замечание привело мужа в скверное настроение, и, возвратившись домой, он устроил ей настоящую трепку. Я так и нашел ее всю в слезах и, забыв сообщить ей добрую новость, додумался лишь спросить, что с ней. Она сказала мне без всяких церемоний, а я поведал ей, что произошло со мной. Она вновь окрепла от моих слов и сказала мне, — раз уж так обстоят дела, мне нужно купить с торгов их мебель, поскольку она желает, чтобы ее муж никогда больше в глаза ее не увидел; вот почему я дурно поступлю, если помешаю распродаже. Я прекрасно увидел, что она хотела его покинуть, и полученные удары весьма ее беспокоили. Я не стал скрывать, что не могу одобрить ее развод; у нее не нашлось для меня другого ответа, кроме того, что она не привыкла быть битой, и требовалось остановить это с самого начала, иначе ее муж будет злоупотреблять этим еще больше в будущем; он хочет помешать нам видеться, чего она никогда не потерпит, по меньшей мере, по своей доброй воле.

Я достаточно любил ее и имел для этого добрые основания; кроме ее красоты, она всегда была так добра со мной с первого до последнего дня, я должен бы быть совсем неблагодарным, чтобы этого не признавать; потому я наговорил ей столько нежностей, сколько могли мне подсказать признательность и дружба. Я заверял ее — этот новый знак привязанности меня глубоко тронул, я старался внушить ей доверие к моим словам, я растолковывал, что она не может покинуть своего мужа, не подав повода к сплетням, что я ее люблю настолько, что ее репутация мне не менее дорога, чем моя, что… Она меня прервала и сказала — язык весьма удобный инструмент и можно его заставить сказать все, что пожелаешь, когда мужчина любит женщину, он достаточно деликатен для того, чтобы не делиться ее [102] милостями с мужем; она бы не полюбила мужчину, у кого была бы жена, по меньшей мере, если бы он не покинул ее ради любви к ней.

Я позволил говорить ей и дальше, а сам старался утешить ее моими ласками, дабы привести ее в то состояние, какого бы мне хотелось. Наконец, вопреки моему отвращению жить под одной крышей с ним, мы вместе согласились на том, что завтра, во время обеда, я скажу, сделав вид, будто не замечаю их размолвки, что я нашел человека, кто одолжит им денег для расплаты с их кредитором, и он даст им три месяца на то, чтобы их вернуть, и он попросит от них письменное обязательство. Она намеревалась держать его этим в тесной зависимости, чтобы страх попасть под преследование из-за выплаты этой суммы обязывал его

относиться с большим почтением ко мне.

На следующий день я все сделал так, как мы договорились, и так как ее муж не мог смириться с идеей увидеть распродажу собственной мебели, он поймал меня на слове. Я упросил Атоса соблаговолить одолжить мне его имя для этого дела, мне передали расписку, и мы прожили всю зиму в довольно добром согласии, муж, жена и я.

Муж одурачен и доволен. Когда три месяца подходили к завершению, муж умолял меня попросить новой отсрочки у моего друга, потому что он не был еще в состоянии расплатиться. Его жена требовала от меня сказать ему, что Атос нуждается в своих деньгах, дабы нагнать на него страху и прижать его еще теснее; но я счел, что не следовало так подступать к нему с ножом к горлу, он и так уже достаточно потрепан. Вскоре должна была начаться кампания, она давала прекрасный предлог для того, что хотела от меня его жена. Однако я призвал ее прислушаться к голосу разума, и мы сделались лучшими друзьями на свете, муж и я, поскольку я сказал ему, что по моей просьбе Атос охотно подождет до нашего возвращения из армии.

ЧАСТЬ 3
Секретная война

Несчастья Месье де Сен-Прея

Политика Кардинала

Испанцы, у кого был взят Аррас под носом их Генерала, и потерявшие в той же Провинции еще несколько городов большого значения, боялись, как бы те, что у них остались, не замедлили бы подвергнуться той же участи; а так как они рассудили, что завоевание Королем Эра не поведет ни к чему иному, как к его приближению к приморской Фландрии, они старались не только передать свое беспокойство Англичанам и Голландцам, но еще и привести себя в такое состояние, чтобы все отобрать назад. Им нетрудно было преуспеть в мнении Англичан, потому что эта Нация во все времена была настроена против нашей, и, кажется, ее неприязнь еще увеличилась с некоторого времени; но Кардинал де Ришелье, никогда не [104] ждавший, пока что-то совершится, чтобы потом туда вмешиваться, настолько хорошо принял собственные меры, что эта Нация не могла вмешиваться в дела других, потому что была достаточно обременена распутыванием своих. Она сделалась нетерпимой к секретному покровительству, оказываемому ее Королем Католикам его Королевства, и к тесной связи, существовавшей тогда между этим Принцем и Людовиком Справедливым, на сестре которого он женился. Эта Принцесса была красива, обладала совершенно очаровательным характером и привлекала множество людей ко Двору Короля, ее мужа, вопреки нравам Англичан, обычно уверенных в том, что есть нечто от рабства и низости в ухаживаниях, проявляемых к их государю; это обращало все дела еще более подозрительными в глазах тех, кто хранил в сердце ту независимость и ту свободу, к каким их Нация расположена превыше всех других Наций в мире.

Препятствие, поставленное Кардиналом де Ришелье с этой стороны против намерений Испанцев, состояло в том, что он разжигал огонь, вместо того, чтобы его гасить. Политика, обычное основание всех действий Министров, требовала этого от него в ущерб благотворительности. Ведь благотворительность — добродетель, не только неизвестная больше при всех Дворах, среди Куртизанов и Политиков, но и частенько называемая многими химерой, хотя никто ее не порицает, напротив, каждый пользуется любым случаем для превознесения ее до седьмого Неба. Испанцы, быстро разобравшиеся в том, что они тяжело ошибутся, если понадеются на какую-то помощь с этой стороны, и

признав то же самое со стороны Голландии, где интересы Фредерика Анри Принца д'Оранж, Стадхаудера и Генерального Адмирала этого Государства, вступали в противоречие их удовлетворению, возложили отныне полное доверие лишь на их собственные силы, поддержанные их же ловкостью. [105]

Борьба против Высшей Знати

Власть, так сказать, абсолютная, какую Кардинал де Ришелье приобрел при дворе, во всякое время порождала большое число завистников, особенно среди Высшей Знати, потому что, возвышаясь над ними, он умело втягивал Короля и Государство в свои дрязги. Этот Принц, кто был так же добр, как мало прозорлив, с удовольствием видел, как под предлогом установления Верховного могущества в его Королевстве мало-помалу губил всех способных воспротивиться ему их влиянием и их благоразумием. Я говорю благоразумием, потому что, каким бы ни казалось парадоксом желать быть благоразумным и в то же время противиться воле своего Принца, тем не менее, когда высшая воля только и делает, что опрокидывает законы Государства, часто случается, что большую услугу оказывают своему Государю, противясь ему со всем должным к нему почтением, чем соглашаясь с ним из духа трусости и раболепия. Вот так Парламент Парижа часто делал предостережения Его Величеству в деликатных обстоятельствах; иногда какие-то из них были с успехом выслушаны, тогда как другие были отвергнуты, потому что случалось, как почти всегда, — те, кто их делал, вместо привнесения в них надлежащего почтения, позволяли себе увлечься или своей страстью, или же своими интересами.

Испанцы, не столько полагаясь на их собственные силы, сколько пытаясь еще растравить зависть, царившую в нашем Государстве, отправили тогда ко Двору доверенного человека по имени… (Мы не пытались отыскать имена, вместо которых Мессир д'Артаньян счел своим долгом оставить пробелы в его манускриптах. Так как понимание текста от этого нисколько не страдает, а розыски, может быть, оказались бы тщетными в определенных случаях, мы предпочли повсюду уважать сдержанность (или изъяны памяти) Капитана Мушкетеров) под предлогом сделать там несколько предложений по примирению. Кардинал де Ришелье, правивший почти с такой же абсолютной властью, как сам Король, охотно отказал бы ему в паспорте, необходимом, чтобы туда попасть, если бы не боялся, что народ за это на него озлобится. Он знал, что народ очень быстро утомляется от войны, потому что именно в такие времена он

наиболее отягчен податями; и он не упустит случая сказать, — если тот желает ее продолжать, значит, он скорее служит своим личным [106] интересам, а не интересам Нации в целом. Однако они не сказали бы правды, когда бы говорили таким образом; поскольку, если уж говорить всю правду, то давно уже дела Франции не находились в таком добром состоянии, в каком они были тогда. Ее армии со стороны Германии действовали великолепно вплоть до самого Рейна; они взяли Бризак и захватили весь Эльзас. В Италии — Пиньероль, и во Фландрии — Аррас. Его домогательства не произвели ни малейшего эффекта в Португалии и Каталонии, если все-таки мы не должны скорее сказать, что произошедшее там имело еще более важные последствия, чем все случившееся в других местах. Это Королевство и эта Провинция восстали против Испанцев; одно отошло под господство Герцогов де Браганс, заявивших на него права законных наследников, другая — под покровительство Франции, введшей туда гарнизоны.

Герцог де Буйон замышляет заговор

Кардинал, взбунтовав эти Государства против их прежних Мэтров, указал им дорогу, по какой они должны были следовать, если они уже не догадались об этом сами; и тот, о ком я недавно упомянул, едва прибыв ко Двору, секретно встретился там с Герцогом де Буйоном. Этот Принц всегда имел секретные связи с Испанией, хотя был рожден Французом и имел еще и обязательства перед Королевством, возложившим на его голову корону, какую он носил. Он ее унаследовал от своего отца, а тот сам получил ее от Генриха IV, женившего его на наследнице де ла Марк, кому принадлежали Герцогство Буйон и княжество Седан. Король сделал для него еще и много больше. Его Величество поддерживал его своим покровительством в обладании этим Княжеством, в ущерб Месье де ла Буле, к кому оно должно было законно перейти, поскольку он женился на сестре этой Принцессы, умершей, не оставив своему супругу детей. Но так как непременно, становясь Государем, меняют и свое поведение, все его огромные обязательства исчезли при виде той зависти, какую возбуждало к нему положение его Страны. Он [107] нисколько не сомневался, что она представляет собой удобство для Франции, поскольку является ключом к этому Королевству; придет время, и от него потребуют возврата того, что ему не принадлежало, и, выражаясь ясно, он должен рассматривать себя всего лишь, как человека, кому доверено наместничество, и вскоре его принудят, помимо его воли, отдать в нем отчет.

Вот какова была причина секретных сношений Месье де Буйона с Испанцами. Он надеялся, что при их посредстве он сможет удержаться в своей новой Стране, а при необходимости получить гарнизоны для его замков Буйон и Седан. Первый считался неприступным в те времена, когда не знали еще, как следует осаждать крепость, и когда войну вели совсем иначе, чем сегодня. Второй был очень надежен или, по меньшей мере, славился такой известностью, хотя, по правде сказать, был менее крепок, чем о нем заявляли. Король, конечно же, подозревал, что Месье де Буйон не был ему слишком верен; но так как дела окружали его со всех сторон, он был убежден, что должен притворяться и не придавать этому значения, тем более, он думал, что Герцог делал все это из осторожности. В самом деле, все прошлые договоры до настоящего времени заключались лишь тогда, когда его собирались атаковать, и так как Король не имел никакого резона делать это в данный момент, он уверился, что должен продолжать по-прежнему до тех пор, пока обстоятельства не позволят ему разразиться неудовольствием к его поведению.

Тем же занят Граф де Суассон

Испанец, являвшийся в Париж и весьма точно осведомившийся об интересах этого Герцога, что было вовсе нетрудно, поскольку они бросались в глаза всему свету, получил приказ Короля, своего мэтра, возвратиться к нему, и был там очень хорошо принят. Во время его пребывания при нашем Дворе он узнал, что Луи де Бурбон, Граф де Суассон, был недоволен Кардиналом; это ему позволило донести его Королю, что его положение Принца Крови было достаточным для привлечения множества знатных [108] особ в его партию, и можно, завоевав доверие этого Принца, отплатить Франции тем же, чем она одолжила Испанию, подбив к восстанию ее Провинции; у Кардинала де Ришелье много врагов, и стоит им только увидеть вторжение иностранной армии в Королевство, как они воспользуются этим временем и взбунтуются против него; этот Министр предпринимал столько дел, что не потребуется почти ничего, чтобы его свалить; он отправил войска в Португалию и Каталонию, границы Королевства настолько оголены, что теперь будет легко туда прорваться, дело за малым — правильно принять меры предосторожности.

Давно уже Герцог де Буйон до смерти хотел устроить себе заграждение со стороны Шампани, вынудив Двор волей-неволей отдать ему Данвильер. Он даже осмелился однажды заявить о своей амбиции Кардиналу де Ришелье, кто, еще более политик,

чем об этом возможно было бы сказать, оставил ему какую-то надежду, дабы увлечь его на какой-нибудь неверный шаг, что привел бы его к потере собственного достояния, вместо приобретения чужого. Испанец, знавший о его желании, говорил с ним о нем, как о совершенно простой вещи, и сказал ему, что Франция будет слишком счастлива ему уступить, лишь бы умерить войну, какую он разожжет с этой стороны. Он поддался на его льстивые посулы, и, секретно свидевшись с Графом де Суассоном, без труда завоевал его симпатии. Этот Принц озлобился на Кардинала из-за того, что тот, после проигранного по его воле процесса, какой он затеял против Анри де Бурбона, Принца де Конде, дабы объявить его незаконнорожденным, еще и выдал замуж свою племянницу за Герцога д'Ангиена, его старшего сына. Он видел по всему, что пока этот Министр будет жить, он не должен ожидать большого успеха от гражданского иска, поданного им против вынесенного приговора. Он имел еще и другие причины к недовольству. Кардинал уменьшал, как только мог, исключительные права его ранга Главного [109] Мэтра Дома Короля, и к тому же добивался отказа на многочисленные милости, какие он испрашивал у Его Величества. Причина, по которой этот Министр так ему противодействовал во всех делах, была та, что он был более горд, чем Принц де Конде. Он отказался от супружества, предложенного ему через Сенетера, и тот, бывший его военным Интендантом, оказался в незавидном положении. Граф, разозленный тем, что один из его Слуг взялся за такое поручение, потому что добродетель предложенной ему Дамы была немного подозрительна, не только отругал его на словах, но еще и выгнал из своего дома.

Секретные миссии

Этот Принц, с тех самых пор питавший все большую и большую неприязнь к Кардиналу, охотно выслушал все, что Месье де Буйон хотел ему предложить против Государства. Он счел, что чем хуже пойдут дела во Франции, тем больше Король будет терять к ним охоту. Он знал, что уже не особенно любим Королем, и таким образом любая мелочь могла бы его погубить. Все их планы, как бы они ни были вредны для судьбы Министра, ни на что бы им не пригодились без поддержки испанских сил, потому Месье де Буйон отправил в Брюссель дворянина по имени Кампаньак, кто был старым Слугой его дома. Он рассчитывал, что его путешественник не мог быть подозрительным для Двора, потому что племянник этого дворянина был захвачен в плен испанцами возле Куртре и препровожден ими в столицу Брабанта.

В той схватке он был ранен; такой предлог казался правдоподобным, его человек оказался и состоянии проникнуть в эту страну, не возбудив ничьих возражений. Он был хорошо принят Испанцами, и Кардинал Инфант охотно вернул бы ему племянника тотчас же, если бы не боялся, что это породит кое-какие подозрения. Этот Принц был обрадован, что Граф де Суассон, по наущению Герцога де Буйона, был в настроении пожелать взбудоражить Государство. Он пообещал дворянину распорядиться выдать этому Принцу пятьдесят тысяч экю [110] пенсиона от Короля Испании, как только он удалится от нашего Двора, и сто тысяч франков Герцогу де Буйону с армией в двенадцать тысяч человек, помещенной под его командование, причем Испания не будет претендовать ни на одно из завоеваний, что он сможет сделать вместе с ней. Заключив письменный договор с Кардиналом Инфантом, Кампаньак возвратился в Париж без племянника, оставшегося в убеждении, что он предпринял этот вояж исключительно ради любви к нему. Он отдал отчет о своих переговорах двум Принцам, и те были им весьма удовлетворены; Герцог де Буйон по истечении нескольких дней отбыл в Седан, под предлогом, что Герцогиня, его жена, занемогла. Как ни в чем не бывало, он отдал приказ Офицерам гарнизона пополнить пока еще не укомплектованные Роты до конца марта месяца, впрочем, уже очень близкого. Он отдал такую команду под страхом своего гнева, и они позаботились ее выполнить. В то же время он забил свои магазины всякими военными и съестными припасами, в каких он мог испытывать нужду, а дабы Кардинал де Ришелье не заподозрил его в намерении восстать против Короля, он не только заставил его поверить в то, что Император отправляет армию к Люксембургу для проведения какого-то предприятия на Мезе в сговоре с Испанцами, но еще и в то, что он получил сведения об их угрозе самому Люксембургу.

Неверная оценка Месье де Тюренна

Марш этой армии не был фикцией, как можно было бы себе вообразить из того, что я сказал, но вопреки тому, что утверждал Герцог, армия эта двигалась не против него, но ради него. Он сделал гораздо больше, он надул Кардинала свадьбой Виконта де Тюренна, его брата, и одной из его родственниц, и Виконт разыгрывал влюбленного, поскольку он еще больше, чем его брат, горел желанием вернуться в Седан. Этот последний, если и мог сойти в своих старых летах за человека скромного и лишенного всяких амбиций, то это могло быть лишь в сознании людей, не

знавших его до конца. Действительно, [111] никогда человек не был более упрям в тщеславии, и все, кто его посещал, знают, — достаточно было пропустить его титул «Высочество», чтобы навлечь на себя его ненависть; зато, когда его им награждали, он был доволен, как сам Король. Впрочем, этот Виконт настолько хорошо содействовал своему брату, что Граф де Суассон в один прекрасный день уехал из Парижа якобы навестить свой дом в Бланди; но прежде, чем прибыть в Мелен, он принял влево и перешел Марну по указанному ему броду по эту сторону от Шато-Тьери; тогда-то он и явился в Седан на сменных лошадях, высланных ему навстречу Месье де Буйоном.

Как только Кардинал узнал о его маршруте, он признал, что был одурачен. Он немедленно послал курьеров его нагнать и предложить ему от имени Короля вернуться, обещая всевозможные выгодные милости. Этот Принц, думая, что не может полагаться на какие бы то ни было прекрасные предложения, пока Министр будет оставаться на своем посту, так и не дал себя убедить, несмотря на беспрестанные появления курьеров. Та армия, какую Император должен был отправить на Люксембург, явилась сюда же под командой Ламбуа; Граф де Суассон послал ему навстречу дворянина, чтобы узнать у него, когда он сможет прибыть на Мезу. Этот марш встревожил Двор, испугавшийся, как бы пример Графа де Суассона не вызвал неповиновения большинства Знати, имевшей не больше причин, чем он, любить Кардинала де Ришелье. Двор особенно опасался Герцога д'Орлеан, чьи склонности были крайне изменчивы и кто в одиночку натворил больше зла Государству различными бунтами, возбужденными им, чем все враги, вместе взятые, не смогли бы сделать за несколько лет. Итак, для предупреждения дурных намерений, какие он мог бы иметь, расставили Гвардейцев по всем дорогам, чтобы остановить его, если он там появится. Несмотря на все предосторожности, некоторое количество других недовольных явилось к Графу де Суассону, дабы, [112] поучаствовав вместе с ним в риске, на какой он пошел, они могли бы так же разделить его успех в случае, если он восторжествует.

Портрет трех Маршалов Франции

Это препятствие стало причиной того, что армия Короля, предназначавшаяся для Фландрии под предводительством Маршала де Брезе, не была столь сильна, как предполагалось. Надо было забрать из нее часть, чтобы отправить в эту сторону под командованием маршала де Шатийона, тогда как Маршал де ла Мейере будет иметь летучий лагерь, дабы покрывать те места,

где враги захотели бы что-нибудь предпринять. Характеры этих трех Маршалов были совершенно различны. Первый был обязан своим положением лишь тому, что женился на одной из сестер Кардинала де Ришелье; он имел от нее двух детей, Герцога де Брезе и Мадам Герцогиню д'Ангиен. Никогда человек не был более горд без заслуг. Он даже довел гордыню до наглости и тирании, делая в своих Наместничествах Анжу и Сомюруа все, что самые жуткие и самые ненавистные тираны когда-либо могли делать самого жестокого. В самом деле, неудовлетворенный тем, что издевался над Дворянством до такой степени, что в конце концов оно было вынуждено возмутиться против него, он еще и украл жену у мужа и приказал того убить, чтобы пользоваться ею по своему усмотрению. Но он — родственник Его Преосвященства, и этого ему было вполне достаточно, чтобы все делать безнаказанно.

Маршал де Шатийон был настолько же любезен, насколько другой был невыносим. К тому же он унаследовал все достоинства своих предков, о ком наша История упоминает с почетом. У него было много опыта и выдержки, но все эти добрые качества блекли перед его любовью к отдыху и спокойной жизни. Итак, когда он славно устраивался в каком-нибудь лагере, ему требовалось приложить все усилия на свете, чтобы его покинуть, настолько он боялся, что ему не будет так же хорошо в другом. Кардинал хорошо его знал, что заставляет [113] удивляться, почему он отдал ему это командование, где он должен был иметь дело с Принцем, столь же живым и неусыпным, сколь сам он был тяжеловесен и сонлив.

Что же касается до Маршала де ла Мейере, то хотя он и был, равно как и Маршал де Брезе, обязан своим возвышением Кардиналу (его жена была кузиной Его Преосвященства), он имел и много личных достоинств. Он был брав и разбирался в своем ремесле, а это позволяет предполагать, что даже не будь он таким близким родственником Министра, он мог бы надеяться сам проложить себе дорогу. Однако у него было то общее с Маршалом де Брезе, что он зачастую, как и тот, злоупотреблял своим положением, а вместо достоинства, столь славно идущего любому, и главное, тому, кто видит, как он возвышается над другими, или по происхождению, или по заслугам, или, благодаря состоянию, он отличался лишь высокомерием и, так сказать, презрением к тем, кто, как и он, возносился к почестям или был близок к тому, чтобы к ним вознестись. Он боялся, как бы от этого не потускнела его слава; потому в поисках фальши он терял истинное и наживал себе бесчисленное множество врагов, вместо друзей, кого он мог бы себе приобрести. Он рассорился с

Сен-Прейем исключительно из ревности и устроил против него несколько резких выходок, Сен-Прей не стерпел их, ничего не сказав, как это слишком часто случается в подобных случаях, когда те, кто вас оскорбили, столь близки к Министру. Он ответил на них, как отважный человек, не боящийся ничего, разве что позволить замарать свою славу какой-нибудь трусостью.

Этот Маршал еще хуже обошелся с Месье де Фабером, кому, наконец, Король дал Роту у Гвардейцев после того, как отказал ему в согласии на Роту в старом Корпусе. Он решил вести себя с ним, как ему заблагорассудится, потому что этот Офицер был очень скромного происхождения, и он не верил, что когда-нибудь жезл Маршала Франции придет ему [114] на помощь, чтобы очистить его дурную кровь. Месье де Фабер постоянно восставал против него и находил покровительство у Кардинала, кто первый осуждал поведение своего родственника. Правда, Фабер всегда проявлял сноровку очень почтительно разговаривать с Маршалом, дабы, когда он явится жаловаться на него Его Преосвященству, тот был бы более расположен его слушать.

Сен-Прей не робеет перед сильными

Было бы желательно для Сен-Прея, чтобы ой вел себя так же мудро не только с этим Маршалом, но еще и с Герцогом де Брезе, с кем он имел совсем недавно нечто вроде ссоры. Явившись ко Двору по приказу Короля для обсуждения с ним пограничных дел и возможностей что бы то ни было там предпринять во время предстоящей Кампании, он прожил около двух недель в Париже, прежде чем Совет Его Величества принял решение по этим вопросам. Месье Денуайе, Военный Секретарь Государства, не любивший его, потому что тот никак не мог решиться подольститься к нему, хотел, чтобы осадили Дуэ, в пяти лье за Аррасом, дабы этот город не был больше пограничным, когда другой будет взят; Сен-Прей увидел, как его лишают славы Наместника, самого близкого к врагам. Сен-Прей, напротив, хотел, чтобы до того, как идти вперед, расчистили все, остававшееся сзади него. Например, Бапом, отрезавший ему сообщение с Городами Соммы и расположенный всего в четырех лье от его Наместничества. Кроме того, имелся Камбре, хотя и более удаленный, но гораздо более необходимый для взятия, чем город вроде Дуэ, да его и никогда нельзя было сохранить без мощного гарнизона. На все это Денуайе отвечал, что там устроят Плацдарм, и часть Кавалерии, проведя в нем зиму, рассеет страх и ужас вплоть до самого сердца Валлонской Фландрии, которую в то же время можно будет покорить.

Маршал де ла Мейере держался того же мнения, что и Месье Денуайе, скорее ради удовольствия противоречить Сен-Прею, чем действительно веря, что Секретарь был прав. Наконец, Совет с трудом [115] определился, потому что сила рассуждения Сен-Прея одолела в сознании Его Величества все, что могли сделать домогательства других. Наместник провел эти две недели в погоне за развлечениями, когда он не был обязан идти в Лувр. Дела, приведшие его в Париж, были, наконец, завершены к его удовлетворению, если не считать размолвки с Маршалом де Брезе, я о ней уже упоминал, и он возвратился в свое Наместничество, где вновь начал неотступно преследовать врагов, немного передохнувших за время его отсутствия.

Однако Кампания началась, Полк Гвардейцев получил приказ маршировать во Фландрию, и я несказанно обрадовал моего хозяина, отправляясь туда. В самом деле, хотя он и состроил мне добродушную мину, он догадывался, что я был в совсем недурных отношениях с его женой, но так как он был должен деньги Атосу, одному из моих друзей, то считал себя обязанным ублажать меня до дня моего отъезда. Когда я отбыл, он не обращался больше со своей женой, как это делал прежде. Он упрекал ее во множестве якобы подмеченных им вещей, и она все это мне сообщала в таких выражениях, какие заставили меня поверить, что она гораздо большая страдалица, чем когда-либо действительно была. Единственное, чем я мог ей помочь, это о ней сожалеть. Я ей отвечал по адресу, указанному мне ею же самой, и то участие, какое я принимал в ее делах, позволило ей перенести ее несчастье с большим терпением.

«Моя домохозяйка» становится «моей хозяйкой кабаре»

Ее муж, желавший непременно отделаться от меня и не желавший, чтобы я снова свиделся с ней, когда возвращусь, додумался тогда сменить не только дом, но еще и ремесло. Вместо сдачи внаем меблированных комнат он сделался виноторговцем и подыскал себе крупное кабаре. Во время его вояжа в Дижон он свел знакомство с людьми, расхвалившими ему эту коммерцию, и он заявлял, когда даже это ремесло не удастся ему лучше, чем то, что у него было прежде, он, во всяком случае, извлечет из него ту выгоду, что [116] избавится от человека, крайне для него подозрительного.

Кабаре, что он открыл, располагалось на улице Монмартр. Он продал почти всю мебель и сохранил только самое необходимое для его нового ремесла. Его ревность была слишком сильна, и

жена не осмелилась спросить, куда он меня поместит, когда я вернусь, и она дала мне знать, что пришла в полное отчаяние. На деньги, вырученные за мебель, он накупил множество товаров, надеясь, что прежде, чем Кампания будет завершена, он заработает намного больше денег, чем ему потребуется вернуть Атосу. Я был весьма удручен этой новостью, потому что находил его жену чрезвычайно любезной и, кроме всего прочего, она устраивала мне очень достойное существование, мне даже не приходилось затруднять себя совать руку в кошелек.

Наконец, так как нет такой вещи, от какой нельзя было бы отвлечься, я не думал более ни о чем, как только отыскать случай о себе заявить, дабы я мог шаг за шагом продвигаться к тем почестям, каких ты вправе ожидать, когда стараешься, как делал это я, выполнять свой долг. Во время этой кампании мы оказались далеко не самыми сильными. То, что часть войск была вынужденно откомандирована Маршалу де Шатийону, обязывало нас оставаться в обороне во Фландрии, где Кардинал Инфант имел внушительную армию. Он стремился отбить Эр, пока Маршал де Шатийон разбил лагерь в… для наблюдения оттуда за всеми движениями, что сделает Граф де Суассон. Происходящее в той стороне гораздо больше волновало Кардинала, чем что бы то ни было во Фландрии или других местах. Он не должен был стать менее могущественным, когда бы даже враги забрали обратно Эр и совершили бы другие завоевания в этой стороне, но он не знал, останется ли он еще при Министерстве в случае, если Граф де Суассон одержит верх над Маршалом. Он просил Маршала де Брезе отправить ему еще три батальона из лучших его войск, чтобы отослать их [117] Маршалу де Шатийону. Наш полк вызвался идти добровольно, рассудив, что невозможно было более поддерживать Эр, поскольку наша армия, уже очень слабая, совсем бы поредела от такого откомандирования. Месье де Брезе не пожелал нам его предоставить; он находил, что пока имеет этот полк при себе, это дополнительная честь, делавшая его главенствующим над другими Маршалами.

Между тем, наша армия была составлена не более, чем из двенадцати тысяч человек. Впрочем, это не помешало нам взять Ланс, тогда как Маршал де Шатийон позволил себя побить из-за того, что не пожелал вовремя занять выгодные позиции, откуда мог бы помешать Графу де Суассону рассредоточить свои войска на равнине. Вопреки советам Офицеров Генералитета, он не захотел никого слушать; либо ему не нравилось делать то, что исходило не от него, либо лень удерживала его в прекрасном доме, где он поселился. Кардинал, извещенный о допущенной им ошибке, поклялся тотчас за нее отомстить, лишь бы только Граф

де Суассон дал ему время передохнуть — он боялся, как бы тот не воспользовался своей победой, и как бы все города Шампани не были вскоре ему открыты.

Смерть Суассона и капитуляция Буйона

Однако, тогда как он замышлял жуткие вещи против Маршала, к нему явился курьер и отрапортовал ему новость о смерти Графа де Суассона, причем никто не мог сказать по правде, каким образом она его настигла. Итак, еще и сегодня задаются вопросом, убил ли он себя сам, как было угодно утверждать некоторым, или же он был убит человеком, подкупленным его врагами. Те, кто верят в убийство, твердят, что один из его Гвардейцев, побежав вслед за ним со словами, что они укрепились еще в одном месте, внезапно выстрелил из мушкетона ему в голову, когда тот обернулся посмотреть, кто отдает ему этот отчет. Другие, напротив, говорят, что он хотел поднять забрало своей каски дулом пистолета, он еще сжимал его в руке, пистолет выстрелил сам по себе и уложил его на месте. Однако [118] я встречал людей, говоривших мне, что пистолеты были еще заряжены, когда его нашли мертвым. Это-то и делает особенно трудным выяснить, кому следует верить, одним или другим.

Маршал де Шатийон, достаточно осуждавший себя, чтобы самому же себя и приговорить, притворился больным или действительно впал в болезнь от горя. Это явилось причиной того, что Маршал де Брезе получил приказ занять его место, и вот тут этот Генерал повел нас в ту сторону вместе с ним. Он поручил остаток своей армии Маршалу де ла Мейере, осаждавшему Бапом, тогда как мы захватили Данвильер, который Герцог де Буйон не преминул осадить после смерти Графа де Суассона. Король явился к нам как раз тогда, когда мы стояли перед этой Крепостью, и Герцог, прибегнув к милосердию Его Величества, дабы испросить прощения за совершенную ошибку, получил от него помилование. Ему трудновато было бы преуспеть в этом в другой момент, но смерть Графа де Суассона привела Кардинала в столь прекрасное настроение, что он посоветовал Королю продемонстрировать в этом случае, что его доброта была еще превыше его справедливости. Правда, Месье Принц много помог Его Преосвященству вступиться за него, и так как он был родственником Герцога и его добрым другом, он не поостерегся забыть об этом при такой важной встрече.

Распутья судьбы

Месье де Буйон добился для себя мира; Сен-Прей не был столь счастлив, хотя и был гораздо менее виновен, чем тот. Ему достаточно было восстановить родственников Кардинала против себя, чтобы бояться всего на свете. Однако, будто забыв, в какую это его бросало опасность, он нажил себе еще одного важного врага, кто ему не простил. Месье Денуайе отправил одного своего бедного родственника в Аррас в качестве комиссара. В те времена Наместники брались за поставку солдатского пайкового хлеба для их гарнизонов, и этот комиссар, заметив, что хлеб, поставляемый Сен-Прейем, не [120] соответствует ни весу, ни обычному качеству, подал об этом уведомление Двору. Сен-Прей, вместо того, чтобы поразмыслить, как бы исправить злоупотребление, шедшее от булочников, додумался только перехватить его письма. С этим он справился, поскольку весь Аррас подчинялся ему не хуже, чем он мог бы подчиняться самому Королю. Итак, едва познакомившись с содержанием письма, он пошел на поиски человека, кто прогуливался по площади с несколькими Офицерами. Он отколотил его тростью и велел посадить его в тюрьму. Тотчас, как только эта новость достигла ушей Месье Денуайе, он захотел убедить Кардинала, что если позволить этому человеку разыгрывать тирана, то в самом скором времени дойдет до того, что он не пожелает больше признавать ничьих приказов.

Кардинал, любивший храбрецов, а, главное, тех, кто, как Сен-Прей, сделали их девизом добрую службу Его Величеству, не захотел приговорить его, не выслушав. Он потребовал от него выпустить Комиссара по снабжению на свободу, отправить его ко Двору, а самому очиститься от выдвинутых против него обвинений. Это не представляло для него никакой трудности; если и были изъяны в солдатском пайковом хлебе, то он-то здесь был совершенно ни при чем. Он заключил сделку с булочниками, снабдившими его хлебом такого качества и веса, какого он и должен был быть. Но Небо, чьи пути неведомы и самым искушенным, видимо, решило покарать его за совершенное им похищение; случилось так, что когда он поднялся в седло несколько дней спустя, чтобы кинуться на поиски врагов, как ему сказали, вышедших из Дуэ, он наткнулся на гарнизон Бапома, только что сдавшийся Маршалу де ла Мейере, и эскортируемый всего лишь одним Трубачом.

Не было еще такого обычая, как раз наоборот; во время всех капитуляций, как с нашей стороны, так и со стороны Испанцев, всегда выделялось Отделение Кавалерии для эскортирования тех, кто капитулировал. Но случай или каприз Маршала [121] распорядились так, что все произошло совсем иным образом;

пешие связные, отосланные вперед с одной и другой стороны для опознания, замедлили с ответом на брошенный им оклик. Они бы узнали друг друга днем, но так как стояла глубокая ночь, Французы настолько торопили Испанцев отозваться, что те в конце концов крикнули: «Да здравствует Испания». Ответ вроде этого вполне заслуживал того, что с ними случилось. Сен-Прей приказал их немедленно атаковать и разгромил, прежде чем они сообразили дать знать, что находились под эскортом. Невозможно объяснить себе, почему они не заговорили раньше, и было ли это из-за упрямства, или же смятение, царившее среди криков умирающих, помешало расслышать их голоса.

Те, кто вырвались из схватки, добравшись до Дуэ в жутком беспорядке, едва только рассказали об их злоключении тому, кто там командовал, как он известил о нем Кардинала Инфанта. Этот Принц сразу же отправил гонца к нашему Двору с жалобой на такую акцию, какую он назвал ужасающей, позаботившись скрыть все, что могло послужить к оправданию Сен-Прея. Он знал, что тот нажил себе много врагов при Дворе, и так как Его Величество не имел в своих пограничных владениях Наместника более неудобного для Кардинала Инфанта, чем этот, он был бы не прочь от него отделаться. С прибытием гонца Денуайе, беспокоившийся, как бы чего не произошло по поводу его родственника, отвел этого гонца к Кардиналу де Ришелье и пересказал ему событие, еще больше преувеличив факты, чем сам Кардинал Инфант. Маршал де ла Мейере также пошел в наступление, сказав Министру, что это дело не менее отвратительно Французам, чем врагам; что те приносят клятву не щадить более никого, по меньшей мере, если не свершится правосудие, и надо ожидать с их стороны настоящей резни.

Маршал де Брезе, кто тоже был возбужден против Сен-Прея, не остался в стороне и ничуть не хранил молчания. Он говорил против него, как делали [122] и другие, в такой манере, что Кардинал, поддавшись их советам, согласился на его арест. Приказ был отдан Маршалу де ла Мейере, кто, дабы не возбудить опасений Наместника, который мог бы, если бы был предупрежден, прекрасно укрепиться в своем городе и призвать Испанцев себе на помощь, сделал вид, будто марширует в сторону Дуэ. Он разбил лагерь у ворот Арраса, контролировавшего эту дорогу, и Сен-Прей счел своим долгом пойти поприветствовать его, хотя и не питал ни большого уважения, ни большой дружбы к нему. Маршал сам взял его за перевязь и скомандовал вручить ему его шпагу. Всякий другой на месте Сен-Прея был бы удивлен и даже сломлен столь страшным приказом, но, сохраняя не только свою отвагу, но еще и присутствие духа, что было далеко

не обычно в такого сорта обстоятельствах, — «Вот она, Месье, — сказал он ему, — она, однако, никогда не обнажалась иначе, как для службы Королю». Он говорил это не только для того, чтобы подтвердить свою неизменную верность Его Величеству, но еще и для того, чтобы пристыдить нескольких особ, находившихся тогда при Маршале, и кто в день битвы Кастельнодари подняли оружие против Его Величества. Впрочем, так как он знал, что эти люди, далеко не принадлежавшие к числу его друзей, не прекратят настраивать Маршла против него, он был не прочь дать им почувствовать разницу между их поведением и своим собственным.

После его ареста поговорили с мельником, дабы он подал жалобу по поводу совершенного Сен-Прейем похищения. Тот об этом и думать забыл; полученные им тысячи экю, приправленные несколькими другими благодеяниями, усыпили в нем всю горечь утраты. Но так как весьма трудно заставить сменить шкуру тех, кто родились в грязи, едва этот мельник увидел, в какой злосчастной ситуации оказался Наместник, как вся его ревность и его ненависть пробудились вновь. Маршал, властью, данной ему Его Преосвященством, утвердил другого [124] Наместника в городе. Он назначил туда некоего Месье де ла Тура, отца нынешнего Маркиза де Торси. Он сказал Аррасцам, жалуя ему это достоинство, что дает им агнца вместо волка, какого он от них убрал. Нашли, что он был неправ, говоря таким образом; каждый мог вывести отсюда, что он широко и секретно способствовал подобной немилости. Его речь была, тем не менее, истинной, если только ее понимать в ее настоящем смысле. Надо знать, что из всех городов, завоеванных до сих пор, не было ни одного, что дожидался бы с большим нетерпением смены мэтра, прибывшего к ним, и чем более Сен-Прей показывал себя преданным Королю, тем более он казался им ненасытным волком. Как бы там ни было, он был препровожден в Амьен, где должен был начаться и завершиться его процесс, Кардинал направил туда Комиссаров, трудившихся над ним без передышки. Это был новый обычай, против которого Парламенты протестовали несколько раз, скорее ради их личного интереса, чем во имя публичного блага. Этот Министр был первым, кто его ввел, и Совет Короля, не требовавший ничего лучшего, как видеть верховную власть на высшей ступени, не поостерегся ему воспротивиться, потому что это уполномочивало его все делать так, что уже никто больше не мог в это вмешаться.

Монахини, одержимые бесом

Вот так были осуждены и приговорены Маршал де Марийак и некоторые другие, причем их не могли обвинить в ином преступлении, кроме как в том, что они осмелились не угодить Кардиналу. Некий Грандье стал одной из этих несчастных жертв. Уверяли, будто он был колдуном и вселил легион бесов в тела монахинь из Лудена. По этому обвинению, Господин де Лобардемон, кто был во главе Комиссаров, приговорил его, против мнения большинства судей, к сожжению живьем. Он им откровенно сказал, чтобы вынудить их подписать столь несправедливый приговор, — если они ему воспротивятся со всей энергией, какую должны бы иметь добрые люди, тогда [125] к ним самим направят Комиссаров, и те очень быстро уличат их в сопричастности к колдовству.

Он был гораздо менее неправ, разговаривая с ними подобным образом, чем желая послать на смерть невиновного. Все преступление бедного Грандье состояло в том, что он развратил этих монахинь, и если он и впустил какого-нибудь беса в их тела, это не мог быть никто другой, как бес бесстыдства. Так как все судьи навещали этих монахинь, и, может быть, даже пользовались их услугами так же распрекрасно, как и он сам, поскольку те были весьма далеки от целомудрия весталок, они колебались насчет того, что им следует сделать. Но в конце концов, они предпочли показаться несправедливыми, приговорив невиновного, чем самим попасть на его место, желая его спасти. Их вполне могли обвинить в том, что они колдуны, и я не знаю, что бы с ними произошло, учитывая всемогущество Его Преосвященства.

Торжество мельника. Сен-Прей оказался в том же самом положении, как и этот несчастный священник; против него согнали тысячи и тысячи свидетелей, как из Дорлана, где он был Комендантом, прежде чем стать Наместником Арраса, так и из многих других мест. Несколько раз на очную ставку с ним вызывали мельника. И хотя все его преступление, точно так же, как и преступление Грандье, состояло лишь в том, что он не угодил Властям, тем не менее, ему отрубили голову. [126]

Свидания хозяйки кабаре

Безумно влюбленный

По возвращении Полка Гвардейцев в Париж я не смог расположиться у моей хозяйки, потому что ее муж поостерегся приберечь мне комнату. Однако он не собрал еще все, что ему требовалось мне заплатить; это вынудило его состроить мне доброжелательную мину при моем прибытии. Я нашел его жену еще более влюбленной, чем во время моего отъезда, а так как она была в отчаянии, что не будет видеться со мной так же, как когда я жил у нее, то сделала все, что только могла, убеждая меня заставить ее мужа расплатиться, дабы навсегда лишить его возможности меня удовлетворить. Она заявляла, что, приведя таким образом его дела в расстройство, она расстанется с ним, а потом мы вместе заведем свой домашний очаг. Это мне было не по вкусу; если я и хотел иметь любовницу, я не желал обременять себя ею на долгие годы. К тому же я боялся, как бы Бог меня не [127] покарал за проделку вроде этой, поскольку сделать с ее мужем то, что мне советовала его жена, было бы равносильно тому, чтобы просто перерезать ему глотку. Несмотря на то, что я не мог помешать себе обвинять ее в жестокости по отношению к нему, я старался видеться с ней, однако, как можно чаще, потому что находил в этом мое удовольствие. Больше того, она делала все это исключительно ради любви ко мне, и если бы она меня меньше любила, мне не пришлось бы порицать ее поведение.

Комната наверху

Зная характер мужа, чья ревность, казалось, спала в мое отсутствие и пробудилась с моим возвращением, я скрывал от него мои визиты, насколько мог. Я даже столь тонко за это взялся, что ему бы стоило большого труда что-нибудь заметить, когда бы он не заплатил одному из своих лакеев, чтобы предупредить его, если мы назначаем друг другу свидания. Этот лакей, весь день остававшийся в доме, был ли там его мэтр или нет, видел, как я входил туда несколько раз, не догадываясь, что именно его хозяйка меня туда привлекала. Так как я являлся в доброй компании и под предлогом выпить там славного вина, он, по меньшей мере, два или три месяца верил, что я скорее пьяница, чем влюбленный. Мои товарищи, с кем я приходил, знали о моей интриге и давали мне время выполнить обязанности

любви, не без зависти все-таки к моей счастливой удаче. Я называю моими товарищами Мушкетеров, с кем я свел знакомство, а не Солдат Гвардии. Портос, ставший моим лучшим другом и имевший, как и я, любовницу молодую, красивую, ладно скроенную и снабжавшую его деньгами, всегда настаивал, чтобы нас поместили в маленькой комнатке рядом с комнатой хозяйки кабаре, дабы мне не приходилось особенно далеко ходить. Она чаще всего находилась там, пока ее мужа не было, и даже оставалась бы там постоянно, если бы я первый не сказал ей, что она должна раз-другой спускаться вниз, дабы не возбудить подозрений у ее гарсонов. Она никак не хотела мне поверить, настолько ей было приятно со мной. Эта [128] маленькая уловка некоторое время прекрасно удавалась, но в конце концов лакей засомневался, нет ли тут какой интриги, либо из-за нашего упорства всегда требовать ту же самую комнату, либо из-за слишком явного нетерпения, проявлявшегося его хозяйкой, как только она узнавала, что я наверху.

Итак, однажды, перехватив несколько взглядов между его хозяйкой и мной, он раз за разом тихонько поднимался и подходил подслушивать под дверью комнаты, где мы расположились, Мушкетеры и я, доносится ли все еще оттуда мой голос. Пробудило же его любопытство то, что некоторое время спустя после наших переглядываний его хозяйка поднялась к себе без всякой причины, показавшейся бы ему убедительной. Пока он слышал, как я говорил, он не входил в комнату, по крайней мере, если не стучали, чтобы его вызвать. Но явившись в очередной раз и не расслышав меня, он вошел посмотреть, там ли я. Мои товарищи были весьма удивлены, увидев его, тогда как никто из них его не звал, и этот забавник, кто был хитер и пронырлив, заявил, что явился проверить, не нужно ли нам что-нибудь. Едва он увидел, что меня там не было, как больше уже не сомневался, что я ушел совсем недалеко, и он отрапортовал обо всем своему мэтру, кто, истерзанный ревностью, решил сыграть со мной злобную штуку.

Ловушка

Однажды он упросил меня явиться отобедать с его женой и с ним, и к концу застолья его гарсон подошел ему сказать, что его спрашивают. Он принес мне свои извинения в том, что вынужден меня покинуть. Он тут же поднялся к себе, и, спрятавшись там в кабинете с двумя добрыми пистолетами, изготовленными и заряженными, он рассчитывал дождаться меня там, потому что, если мы действительно были вместе, его жена и я, в чем он

охотно бы поклялся, мы не замедлили туда подняться. Укрепляло его в этой мысли то, что место, где он нас оставил, вовсе не подходило для любовников. Оно было отделено от кабаре всего лишь легкой [129] перегородкой, со стеклами до самого пола. Итак, легко было заглянуть как оттуда в кабаре, так и из кабаре туда, по меньшей мере, пока не задергивали шторы.

Характер ревнивца

Тогда стояли самые короткие дни в году, и я назначил свидание в кабаре Атосу и другому Мушкетеру, по имени Бриквиль, дабы, если у меня не будет времени перекинуться парой слов с моей любовницей из-за присутствия ее мужа, я, по крайней мере, попробую сделать это с их помощью. Я знал, что вид кредитора всегда грозен для его должника, и когда хозяин увидит своего, он либо оставит нас в покое, либо примется обхаживать его с такой услужливостью, что я смогу тогда улучить момент сделать все, что мне заблагорассудится. Атос и Бриквиль прибыли лишь к пяти часам вечера, а так как было около четырех, когда хозяин нас покинул, у него было время истосковаться и истомиться от скуки в том месте, где он укрылся. Однако он упорно нас ждал, поскольку уговорился со своим гарсоном, что если я случайно выйду, тот его тотчас предупредит; итак, не получая никаких новостей, он был уверен, что я все еще с ней.

Как только Атос и Бриквиль прибыли, нас поместили в маленькую комнатку, где уже привыкли нас размещать. Я сказал этому гарсону приберечь ее для нас, потому как знал, что они должны явиться, и это мне облегчит мои похождения. Хозяин был счастлив, когда он нас там услышал, поскольку ревнивцы имеют такую особенность, что радуются лишь тем вещам, какие их заставляют убедиться в их несчастье. Это болезнь, и они не умеют от нее защититься, ведь правда, что ревность есть извращенный вкус, внушающий ненависть к тому, что надо бы любить и любовь к тому, что надо бы ненавидеть. В самом деле, ревнивец жаждет увидеть свою жену или любовницу в руках соперника. Все, способное подтвердить ему, что то, чем он забил себе голову — правда, имеет для него ни с чем не сравнимое очарование, и он никогда и ни от чего не получает такого [130] удовольствия, как от исследования собственного несчастья.

Хозяйка поднялась через некоторое время после нас и оставила свою дверь приоткрытой, дабы я мог войти, как обычно; стоило ей меня увидеть, как она кинулась меня обнимать. Я начал отвечать на ее ласки, как и следует страстному любовнику, когда мне послышалось, как кто-то шевелится в кабинете. Я

подал ей знак глазами; она поняла, что я хотел сказать, и мы оба застыли, словно оглушенные ударом дубины. Услышанный мной шум производил хозяин, желавший рассмотреть через замочную скважину, чем мы там занимаемся, поскольку он не слышал, чтобы мы разговаривали. Он прекрасно знал или, по меньшей мере, догадывался, что я был там, потому что подслушал, как кто-то вошел вслед за его женой. Наконец, разглядев, как мы приблизились друг к другу вплотную, хотя он видел нас только по пояс в том месте, где мы были, он распахнул дверь кабинета и поприветствовал меня для начала пистолетным выстрелом. Он так торопился свершить правосудие, что промахнулся; вместо того, чтобы попасть мне в тело, пуля прошла более чем в десяти шагах от меня. Я немедленно бросился на него из страха, как бы он не оказался более ловок при втором выстреле, чем был при первом. Хозяйка не могла придти мне на помощь, поскольку она упала в обморок, как только увидела своего мужа с пистолетами в каждой руке. Услышав выстрел, Атос и Бриквиль сразу же догадались, в чем дело, и хотели явиться мне на выручку; но так как, войдя, я запер за собой дверь, они нанесли по ней несколько ударов ногами, чтобы ее выломать, но так и не добились никакого результата, несмотря на все их усилия.

Мы схватились, однако, хозяин и я, и все, чего я хотел, это заставить его выпустить пистолет, пока он меня не ранил, и помешать ему наложить руку на мою шпагу, я не успел ее выхватить. Я, наконец, добился и одного, и другого, в то время, как Атос [132] и Бриквиль громкими криками призывали дозор через окно. Они не знали, не ранен ли я, и это их живо беспокоило. Комиссар квартала явился с несколькими стражниками, кого он поспешно собрал по дороге, и так как Мушкетеры были очень уважаемы, да их и побаивались в те времена, Атос и Бриквиль едва только начали говорить, как Комиссар пообещал покарать этого ревнивца, если на мне сыщется хоть малейшая царапина.

Намерение и действие

Когда Комиссар подошел к двери, я ее ему открыл, не найдя к тому никакого препятствия, потому что хозяин выскочил тогда в кабинет, где он перезаряжал свои пистолеты; я так и не смог их у него отнять. Комиссар было поверил сначала, что женщина была мертва, потому как он видел, что она не шевелит ни руками, ни ногами; но убедившись в том, что выстрелы мужа прошли весьма далеко от нее, и она была просто в обмороке, он направился к кабинету и велел его себе открыть. Хозяин не захотел и сказал

ему, что преследовать тот должен не его, но меня, кого он застал в постели со своей женой. Комиссар, конечно, заподозрил, что здесь было что-то от правды, хотя, по правде, этого и не было — поскольку, если я и имел такое желание, я совсем не имел на него времени.

Несмотря на настойчивость Комиссара, муж не хотел открыть ему дверь кабинета, и так как военное ремесло, исполнявшееся им в течение какого-то времени, придавало ему уверенности, он ответил ему или очень грубо, или очень энергично (я не знаю в точности, что это было из двух) — если тот претендует вмешиваться в дела, не входящие в его компетенцию, он не выразит большого почтения к его мантии; его обязанности имели бы другое значение, если бы давали тому право инспекции над всеми рогоносцами, к коим он, к несчастью, причислен; он советовал бы тому, как добрый друг, удалиться; ему одному принадлежало право наказать свою жену, когда она изменила супружескому долгу, и тому не [133] позволено в это вмешиваться; он просто просит его увести меня вместе с ним, так как он прекрасно знал, насколько вид человека, причинившего бесчестье семейству, неприятен одураченному мужу. Наконец, он наговорил тому тысячу вещей, вроде этих, постоянно продолжая ему угрожать, что если тот будет упорствовать в желании открыть себе дверь, он больше не отвечает ему ни за что.

Его речь воспламенила гневом этого Офицера, кто был очень вспыльчив. Он приказал своим стражникам вышибить дверь, что и было вскоре сделано; хозяин искал Комиссара среди других, чтобы сдержать данное ему слово. Он прицелился в него еще тогда, когда дверь не была выбита полностью, но его пистолет дал осечку, и не успел он ухватиться за другой, как был буквально задавлен числом нападавших. Один из стражников отвесил ему удар тяжелым поленом по руке, и, выбив его пистолет, набросился на него. Тотчас же его увели в Шатле, тогда как в его доме был поставлен гарнизон. Это мне вовсе не понравилось, поскольку не могли разорить его, не разорив в то же время и мою любовницу. Я попросил Атоса замолвить словечко Месье де Тревилю, кто был родственником одного Судейского человека, очень влиятельного в Парламенте. Месье де Тревиль ответил ему, что если я продолжу заставлять говорить о себе, как я делал с самого моего приезда из Беарна, то очень скоро погублю мою репутацию; он-то думал, что я вмешиваюсь только в драки, но поскольку он видит, что я вмешиваюсь также и в развращение чужих жен, то он меня велит предупредить — Король не одобряет ни одного, ни другого.

Таков был выговор, какой он пожелал мне преподать, тем

более, что он стремился казаться человеком доброжелательным (либо он действительно им был, в чем я не хочу даже сомневаться, либо он довольствовался сохранением подобной видимости). Он знал, что тем самым он сделается еще более приятным Королю, Принцу, боявшемуся Бога, и никогда [134] не имевшему любовных интрижек. В самом деле, Его Величество, знавший о своем деликатном здоровье, не верил в то, что ему остается еще долго жить, и задумывался с ранних лет окончить свою жизнь по-христиански, дабы не опасаться этого последнего момента, что должен еще больше приводить в трепет Королей, чем всех остальных, по причине множества дел, проходивших через их руки. И по правде, чем в большее количество вещей вмешивается человек, тем отчет, какой ему предстоит в них отдать, должен быть огромнее — даже когда на их совести только кровь, что самые миролюбивые из них заставляют проливать в предпринимаемых ими войнах, этого более чем достаточно, чтобы их смутить, когда они начинают размышлять об этом серьезно.

Правосудие не дремлет

Атос, услышав такие речи Месье де Тревиля, счел, что не стоит надеяться на большую помощь от него в этом случае. Итак, он не знал, что ему ответить в мое оправдание, и рассудил более благоразумным запастись терпением. Месье де Тревиль добавил — хотя мое преступление и преступление этой женщины не заслуживают того, чтобы кто бы то ни было заинтересовался нами, тем не менее, будет справедливо сделать это для бедного мужа, кто был достаточно несчастен сделаться рогоносцем, и вдобавок битым, без того, чтобы еще его хотели разорить; он поговорит о нем со своим родственником, и тот в самом скором времени облегчит участь несчастного. Его родственник был Советником Высшей Палаты, и так как эти Магистраты уже начинали пользоваться большим влиянием, не прекращавшим увеличиваться с тех пор и вплоть до того, как Король не положил этому определенные границы, тот без лишних церемоний сам явился в Шатле и приказал привести к нему заключенного. Смотритель скомандовал своим тюремщикам сходить за ним, и когда он был введен в комнату, куда проводили этого Магистрата, тот спросил его в присутствии смотрителя, почему он был арестован. Заключенный ответил, что не мог терпеть добровольно, как [135] из него делали рогоносца, он хотел удалить из своего дома того, кто навлек на него этот позор; все это произвело некоторый шум в квартале, а Комиссар, явившись к

нему, вместо того, чтобы встать на сторону правосудия, принял сторону изменницы и отправил его в тюрьму, не пожелав выслушать справедливых резонов, вынудивших его сделать то, что он сделал.

Магистрат, кто был предупрежден и осведомлен его родственником, но кто тщательно остерегался укрепить мужа в его подозрениях, поскольку это еще больше возбудило бы его против меня и его жены, заметил ему, что, вопреки видимости, какую часто приобретают вещи, не следует судить о них по своей первой мысли; когда вдумаешься в них поглубже, они часто меняют характер, особенно, когда речь идет о ревности; рогатые видения посещали множество людей, хотя здесь зачастую бывает больше воображения, чем реальности; его ремесло хозяина кабаре выставляло его жену на обсуждение посетителей этого заведения; это вовсе не обязательно означает, что она не была благоразумна, даже, если она делала мину, будто прислушивается к их словам; она делала это скорее, дабы не потерять клиентуру в этих болтунах, вовсе не имея желания для этого ему изменять; он поступил совсем нехорошо, столь яростно забив тревогу из-за таких мелочей, и он будет порицаем мудрыми людьми; но, сжалившись над его участью, он сам захотел вытащить его из неприятного дела, при условии, что тот захочет ему пообещать быть более благоразумным в будущем; он примирится со своей женой; и так как эта последняя была рождена в благородном семействе, он должен бы знать — она не та особа, чтобы бесчестить себя и позорить его.

Заключенный, уже видевший себя в каменном камзоле и боявшийся, как бы правосудие не пожрало все, что он имел, и не вышвырнуло его на мостовую, пообещал ему все, что тот от него хотел. Магистрат, видя его столь покорным своей воле, скомандовал [136] смотрителю принести ему книгу записей, и в соответствии с властью, присвоенной в те времена Советниками Высшей Палаты, выпустил его из тюрьмы без всякого дальнейшего разбирательства. Он проводил его до дома, и, призвав его жену, свел их вместе одну с другим. До этого, с помощью Месье де Тревиля, он прочел мораль хозяйке кабаре, сказав ей, что они не хотели верить, будто она была виновна, но, тем не менее, так как она могла бы предстать в суде перед своим мужем, ей надо настаивать на том, что все ее преступление состояло в обязанности строить приветливую мину всему свету; пусть он только прикажет не открывать ее дверь никому, и он вскоре увидит, что ей ничего не будет стоить его ублаготворить.

Все заново

Муж сделал вид, будто принимает эти извинения, дабы не показаться неблагодарным за полученную от Магистрата милость. Однако ему была нужна и другая — убрать гарнизон из его дома, что и было сделано на следующий день. Таким образом, все дела вернулись к прежнему порядку, за исключением того, что мне не позволено было видеться с моей любовницей. Но кроме того, что разразившийся скандал был мне вполне достаточной помехой, Месье де Тревиль запретил мне это еще раз после того, как устроил мне грандиозный нагоняй. В течение некоторого времени я не осмеливался преступать его приказы; но поскольку, когда ты молод, как я был тогда, и полон сил, ты не находишь ничего сравнимого с любовью, я вскоре забыл его запрет ради удовлетворения моей страсти. Я десять или двенадцать раз встречался с моей хозяйкой у одной из ее добрых подружек так, что ее муж ни о чем и не подозревал. Она просила меня действовать вместе с Атосом, чтобы было выплачено все, одолженное ее мужу, дабы, если он рассорится с ней, я имел бы, по меньшей мере, эти деньги для поддержки в ее нужде. Я пообещал ей сделать все, что только она ни пожелает, но решил все-таки исполнить лишь [137] половину обещанного. Я действительно потребовал выплаты от моего должника, но не хотел, чтобы его выставляли на улицу, если он не был в состоянии мне заплатить. Дело затянулось на некоторое время, и меня это вовсе не расстраивало, поскольку хозяин кабаре не мог найти возражений, когда Атос заявлялся к нему, пока тот был его должником, зато я нашел здесь средство общаться, сколько мне было угодно, с моей любовницей.

ЧАСТЬ 4
Заговор Сен-Мара

Так прошла зима, и Король отправил часть своего Полка Гвардейцев в Русийон, который пытались приобщить к завоеваниям предыдущей Кампании. Эта маленькая Провинция была нам абсолютно необходима для сохранения Каталонии, куда, пока она оставалась у Испанцев, ничего нельзя было доставить, кроме как по морю. Так как Русийон расположен между Лангедоком и Каталонией, и единственно из Лангедока можно было вывезти всевозможные вещи, в каких Каталония испытывала нужду, требовалось избавиться от этой зависимости от моря, тем более серьезной, что Испанцы в ту эпоху были так же сильны на море, как и мы.

Месье Кардинал де Ришелье был наверняка одним из самых великих людей, когда-либо существовавших не только во Франции, но и во всей Европе. Однако, какими бы прекрасными качествами он ни обладал, у него имелись и кое-какие дурные; например, он слишком любил мстить и чересчур господствовать над знатью, с могуществом столь же [139] абсолютным, как если бы он был самим Королем. Вот так, под предлогом возвышения королевской власти на самую высокую ступень, он настолько возвысил свою собственную, пользуясь его именем, что опостылел всем на свете. Принцы Крови (он начал принижать их могущество, а нынешний Король полностью завершил его уничтожение) терпеть его не могли, потому что он испытывал к ним не больше почтения, чем ко всем остальным. Герцог д'Орлеан, интриговавший против него всякий раз, когда подворачивался удобный случай, готов был сделать это опять. Что до Принца де Конде, то он любил его ничуть не больше, хотя и женил Герцога д'Ангиена на его племяннице. Высшая Знать, чьим врагом он всегда себя объявлял, питала те же самые чувства к Его Преосвященству. Наконец, Парламенты равным образом были им раздражены, потому что он преуменьшил их власть введением Комиссаров, кого он назначал на любой процесс, и возвышением Совета им в ущерб.

Кардинал — великий человек

Министр ловко пользовался опасением Короля по отношению к Герцогу д'Орлеан, вынуждая его одобрять все эти нововведения. Он даже не встречал здесь никакой трудности, потому что подкрашивал все публичным благом, служившим для него чудесным предлогом. Что же касается до принижения других, то Король легко на это соглашался, потому что тот заявлял — он найдет здесь свой расчет, как это и было по правде. Король прекрасно видел, чем больше он их принизит, так же, как и Парламенты, тем его власть сделается огромнее, поскольку лишь они были в состоянии ей противостоять. Однако, так как этот Министр знал, что, несмотря на все преимущества, извлекаемые из этого Королем, он был склонен наводить тень на все, исходившее от него, потому он всегда заботился иметь подле Его Величества людей, готовых свалить дурные впечатления, возможно, возникавшие от его поведения, на ненависть, порожденную его привязанностью к интересам короны. [140]

Некто Сенмар

Тогда подле Короля находился некий молодой человек, кому едва перевалило за двадцать один год, но кто, тем не менее, пользовался громадным влиянием. Это был сын Маршала Д'Эффиа; в возрасте семнадцати лет он был сделан Капитаном Гвардии, потом Главным Камердинером Его Величества и, наконец, Обер-Шталмейстером Франции, и никогда ничья судьба не была равна его удаче. Король не мог ни на один момент остаться без него; как только он терял его из виду, он тотчас за ним посылал. Он даже укладывал его спать вместе с собой, как могла бы делать любовница, не остерегаясь, что столь большая фамильярность и, главное, с особой такого возраста, не только была противна королевскому величию, но еще и могла заставить его в этом раскаяться. В самом деле, так как благоразумие и молодость редко совместимы, следовало опасаться всего от молодого человека, уже забывавшегося настолько, что вместо того, чтобы постараться своими услугами заслужить ту честь, какой удостаивал его Король, он доводил иногда дерзость и даже наглость до разнузданных разговоров со своими друзьями о том, как бы ему хотелось быть поменьше по душе Его Величеству и иметь побольше свободы. Никто не смел передать Королю речи, вроде этой, скорее из страха ему не угодить, чем ради любви к этому фавориту; а так как при Дворе далеко не царила благотворительность, его положение наделало достаточно завистников, чтобы внушить им намерение его погубить, если бы она одна их от этого удерживала.

Этот молодой человек носил имя Сенмар, от названия земель его Отца в соседстве с побережием Луары. Кардинал сам пристроил его ко Двору, как инструмент, каким он делал бы все, что пожелает, поскольку он был другом его отца и немало способствовал его возвышению. На самом деле, Дом д'Эффиа, далеко не один из самых древних в Королевстве, был так нов, что имел все основания быть довольным своей судьбой по отношению к его происхождению. Все эти резоны просто обязывали фаворита [141] оставаться в тесной связи с благодетелем его отца и его собственным, но пожелав быть Герцогом и Пэром и жениться на Принцессе Мари, дочери Герцога де Невера, ставшей впоследствии Королевой Польши, он едва только заметил, что Кардинал украдкой этому противодействует, а подчас даже и открыто, как немедленно забыл все его благодеяния. Его неблагодарность причинила тем большее горе Его Преосвященству, что, видя его так близко от Короля, он боялся,

как бы, вместо того, чтобы оказать ему услугу, как тот ему обещал, когда он продвигал его в окружение Его Величества, он не был бы способен ему навредить. Итак, ненависть и ревность, что он начал испытывать к нему, увеличивались с каждым днем, отношения между ними настолько ожесточились, что они не могли больше переносить один другого.

Начало заговора

Король, вовсе не любивший Кардинала, был обрадован их размолвкой и получал удовольствие ото всего, что мог наговорить против него его фаворит. Однако, так как, несмотря на эту ненависть, он видел, что Министр был ему абсолютно необходим для блага его Королевства, он никогда не прекращал им пользоваться, хотя Сенмар время от времени предпринимал различные атаки, чтобы заставить его передать это место другому. Между тем, фаворит, видя, что Король оставался туг на ухо, а Министр более чем никогда противился его намерениям, так что, в каких бы хороших отношениях он ни был с Его Величеством, он не мог добиться от него ни Принцессы Мари, кого он страстно любил, ни патента Герцога и Пэра, он решил отделаться от Кардинала, подстроив его убийство, раз уж у него не было другого средства. Итак, он решился его убить, веря, что когда он нанесет этот удар, ему будет нетрудно получить помилование Принца, кто его любил, и кто, вдобавок, смертельно ненавидел его врага. В самом деле, он верил, будто неоднократно замечал, что если Его Величество и не изгонял того от себя, то вовсе не из-за недостатка воли, [142] но потому, что он его боялся. Он так ему и сказал; Его Величество ему ответил, что все его предложения почти неисполнимы, поскольку этот Министр был мэтром всех мест его Королевства и всех армий, как на море, так и на суше; его родственники и друзья командовали ими, и он мог заставить их взбунтоваться против него, когда только тому заблагорассудится. Сенмар совершенно уверился, что когда он убьет Кардинала, Король первый обрадуется тому, что от него отделался, и даже не подумает за него мстить. Итак, все более и более утверждаясь в принятом решении, он рассудил, что надо бы посвятить Тревиля в свои интересы, дабы быть более уверенным в своем ударе.

Тревиль не говорит ни да, ни нет

Заинтересованность, какую этот последний должен бы иметь в гибели Кардинала, всеми силами противившегося тому, чтобы Король продвигал его к более высоким почестям, как Его Величество, казалось, сам этого желал, заставила Сенмара поверить, что стоит ему только сделать такое предложение, как он его сразу же примет. Однако Тревиль, кто был мудр и благоразумен, ответил ему, что он никогда не был замешан в убийстве кого бы то ни было, и он сможет сделать это исключительно по личному требованию Его Величества ради блага его Государства. Сенмар заметил ему, что он ручается — не пройдет и сорока восьми часов, как Его Величество поговорит с ним, и он просит его слова лишь на этом условии, Тревиль дал ему слово, не слишком раздумывая над тем, что он делал. Однако либо Тревиль это все-таки сделал и подумал, что Король никогда не согласится на подобную вещь, он, кто всякий день повторял, в каком он отчаянье из-за того, что разрешил убить Маршала д'Анкра, либо он счел, что немного слишком позволил себе поддаться злопамятству; а Сенмар, едва заручившись его словом, обо всем рассказал Его Величеству. Король, кто был весьма естествен, признался ему, что он не прочь бы отделаться от Его Преосвященства, не особенно размышляя, с какими целями фаворит делал ему такое [143] предложение. Он поверил, что все, сказанное им, было не чем иным, как пустыми словами на ветер, как говорят иногда. Сенмар, ободренный таким ответом, нашел Тревиля, попросил его действовать вместе с ним и убедить Его Величество сохранить при себе часть его Полка Гвардейцев, так как они могут им вскоре понадобиться для осуществления плана. Он добавил, что позволяет ему прощупать Короля по поводу всего сказанного между ними, пока он не получит, как ему и обещано, формального распоряжения из уст Его Величества.

Тревиль, кто так же, как и он, был бы рад отделаться от Кардинала, в тот же самый день навел Его Величество на этот предмет. Он не ответил ему ничем, несообразным с тем, что пообещал ему Сенмар. Итак, Тревиль выполнил свое обещание убедить Короля задержать часть нашего полка для безопасности его особы, Его Величество сам скомандовал Полковнику Гвардейцев оставить несколько рот его полка подле него, тогда как остальные двинутся по дороге на Русийон. Месье де Тревиль устроил все таким образом, чтобы рота его родственника была бы из числа тех, кто никуда не уходил. Он полагался на него более, чем на всякого другого, и в перевороте столь огромного значения

ему было важно знать, что он не будет ни брошен, ни предан. Сенмар, совсем молодой человек, каким он и был, знал уже все уловки, приобретаемые при Дворе, он умел уже ловко обманывать и выдавать за чистую правду гримасы и переглядки; потому он счел, что, вместо обещанного Тревилю, ему будет вполне довольно побудить Короля сказать тому те же самые вещи, что он говорил и ему самому. Тревиль, слышавший от Короля такие речи и не один, но более сотни раз, не был этим столь удовлетворен, как предполагал фаворит. Он желал, чтобы Его Величество более определенно объяснился с ним, и таким образом дело затянулось вплоть до его отъезда, и они решили исполнить их план в Немуре. Один ни на что не соглашался, пока, как ему было обещано, сам Король [144] не скажет ему всего прямо, а другой все еще верил, что будет отвлекать его и обяжет сделать дело незаметно, не вдаваясь в особые размышления.

Когда Двор прибыл в Мелен, Тревиль настойчиво просил Сенмара сдержать его слово, тот же отослал его к моменту, когда Король будет в Фонтебло. В действительности он поговорил с Его Величеством и даже упорствовал в получении от него согласия, но Король пришел в ужас от его предложения и ответил, чтобы тот не смел и думать, тем более ему об этом говорить; Сенмар это скрыл от Тревиля и сказал ему, будто Его Величество ответил, что такие вещи должны бы понимать с полуслова, не вынуждая Короля отдавать подобные команды; именно так действовал Маршал де Витри, когда он освободил его от Маршала д'Анкра; Коннетабль де Люин всего лишь выразил Королю свою уверенность, что Его Величество весьма обяжут, если заставят исчезнуть этого Маршала, кем он имел основания быть недовольным; он не ответил ни да ни нет, но этого было достаточно для Маршала де Витри, кто знал — когда категорически не протестуют против какой-нибудь вещи, значит, на нее согласны.

Боевой кинжал

Тревиль совершенно не удовлетворился таким ответом, и хотя уже были приняты все меры для убийства, он взял свое слово назад тотчас, как увидел, что Король на это не согласен. Сенмар, к кому Кардинал по-прежнему продолжал проявлять свое дурное расположение, пришел от этого в отчаяние, поскольку он надеялся, что когда он сживет его со света, он не найдет больше препятствий ни своей любви, ни своей амбиции; потому, упорный в желании отделаться от него во что бы то ни стало, он приказал изготовить кинжал, чтобы убить его самому. Он подвесил его к головке эфеса своей шпаги, как это было в обычае в те времена, чем довольно-таки поразил весь Двор, так как, по правде сказать, этот обычай был введен скорее в расчете на военных людей, чем на куртизанов. Кардинал опасался, он был кем-то предупрежден о его намерении. Это [146] вынуждало его держаться настороже и избегать оказываться, насколько он мог, наедине с ним. Случаю, однако, было угодно, чтобы он дважды попадал в такое положение, но, вопреки его решимости, этот фаворит всякий раз бывал столь растерян, что ему не хватало храбрости взяться за кинжал, а ведь заказал он его специально, чтобы лишить того жизни.

Двор завершил короткими переходами этот вояж, и Кардинал, видя, как Король позволяет себе поддаваться злобным советам своего фаворита, заболел от горя. Так он был вынужден остановиться в Нарбоне, где, уверившись в том, будто умирает, изменил свое Завещание, добавив, что обладает пятнадцатью сотнями тысяч франков, принадлежащими Королю, о каких этот последний ничего не знал; с самого начала своего Министерства он счел себя обязанным сделать этот маленький фонд, дабы помочь в назначенный час нуждам Государства; и так как все это было только на пользу Его Величеству, он надеется, что Король будет скорее более благодарен, нежели возмущен.

Месье де Сенмар, кто не посмел отделаться от него спланированным образом, но кто, однако, ничего не забывал, лишь бы его погубить, сделал все, что мог, объявляя этот резерв подозрительным. Он указал Его Величеству, что только страх смерти заставил Кардинала о нем заговорить, и никогда бы он этого не сделал, если бы, как в подобной ситуации, не опасался бы Божьего суда.

Кардинал, почувствовав некоторое облегчение, явился в Лагерь перед Перпиньяном, куда Король прибыл уже несколько дней назад. Это место было осаждено до того, как он туда явился,

Маршалами де Шомбергом и де ла Мейере. Но, хотя первый был ветераном, второму досталась почти вся честь за происшедшее. Это не понравилось другому, кто был гораздо более высокого происхождения, и так как он приписал это предпочтение родству, существовавшему между Маршалом де ла Мейере и Кардиналом, он тайно объявил себя врагом, как одного, [147] так и другого. Итак, узнав, что Сенмар не принадлежал к друзьям Кардинала, он вошел с ним в секретные связи.

Прибытие Кардинала изменило настроение Короля по его поводу. Так как этот Принц, далеко не постоянный в своих чувствах, как Король, его сын, сегодня, имел ту дурную черту, что последний, разговаривавший с ним, оказывался правым; его доверие внезапно ожило вновь к Его Преосвященству. Правда, Маршал де ла Мейере, кого Король счел нужным пригласить на эту встречу, немало послужил Его Преосвященству для его примирения с Его Величеством. Он заявил ему, что все, о чем разглагольствуют враги Министра, касающееся резерва, о каком я недавно упомянул, было бы даже стыдно подумать в отношении человека, кто всегда приносил себя в жертву интересам Государства; такой секрет должен быть позволен любому Министру, потому что прекрасно известно, когда любой Принц убеждается в том, что у него есть деньги в казне, он же первый приказывает их забрать, частенько вовсе не заботясь о том, не будет ли у него в них надобности в будущем.

Новая встреча с Орлеаном и Буйоном

Маршал, только что взявший Колиур, порт на Средиземном море на мысе Русийона, да еще совсем готовый сделать то же самое с Перпиньяном, сделался еще более убедительным своими действиями, чем всеми резонами, приведенными им в доказательство своих речей. Сенмар вошел в такой раж, что голова у него пошла кругом. Вместо того, чтобы ждать, когда Король снова поменяет настроение, по своей доброй привычке, он решил впустить во Францию армию Испанцев. Он знал, что им всегда не терпелось это сделать, лишь бы они доверяли особе, которая их к тому призовет — потому, стремясь привлечь в свою партию людей со столь же дурными намерениями, как у него, он добился оправдания своего решения у Герцога д'Орлеан и Маршала де Шомберга. Герцог де Буйон, всегда готовый взбаламутить Государство, тотчас вошел в этот заговор. [148] Так как вопрос теперь был только в том, как бы обеспечить ему успех, Фонтрай, поставленный в курс Сенмаром, кто был его другом, сделал вид, будто поссорился с одним из главных Офицеров армии, дабы получить предлог для перехода в Испанию. Дело осуществилось так, как они вместе и предполагали, и Фонтрай, поискав ссоры с тем, о ком я говорил, в довершение всего спровоцировал его на дуэль. Едва он узнал, что имеется приказ его арестовать, как того и следовало ожидать, он перебрался в Испанию.

Хотя Сенмар принял столь позорные меры, способные лишь погубить его в сознании Его Величества, он не преминул оживить к нему свои ухаживания, явно находившиеся на точке угасания. Король вновь воспылал дружбой к нему, а так как он знал, что у Его Величества легко зарождались подозрения из-за безделицы, он нагнал на него страх непомерной властью, оказавшейся в руках Его Преосвященства. Он сказал ему, что тот стал господином на море через Адмиралтейство, расположенное им в его же доме, и на суше он не менее могуществен; его родственник, Маршал де Брезе, может, когда только захочет, овладеть Каталонией, что тот отдал ему в Вице-Королевство; армия, стоявшая в настоящее время под Перпиньяном, подчинялась настолько же полно Маршалу де ла Мейере, как казалось, еще и другому господину, а те, кто командовали во Фландрии, тоже были мужьями его племянниц, так же, как большинство Наместников провинций были еще и людьми, всецело ему преданными; так что теперь, можно сказать, лишь от него зависит, не завладеть ли ему и короной.

Тарасконское уединение

Ничего и не требовалось больше, чтобы встревожить Короля; итак, с этого самого дня он обращался к Министру с самой злобной физиономией, какую только можно себе вообразить; Его Преосвященство был тем более изумлен этим обстоятельством, что знал, как далек был Его Величество от той [149] скрытности, что видишь обычно при всех Дворах. В последующие дни ситуация еще ухудшилась, и Сенмар, видя, как обеспокоен Министр, передал ему через третьих лиц, что если тот вовремя не позаботится о своей безопасности, с ним может приключиться нечто пострашнее, чем об этом можно было бы сказать.

Кардинал всегда казался тверд при самых досадных событиях, происходивших в течение его министерства. Во времена взятия Корби его враги распустили слух, что люди из народа обвиняли его во всех беспорядках Государства, и стоит ему показаться на публике, как они принесут его в жертву их недовольству; он столь мало испугался этих угроз, что выехал совершенно один в карете и прогулялся в ней по всему Парижу. Если он был столь дерзок в тот раз, то, наверное, потому, что знал, насколько эти слухи были ложны, и что народ нередко угрожает людям в их отсутствии, тогда как он трепещет, оказавшись с ними лицом к лицу. Как бы там ни было, Министр, оценив, что ситуация совсем не та при этой встрече, где он имел дело с фаворитом, не только обнаглевшим от своего положения, но еще и способным предпринять все, что угодно, против него, громко обвинявшим его одного в противодействии своей любви и своему тщеславию, притворился еще более больным, чем он был в Нарбоне. Под этим предлогом он испросил разрешения Короля туда вернуться, Его Величество ему это позволил, и вместо того, чтобы там остановиться, он проехал вплоть до Тараскона, где, наконец, почувствовал себя в большей безопасности. Он даже решился удалиться подальше, следуя сведениям, доходившим до него от Двора, где у него еще имелось несколько друзей.

Месье де Ту, Государственный Советник, кому Сенмар сказал но секрету, как своему лучшему другу, зачем Фонтрай отправился в Испанию, заметил ему, что он немного слишком торопится; сам лично он посоветовал бы ему теперь, когда тот устроил травлю на своего врага, удовлетвориться этим [150] триумфом, не упорствовать в предприятии, что сделает его преступником в глазах Его Величества, если он когда-либо о нем узнает; он должен бы, как можно скорее, отозвать Фонтрая и послать ему приказ найти предлог разорвать все, что он там затеял. Сенмар

ответил ему, что дела уже слишком далеко зашли, и нельзя поступить таким образом; Испанцы именно те люди, что способны злоупотребить его секретом в случае, если они увидят, как над ними всего лишь посмеялись. Он даже воспользовался этой поговоркой — когда вино налито, его надо выпить.

Едва Кардинал прибыл в Тараскон, как его друзья повторили ему, что Сенмар по-прежнему продолжает губить его в сознании Его Величества; они вместе постоянно его высмеивают, и если такое продлится, они просто не знают, чем все это кончится. В самом деле, уже громко требовали заставить его отдать отчет во всех налогах, поднятых при его Министерстве, его даже открыто обвиняли в присваивании части их в свою пользу. Кстати об этом, громко растрезвонили о его затратах на замки Ришелье, Рюэй и на Кардинальский Дворец; и говорили даже, что Его Величество не должен бы быть ему особенно обязан за принесение этого Дворца в дар по его Завещанию, потому что это было скорее возмещение, нежели дар.

Умело спровоцированный разгром

Кардинал был встревожен этими новостями. Он рассматривал их, как предвестья какой-то опалы, что в его случае могла быть только грандиознейшей, потому что, когда падают Министры, то это всегда с очень большой высоты. Так как враги были сильны во Фландрии, и Граф де Аркур и Маршал де Граммон, командовавшие там каждый армией, отделенной одна от другой, постоянно находились в обороне, он попросил этого последнего сделать какой-нибудь ложный маневр, из которого он не смог бы выпутаться иначе, как позорным бегством. Он не посмел попросить об этом и другого, потому что забота о его репутации, поднятой им на самую высокую ступень бесконечным числом великих [151] поступков, трогала его гораздо ближе, чем желание, какое он мог бы иметь, угодить министру. Маршал, кому приходилось улаживать столько разнообразных вещей, оказался не таким разборчивым, он пошел на тот шаг, какой Его Преосвященство пожелал, чтобы он сделал, и враги набросились на него в тот же момент, он же столь резво принялся спасаться, что день этот был назван днем шпор.

Как только Король был извещен об этом событии, он утратил всякое желание смеяться вместе с Сенмаром. Он пожалел об удалении Кардинала, чьи советы были ему абсолютно необходимы в обстоятельствах, вроде этих. Он посылал к нему гонцов за гонцами, чтобы заставить его вернуться, требуя от него содействовать безопасности границы, что вскоре рискует подвергнуться свирепости Испанцев теперь, когда они не найдут больше армии на своем пути. Кардинал, обрадованный столь добрым успехом своих предначертаний, не поехал ни с прибытием первого гонца, ни даже второго. Он желал, чтобы болезнь сделалась еще более нестерпимой, прежде чем принести от нее исцеление. Он позволил врагам частично сделать все то, что в обычае делать, когда одерживают большую победу. Король, находившийся более, чем в двухстах лье от него, и все еще полагавшийся на него во многих вещах, оказался еще более неспособным навести порядок; он послал новых гонцов, чтобы приказать ему поспешить с отъездом. Тот торопился не более, чем раньше, и, продолжая разыгрывать больного, велел сказать Королю, что он пребывает в жалком состоянии, и ему просто невозможно подчиниться ему, не подвергаясь опасности умереть по дороге. Он мог легко заставить поверить во все, что ему угодно было сказать о своей болезни, потому что горе, посетившее его с некоторых пор, сильно его изменило; кроме того, по правде

сказать, у него был геморрой, уже какое-то время доставлявший ему большие страдания.

Король чуть было сам не отправился за ним и наверняка бы это сделал, если бы Сенмар, желавший [152] помешать ему любой ценой, не сказал, что, если он хоть немного отдалится от лагеря, то дела осады, вместо того, чтобы завершиться успехом, вскоре придут в странный беспорядок. Он сказал, что зависть, царившая между Маршалом де Шомбергом и Маршалом де ла Мейере, скоро явится причиной печальных перемен; только его личное присутствие могло бы этому помешать настолько, что завоевание или потеря этого места не зависят ни от чего иного, как от того решения, какое Его Величество примет в данной ситуации. Ему отрапортовали так же, что Маршал де ла Мейере был ненавидим всеми войсками из-за его невыносимого тщеславия; каждый день у него стычки с главными Офицерами, и если бы речь шла лишь о том, чтобы отнять у него славу, какую он стремился придать себе взятием этого города, они вовсе не заботились бы об исполнении их долга.

Эти речи, основанные на наблюдениях, потому что действительно Маршал был о себе высокого мнения, погрузили Короля в странную растерянность. Однако, тогда как он поверил, будто все погибло, Кардинал получил донесение о том, чем Фонтрай, вернувшийся из Испании, там занимался. Это донесение пришло к нему из Италии, где находился Герцог де Буйон, кому Его Величество отдал командование своими армиями в этой стране. Полагают, что оно было послано слугой Герцога, состоявшим у него на жаловании, и кому его мэтр полностью доверял, потому что считал его бесконечно далеким от всякой неверности ему. Как только Кардинал заручился этим донесением с приложенной к нему копией договора, дабы не возникло никаких сомнений в подлинности дела, он выехал из Тараскона на встречу с Королем. Месье де Шавиньи, Государственный Секретарь, кого Сенмар так и не смог подкупить, предупредил Его Величество о его скором приезде. Сам он был лично извещен нарочным курьером, что Кардинал вез с собой такое, чем он мог бы поразить своих врагов. Шавиньи, водивший [153] дружбу с месье де Фабером, сказал ему об этом по секрету, а он, в свою очередь принадлежавший к друзьям Маршала де Шомберга, поделился с ним, дабы тот вовремя отказался от дружбы с человеком, кого он считал погибшим. Он знал о близости, с определенного времени связывавшей Маршала с Месье де Сенмаром, и не сомневался в том, что его мнение должно быть ему приятно, потому что оставалось еще достаточно времени, чтобы им воспользоваться.

Маршал был весьма изумлен, когда услышал подобные слова от Фабера, кто был человеком искренним и неспособным никому подать повод опасаться его. Он в тот же момент послал за Фонтрайем и высказал ему все, что только сейчас узнал сам. Фонтрай ответил ему, что все, высказанное им, нисколько его не удивляет; он уже заподозрил о каком-то готовящемся важном деле, поскольку вот уже несколько дней, как Король не обращается больше к Сенмару с той доброй миной, с какой он обычно это делал. Он говорил правду, но не думал, что причиной этому было то, о чем ему сказал Маршал. Все горе его Величества происходило лишь от разгрома Маршала де Граммона. Однако, так как все наводит страх, когда чувствуют себя виновными, не потребовалось больше ни одному, ни другому для принятия собственных мер. Маршал под предлогом болезни покинул армию, чтобы наблюдать издалека, на кого обрушится гроза, и

Фонтрай сделал то же самое, попытавшись прежде убедить Сенмара не дожидаться громовых раскатов.

Смерть фаворита

Кардинал, прибыв под Перпиньян, едва только посвятил Короля в то, что он открыл, как Его Величество приказал арестовать Сенмара. Был отправлен приказ арестовать Месье де Буйона. Месье де Кувонж, кому он был поручен Графом дю Плесси, командовавшим в этой стране войсками Короля, весьма ловко его исполнил. Месье де Ту был тоже арестован и препровожден в Лион вместе с Месье де Сенмаром; их процесс был начат и завершен. Они [154] оба были приговорены к отсечению головы, один за желание впустить врагов в Королевство, другой за осведомленность в этом деле и за сокрытие его. Что же касается Месье де Буйона, то, конечно, толковали о том, что надо бы с ним поступить точно так же, но поскольку у него было, чем выкупить свою жизнь, он расквитался за все, отдав свои владения в Седане. Фабер, кто обхаживал Кардинала в течение нескольких лет, получил в вознаграждение это наместничество, несмотря на то, что его домогалось множество Офицеров, более значительных, чем он. [155]

Смерть Кардинала и конец страсти

Кардинал умер, да здравствует Кардинал

Кардинал ненадолго пережил этот триумф; геморрой по-прежнему продолжал причинять ему тысячу мучений, и вскоре он не смог больше ни сидеть, ни даже оставаться в одном положении. Итак, он был вынужден приказать Швейцарцам увезти его из Русийона, и они вынесли его оттуда на собственных плечах. Во все места, где он располагался по дороге, его вносили через окна, расширенные при надобности, дабы было удобнее его туда пронести. Так его доставили до Роана, где поместили на судно до Бриара; потом от Бриара Швейцарцы вновь понесли его, как делали это и раньше; и, прибыв таким образом в свой Дворец, он там и умер через два месяца и двадцать два дня после того, как послал на смерть Сенмара и де Ту. Перпиньян сдался Маршалу де ла Мейере как раз тогда, как Король въезжал в Париж, и затем он взял Сале, когда наш полк возвращался оттуда ко Двору. Я увидел в первый раз тогда, под [156] Перпиньяном, Кардинала Мазарини, для кого Король добивался пурпурной мантии два года назад, но кто получил кардинальскую шапочку только в момент этой осады. Его состояние было столь колоссально, что богатства многих государей никогда даже и не приближались к нему; также никогда не существовало человека, кто так бы кичился, как он, тем постом, куда он был вскоре помещен. Однако достойно удивления, как он мог сопротивляться огромному числу врагов и завистников, каких он немедленно нажил своим высокомерным поведением; но еще более удивительно, мне кажется, как народ, всегда любивший свободу так, как наш, мог терпеть, оказавшись жертвой его скупости. Король ввел его в свой Совет после нескольких услуг, оказанных им в Италии; а так как он обладал гибким разумом, Кардинал де Ришелье, кого он весьма заботливо обхаживал, вскоре начал употреблять его в делах большой важности. Король поручил ему овладеть городом Седан, и, утвердив там Фабера, он вернулся ко Двору, где почти сразу после его приезда последовала смерть первого Министра.

В этот момент подумали, что так как Король его вовсе не любил, его семейство недолго будет оставаться в том блеске, до какого он его возвысил. Но Его Величество, предвидя, что если он пойдет на какой-нибудь подобный шаг, это слишком явно засвидетельствует, как частенько и поговаривали в мире, что

Министр всегда держал его под опекой, и лишь его смерть позволила ему из-под нее выйти, потому он не только поддержал это семейство в его славе, но пожаловал ему еще и новые почести. Он повелел принять в Парламент сына Маршала де Брезе в качестве Герцога и Пэра, что совсем не понравилось Королеве (ее всегда обижали в течение его Министерства), и она надеялась теперь, когда, наконец, глаза Кардинала были закрыты, Его Величество отомстит за все, что тот ей сделал. Она тем более этому верила, что, казалось, мстя за нее, Его Величество одновременно отомстит за себя самого, за [157] множество случаев, когда, можно сказать, пренебрегали почтением по отношению к нему, как при тех стычках, о каких я говорил.

Однако, хотя Король придерживался такой политики, это не помешало ему выпустить на свободу некоторое количество заключенных, кого Министр приказал арестовать под разными предлогами. Среди них были Маршал де Бассомпьер и Граф де Кармен; они были заперты в Бастилии на протяжении десяти лет и никогда бы не увидели света дня, если бы Кардинал был жив. Его Величество желал свалить на него вину за их заточение и избавиться этим от народной ненависти; но получилось так, что, желая обрести репутацию Принца, преисполненного добродетелями, поскольку он возвращал свободу несчастным, потерявшим ее исключительно потому, что они осмелились не угодить Министру, он окончательно убедил весь свет, если в этом была нужда, что он никогда не был в силах править своим Государством сам. В самом деле, если бы Его Величество обладал всем своим могуществом, никогда бы он не потерпел, чтобы над ними устраивали такие насилия. Именно этого хотели все его добрые подданные, много выстрадавшие при Кардинале, но так ничего и не сумевшие добиться, пока тот был жив. Что было в этом невероятного, так это то, что Министр частенько добавлял насмешку к насилию по отношению к тем, кого он принимался притеснять.

Мадам де Сен-Люк, сестра Маршала де Бассомпьера, несколько раз ходила к Кардиналу, дабы умолить его соблаговолить облегчить страдания ее брата; он притворился, так как у нее было не меньше разума, чем у него, будто он первый этим интересуется, и когда она ему сказала, что ее брат заболел, он спросил у нее, — может быть, тот просто соскучился. Это был забавный вопрос о человеке, десять лет запертом в четырех стенах, и особенно со стороны человека столь же светского, каким был и сам Маршал. Потому Месье де Сен-Люк и все те, кто сочувствовал несчастью заключенного, не желали [158] больше, чтобы она возвращалась к Его Преосвященству, найдя, что еще

труднее снести подобное оскорбление, чем насилие, совершенное над Маршалом.

Настырный ревнивец

Едва я вернулся в Париж, как хозяйка кабаре представила мне множество доказательств необычайной изворотливости, чтобы видеться со мной вопреки ее мужу; она назначала мне разнообразнейшие свидания, то у одной из своих подруг, то у другой, и так далее.

Бедный ревнивец всегда был достаточно дурного мнения о своей жене, а так как они приняли решение не спать больше вместе, это вносило еще большую неприязнь между ними; потому он не думал ни о чем ином, как застать ее на месте преступления, дабы получить возможность ее постричь и засадить в какой-нибудь монастырь. Вот почему он сделал вид, будто коммерция призывает его в Бургундию, и приготовил свои дела, как если бы действительно ему нужно было туда уезжать. Итак, пока мы думали, что он собирается ехать, он размышлял только о том, как бы ему остаться в Париже и самому наблюдать за всеми нашими передвижениями. Он разыграл, однако, подготовку к своему вояжу с большой заботой, дабы лучше нас обмануть; он смазал сапоги, уложил чемодан, купил коня и сговорился с тремя или четырьмя виноторговцами, чтобы путешествовать в компании. Его жена, кто была свидетельницей всего этого, сказала мне об этом во время одного свидания.

Стояло еще начало Октября месяца, но погода была такой теплой в том году, что весь урожай винограда уже собрали. Повсюду осень была столь хороша, как могло бы быть само лето; таким образом, я и сейчас еще припоминаю, будто это было вчера, как в день, когда хозяин кабаре притворился, что уезжает, настолько яростно припекало, что едва ли было жарче в Сен-Жане. Вечера в это время года обычно становятся свежими; не так было тогда, а впрочем, мы все это увидим из того, что я теперь [159] расскажу. В этот вечер ярко сияла луна, и можно было подумать, будто вернулось лето, столько людей вышло на прогулку. Как бы там ни было, так как сумерки более благоприятны для любовников, чем свет, это лунное сияние меня вовсе бы не устроило, если бы я должен был чего-то опасаться; но, далекий от всякого беспокойства, я явился вечером к одной приятельнице моей любовницы, где мне нужно было взять ключ от ее комнаты, дабы я смог войти прежде, чем она туда удалится. Эта приятельница успела сходить навестить ее час назад и усадила меня ужинать с ней, как они вместе условились; я вышел

из ее дома около девяти часов, чтобы отправиться на мое свидание.

Муж стоял на страже по другую сторону улицы, напротив двери. Он до глаз закутался в пунцовый плащ, специально купленный им на толкучке, чтобы лучше замаскироваться. Я его, конечно же, заметил, но так как полагал, что он уже более, чем в десяти лье отсюда, и этот плащ настолько его преображал, что потребовалось бы быть колдуном, чтобы его узнать, мне и в голову не могло придти, что это был он. Итак, прямо у него на глазах я вошел на подъездную дорогу к его дому, и так как он меня узнал гораздо лучше, чем я его, он страшно обрадовался увидеть вблизи столь долгожданный момент, когда он сможет отомстить своей жене и мне; поскольку он решился сыграть со мной злую шутку, рискнув всем, что могло бы с ним за это произойти. Он намеревался, по меньшей мере, искалечить меня, если не убить, как я узнал потом от его гарсона, пообещавшего поддержать его в исполнении всех задуманных им планов.

Войдя в дом, я поднялся как можно тише в комнату, где у меня было назначено свидание. Она располагалась на третьем этаже, потому что этот человек оставил второй этаж для важных гостей, какие могли бы к нему зайти. Обычно комната была довольно хорошо обставлена, но, не желая, чтобы правосудие наложило арест там, где он нанесет свой удар, [160] хозяин кабаре все вывез накануне, причем никто, кроме его гарсона, не был в курсе этого дела. Он перевез мебель к кузену гарсона, кто был одним из его постояльцев и кому они оба доверили секрет.

Жаркое дело

Я открыл дверь комнаты так же тихо, как и поднимался. Я все-таки затворил ее за собой и застыл без движения, как от страха наделать шума, его могли бы услышать снизу, так и для того, чтобы самому не упустить, когда будет подниматься хозяйка. Мы договорились, что я открою эту дверь, как только она в нее поскребется, и мне нужно было стоять совсем рядом, чтобы не спутать ее с людьми, случайно забредшими сюда. Время показалось мне достаточно долгим, прежде чем я услышал, как она поднимается; просто-напросто она хотела понаблюдать, как все ее люди удалятся, перед тем, как идти ложиться. Между мужем и гарсоном было условлено, — как только я прибуду, тот тотчас явится на подъездную дорогу к дому, или же мэтр пойдет его искать, чтобы обменяться новостями. Это было исполнено точно по уговору, причем жена ничего не смогла заподозрить. Хозяин кабаре сказал гарсону держаться наготове — зверь

попался в сети. Вот так он говорил обо мне, и он, без сомнения, верил, что моя смерть так же близка, как смерть бедного кабана или какого-нибудь другого загнанного животного. Как бы там ни было, его жена удалилась, проследив за уходом всех ее людей, поскреблась в дверь комнаты, и я поторопился ей открыть. Моментом позже мы улеглись в постель и находились там добрые полчаса, когда гарсон открыл входную дверь своему мэтру. Тот вооружился пистолетом и кинжалом, чтобы на сей раз меня не упустить.

Выпавший из окна

Его жена и я были весьма далеки от мысли о том, что сейчас с нами случится, и мы задумывались лишь, как бы поприятнее провести время, когда этот муж, втихомолку поднявшийся со своим гарсоном, захотел открыть нашу дверь специально заказанным им дубликатом ключа. Мы были крайне удивлены, когда услышали эту возню, но так как, к счастью, [161] я задвинул засов, у меня было время принять решение, подсказанное мне благоразумием, а именно — бежать. Но, когда я хотел одеться и кинуться во двор торговца жареным мясом, расположенный под окнами соседнего с комнатой кабинета, я оказался в такой спешке, что не успел натянуть ни мой камзол, ни штаны. Хозяин кабаре, кто был не менее предусмотрительным человеком, чем я, захватил с собой железный лом, чтобы разбить дверь, если она окажет ему хоть малейшее сопротивление, и так как дверь эта не была особенно крепка, он вскоре расколол ее надвое. Я был мудр — с первым же нанесенным им ударом я распахнул окно кабинета и выбросился на двор, где и свалился человек на двадцать подмастерий торговца, сидевших один подле другого. Они воспользовались прекрасным лунным светом, чтобы наворовать себе мяса, и вовсе и не думали обо мне. Так как я был совсем голый под рубахой, я позволяю поразмышлять, насколько они были поражены, увидев меня в подобном одеянии. Они меня знали, поскольку с тех пор, как я выиграл восемьдесят пистолей, я постоянно продолжал резвиться в прихожей Короля и не был там слишком несчастлив, так что эти легко нажитые деньги я и тратил так же легко, не отказывая себе в удовольствиях — торговцы жареным мясом и хозяева кабаре почувствовали это настолько же хорошо, как и торговцы перьями, тканями и лентами. И пока мне было позволено видеться с моей любовницей у нее, и даже после этого, я всегда был клиентом этого торговца жареным мясом, поскольку мне казалось, что у него имелось лучшее мясо, чем у других.

Эти подмастерья, наслышанные о моей интрижке с женой их соседа, потому что после устроенного им разгрома и не могло быть иначе, прекрасно догадались тогда о том, что со мной приключилось. Их хозяин и хозяйка, вовсе не любившие его по причине его крайней скупости и из-за того, что он был мало сговорчив с теми, с кем имел дело, дали мне [162] башмаки, плащ и шляпу. Они с удовольствием дали бы мне и целый костюм, если бы у меня было время его натянуть, но так как они боялись, как бы ревнивец не явился меня искать к ним, когда он увидит, что я не мог спастись в другом месте, они мне посоветовали бежать, не теряя ни минуты. Я счел, что их совет был совсем недурен, и, последовав ему, предстал перед тем же Комиссаром, кто отвел его в тюрьму, когда он мне устроил свою первую свару. Я, конечно, поостерегся рассказывать ему все, как оно было на самом деле, потому что этим я только бы вызвал смех над самим собой. Если правда, что нет на свете города, где безнаказанно плодится столько рогоносцев, как в Париже, не меньшая истина то, что это злоупотребление карается в определенных случаях, вроде моего. По крайней мере, если со мной, и не случилось большой беды, все же моя любовница, чью репутацию я всегда желал уберечь, не отделалась столь дешево.

Доходы полиции

Итак, собравшись с духом рассказать ему ложь вместо правды, я начал говорить, якобы занимался игрой все послеполуденное время, и, задержавшись там до десяти часов вечера, так проголодался, выходя оттуда, что зашел в первое попавшееся мне на пути кабаре, попросил что-нибудь мне приготовить, но, под предлогом позднего времени, получил отказ; тогда я подумал, не направиться ли мне в знакомые места, где будут более милостивы со мной, и в этой надежде я явился к упомянутому хозяину кабаре; он пригласил меня подняться в маленькую комнатку рядом с его собственной, куда, как он мне сказал, он распорядится принести мне поесть; какой-то момент спустя он явился туда сам, делая вид, будто желает идти ложиться спать, и попросил меня пройти в его комнату в ожидании, пока мой ужин будет готов; я так и сделал, не подумав о том, что может со мной случиться; но всего лишь через минуту, вместо обещанного мне ужина, я увидел, как он входит в комнату в сопровождении двух гарсонов и двух бретеров, их я совсем не знал; они все впятером [164] набросились на меня, ободрали меня догола, за исключением рубахи, и хозяин кабаре сказал мне вверить себя Богу, потому что он собирается заколоть меня

кинжалом; я попросил его позволения удалиться в угол, дабы свершить там мою молитву; он мне это позволил; я вошел в кабинет, зная, что там имеется окно, выходящее на двор торговца жареным мясом, и выбросился в него, предпочитая лучше риск сломать себе шею, чем быть так подло зарезанным. Я добавил, что не знаю, почему хозяин кабаре настолько хотел меня убить, разве только потому, что я рассказал ему, как накануне выиграл шестьдесят луидоров в прихожей Короля и показал их ему в моем кошельке.

Комиссар, знавший, что этот муж имел добрые резоны не желать мне ничего хорошего, не поверил всему, что я ему наговорил, кроме как под условием проверки. Он подумал скорее, что все, чуть было не произошедшее со мной, получилось из-за ревности; и сколько бы я ему ни повторял, что тот, без сомнения, позарился на мои деньги, я не произвел большого впечатления на его рассудок. Это было правдой, как я уже сказал, я действительно выиграл шестьдесят луидоров накануне, но вовсе не было правдой, будто я их ему показывал, или что вообще они были в моем кошельке — я их оставил дома по причине множества воров, царствовавших в Париже в те же времена. Поговаривали, что Королевский Судья по уголовным делам безнаказанно покровительствовал ворам за определенное вознаграждение, и я не знаю, была ли это правда или нет, но отлично знаю, что, начиная с момента, когда закрывались лавки, небезопасно было высовывать нос на улицу. В эту эпоху не существовало еще ни Лейтенанта Полиции, ни ночных караулов, а те, кто должны были заботиться о соблюдении публичной безопасности, обвинялись так же, как и Королевский Судья по уголовным делам, в том, что получали свою часть от совершаемых краж, отговариваясь, словно бы они совершенно не знали, кто их совершал. [166]

Похвальное слово Месье Кольберу

Добрым порядком, царящим сегодня, мы обязаны исключительно отеческим заботам Короля о своем народе и бдительности великого Министра, кто был смертельно ненавидим до настоящего времени, хотя, если внимательно изучить его поведение, то можно увидеть, что не существовало еще в Королевстве человека, кто трудился бы с такой пользой ради его величия. Именно ему мы обязаны устройством множества мануфактур, о каких никогда и не думали прежде. Доброе состояние Финансов, могущество Флота и тысяча других прекрасных вещей, перечислять их было бы слишком долго, также

являются плодами его великого гения.

Муж рогат и побит

Комиссар был не прочь, чтобы я подал жалобу. Он нашел хозяина кабаре грубияном, когда он имел с ним дело, полагал, что тот был недостаточно наказан, и очень хотел, чтобы на этот раз тот бы так дешево не отделался. Он мне дал разрешение уведомить против него, и, не имея для предъявления других свидетелей, кроме подмастерий торговца, кого я, наверное, помял, свалившись на них, Комиссар зарегистрировал их показания. Они ему сказали, что я, должно быть, весьма спешил выброситься с третьего этажа; я упал на двух их товарищей, и они от этого получили ранения, и эти последние требовали возмещения убытков от хозяина кабаре.

Я не знаю, заслуживали ли их показания, чтобы возбудили расследование против него, я даже в этом сильно сомневаюсь. Тем не менее, либо Комиссар выкинул здесь какую-то штуку из своего ремесла, либо деньги, какие я щедро рассыпал, лишь бы не быть уличенным во лжи, произвели благоприятное впечатление на Королевского Судью по уголовным делам, но я получил от него все, чего только мог желать. В тот же день, во исполнение врученного мне декрета, я засадил моего человека в тюрьму Шатле. Он был страшно удивлен, когда оказался там, и не смог помешать себе обвинить в несправедливости того, кто выпускал против него декреты; едва его слова были переданы этому судье, как тот [167] распорядился упечь его в карцер. Ему не позволяли там ни с кем разговаривать, а когда тюремщикам был отдан приказ еще хуже обращаться с ним, он начал понимать, что лучше бы ему молча страдать от положения рогоносца, чем выставлять себя на такие унижения ради желания на это пожаловаться.

Жена вовсе не была огорчена его злосчастьем, потому что, не случись этого, он всерьез намеревался ее постричь. Он уже запер ее в комнате, где рассчитывал держать ее на хлебе и воде в ожидании, пока он не добьется приговора, позволяющего поместить ее либо в монастырь Магдалины, либо в другой подобный дом; но увидев, как стражники уводили в тюрьму не только его самого, но еще и его гарсона, она заговорила иным языком. Поначалу она кинулась ему в ноги, потому что была застигнута на месте преступления, но увидев, как его уводят, она быстро сообразила, что я где-то принял свои меры, и кто-то так прекрасно повернул дело, что явный рогоносец, каким он и был, он еще имел физиономию побитого, и она тоже подала жалобу против него. Правда, она действовала в такой манере только

потому, что я ей велел сказать, как она должна поступать, если хочет спасти свою репутацию. Ее жалоба достаточно совпадала с моей. В ней говорилось, что он имел намерение меня изувечить, и именно такой ужин он мне готовил, вместо того, о каком я его попросил, войдя к нему. Она обвинила его также и в том, что сделал он это из ревности и вследствие той несчастной страсти, что привела его уже один раз в тюрьму.

Эта женщина, едва получив свободу, была необычайно поражена, увидев свою первую комнату без всякой мебели. Хорошенько осведомившись, мы открыли, что и это тоже сделал он; мы даже нашли место, куда он велел перенести всю мебель. Было признано, что он заранее задумал свой удар, поскольку постарался поставить мебель в укрытие, и я потихоньку передал двум его сообщникам, что их ждет веревка, если они не найдут средства спастись. Один [168] был виновнее другого, поскольку он во всем помогал своему мэтру; но, хотя его товарищ был не только невиновен, но даже не знал, почему его арестовали, дрожал он от этого ничуть не меньше. На него напал жуткий страх, когда ему объявили, что его обвиняют в сокрытии мебели и в желании меня ограбить. Он знал, что в Париже совершается множество несправедливостей, и приговаривают не меньше невиновных, чем спасают преступников.

Нагоняй от Месье де Тревиля

Муж написал письмо родственнику Месье де Тревиля, где он изложил ему свое несчастье. Этот Магистрат, бравый человек, был тронут искренней интонацией, исходившей от его письма. Он показал его Месье де Тревилю, сказав ему, — поскольку у него больше влияния на меня, хотя бы потому, что я был из его страны, ему надо помешать мне вносить еще больший беспорядок в это семейство; в случае, если я проявлю неповиновение к его внушениям, ему самому придется пригрозить мне употребить власть, дабы отправить меня назад к моему отцу. Месье де Тревиль, питавший большое уважение к нему, пообещал сделать все, что тот пожелает, и он тотчас послал сказать Атосу привести меня к нему на следующий день, прямо к его утреннему туалету. Я туда явился, не зная, чего он от меня хочет, и даже не догадываясь ни о чем. Когда я прибыл, Месье де Тревиль был еще не совсем одет, но, покончив с этим через минуту, сказал мне пройти вместе с ним в его кабинет, у него есть о чем со мной поговорить.

Когда мы там расположились, он спросил у меня, с каким намерением я явился в Париж и не было ли моей целью добиться

здесь успеха; он еще не думал осведомляться об этом у меня, но получив два дня назад письма из страны, которыми я ему был рекомендован, он не хотел бы дольше медлить с этим вопросом. Я отвесил ему глубокий поклон, поверив, что он говорит со мной чистосердечно, и ответив ему, что никогда у меня не было другой заботы с тех пор, как я покинул страну, кроме той, о какой он мне сказал; я был страшно поражен, когда он [169] повернул ко мне медаль другой стороной как раз тогда, когда я меньше всего этого ждал. Ибо он мне заметил, что я должен бы лучше полагаться на него и не бояться наивно высказать ему мою мысль. Тогда я спросил его, что он этим хотел сказать, и попытался убедить его, что не было у меня никогда другой мысли, кроме той, какую я ему засвидетельствовал, и было бы совсем бесполезно желать требовать от меня другого объяснения. Месье де Тревиль ответил мне с холодностью, покачивая головой, чтобы еще лучше показать, насколько он не верит моим словам, — если у меня больше нет доверия к нему, то и мне не следует ожидать от него хотя бы единой услуги; он прежде всего любит откровенность, и когда он видит, что кому-то ее недостает, то ставит ни во что все другие качества, какими такой человек мог бы обладать помимо нее.

Я предпочел бы, чтобы он говорил со мной по-гречески, чем таким образом, потому что и тогда я понял бы его не лучше. Он спросил меня, какую дорогу я выбирал до сих пор, чтобы добиться успеха, и не имел ли он резона верить, что я ему вру, когда я его заверял, будто явился в Париж только с этой целью; разве я когда-нибудь слышал, что ее добиваются, связываясь с хозяйкой кабаре, как сделал я сразу же по моем прибытии; он не отрицает, что добрые милости какой-нибудь Дамы лишь придают блеск достоинствам молодого человека; но надо, чтобы Дама была иного ранга, чем та, с какой я виделся; интрижка с благородной женщиной считалась бы галантностью, в то же время, как та, что я завел с этой женщиной, зачтется мне, как дебош и подлость.

Я нашел несправедливость в том, что он мне говорил; в конце концов, порох всегда порох, и ничуть не более позволено благородной Даме заниматься любовью, чем женщине из простонародья; но так как обычай дозволял ему эти упреки, я почувствовал себя столь оглушенным, что не имел сил ответить ему хоть единым словом. Он воспользовался этим [170] моментом, чтобы спросить меня, на что я решусь — покинуть эту женщину или же вовсе отказаться от моего успеха; у него не было другого выбора, и если я не сделаю этого добровольно, он будет вынужден поговорить об этом с Королем из страха, как бы я не

обесчестил мою страну жизнью изнеженной и недостойной человека моего происхождения; может быть, я еще не знаю, но все мои соотечественники, прослышав о моей связи, насмехаются надо мной.

Я был тронут этими упреками до такой степени, что мне просто невозможно передать. Я потупил глаза, как человек, взятый с поличным, и Месье де Тревиль, поверив, что наполовину меня убедил, окончательно привел меня в смущение, набросав пикантные черты всех тех людей, кто вели такую же жизнь, какую вел и я до этих пор. Он обрадовался, доведя меня до такого состояния, какого он и хотел, и воспользовался им, спросив меня, не желаю ли я пообещать ему никогда больше не видеться с этой женщиной. Какой-то момент я был в нерешительности, поскольку знал, что для человека чести дать слово — всегда означает его сдержать. Месье де Тревиль, видя мои колебания, нисколько не был удивлен, потому как знал, что победа над самим собой в такого сорта обстоятельствах никогда не дается без усилий. Итак, сменяя убеждения на укоры, он попытался всеми способами окончательно вытащить меня из той грязи, куда я попал. Наконец, переломив себя, как только смелый и решительный человек может над собой это сделать, я сказал ему тоном, чудесно ему понравившимся, что со всем этим разом покончено, и я буду признателен ему всю мою жизнь, так как он увел меня от пропасти, куда я так опрометчиво устремился; я никогда не увижу эту женщину и согласен всю мою жизнь слыть за подлеца, если окажется, что я изменил данному ему слову.

Отличное письмо разрыва

Он был рад тому, что я причинил себе эту боль, потому как он вывел отсюда, что мои намерения были добрыми. Однако, так как следовало сделать две [171] вещи, первое — вытащить ее мужа из тюрьмы, второе — опять свести их вместе, да и попытаться утешить ее в том крахе, в какой я ее ввел, я оставил Месье де Тревилю и его родственнику две первых заботы, а сам взялся лишь за третью. Я написал этой женщине, что имел несчастье вынуждать ее губить свою репутацию дважды, и не хочу подвергаться в третий раз тому же самому; Небо, сохранившее ее, словно чудом, от того, что должно было с ней случиться, может быть, наконец устанет приходить ей на помощь, если увидит, как мы злоупотребляем его расположением; я ей советовал наладить отношения с ее мужем, если, конечно, он того же хочет, а родственник Месье де Тревиля, уже примирявший их однажды, хочет проявить милосердие и потрудиться над этим еще и во

второй раз; все, что я могу сделать в настоящее время для доказательства моего истинного уважения к ней — это пожелать, чтобы она никогда не разделяла своих милостей с кем-то другим, кроме ее мужа; женщина никогда не бывает более уважаемой, чем когда она бывает мудра, и она может рассчитывать, что я всегда буду тем большим ее другом, поскольку не желаю более быть ее любовником исключительно ради ее интересов, никаким образом не беря в расчет мои собственные.

Я приложил к этому письму половину моих денег в свидетельство того, что если она пожелала отдать мне свое сердце, то и я тоже хотел поделиться с ней всем, что было у меня самого ценного. Она была страшно поражена получением этого письма, и, отправив назад мои деньги, ответила мне в столь нежных и трогательных выражениях, что, доведись мне еще раз давать слово Месье де Тревилю, не знаю, захотел бы ли я это сделать. Но, наконец, оказавшись связанным собственным обещанием, потому что частенько это счастье — не осмеливаться делать то, что подсказывает нам наша слабость, я твердо противостоял бесконечным чувствам, представлявшим мне, какая это жестокость к себе самому так [172] обращаться с этой женщиной. Я ей ответил, тем не менее, в выражениях столь же достойных, как и у нее, хотя они и не были такими же страстными. Но так как ничто не могло ей понравиться, если только я не возвращу ей моего сердца, она вновь вернула мне деньги, которые я счел весьма кстати предложить ей снова. Я это сделал, дабы показать ей, что не испытываю недостатка ни в любви, ни в признательности, но важные причины вынуждают меня забрать у нее мое сердце.

Она примирилась со своим мужем, кого родственник Месье де Тревиля во второй раз освободил из тюрьмы, но либо этот бедняга впал в такое горе от обращения с ним его жены, либо он был поражен болезнью апатии, но он умер, протянув пять или шесть месяцев. Его вдова сделала тогда все возможное, лишь бы вновь со мной свидеться, видимо, льстя себя надеждой, поскольку она была Демуазель точно так же, как я был Дворянином, и не было у нас состояния ни у одной, ни у другого, — может быть, я буду достаточным сумасшедшим и женюсь на ней — я прекрасно знал, однако, что нет, я так ей и сказал на ухо, едва она меня об этом спросила. Тем не менее, я не мог помешать ей верить во что угодно, и она меня преследовала до того момента, когда я был принужден заявить ей, что не только она никогда не будет моей женой, но я еще и намерен не видеться с ней больше всю мою жизнь.

Любовь оборачивается ненавистью

После смерти мужа она опять взялась за свое первое ремесло, сдачу внаем меблированных комнат; она сняла дом на улице Старых Августинцев, и, словно забыв все мои жестокости, предложила мне снова поселиться вместе с ней. Это было весьма соблазнительно для человека, не страдавшего от избытка денег, да вдобавок еще и достаточно влюбленного, но, хорошенько над этим поразмыслив, я не захотел ничего такого делать. Это вывело ее из себя, ее любовь обернулась яростью; теперь не существовало ничего такого, чего бы она не сделала, чтобы отомстить за презрение, какое, она в это [173] поверила, я испытывал к ней. Когда она проживала на улице Монмартр, некий Капитан швейцарцев, по имени Страатман, кто сделался завсегдатаем ее дома по причине доброго вина, имевшегося в ее подвале, удовлетворившись на другой манер, начал ей рассказывать, найдя ее прелестной, то, чем она была на самом деле. Пока мы оставались добрыми друзьями, она не желала его слушать, но увидев, наконец, по тому, как я с ней обращался, что не на что больше надеяться со мной, она начала менять свое поведение по отношению к нему. Он тут же переехал к ней, дабы продолжать за ней ухаживать более настойчиво, и, делаясь все более влюбленным день ото дня, он сказал ей, увидев, что она ни в чем не хотела ему уступить, что он скорее решится жениться на ней, чем не иметь возможности удовлетворить свою страсть. Это было большим преимуществом для нее, он имел достойную должность, приносившую ему крупный доход; потому она поймала бы его на слове в тот же час, если бы не боялась, что, когда пройдет его фантазия, он не стал бы дурно с ней обходиться. Она полагала невозможным, чтобы он не слышал о нашей связи, и опасалась, как бы однажды он ее в этом не упрекнул. Итак, страх перед будущим заставлял ее пренебрегать настоящим; она ему откровенно сказала, что слухи не щадят никого, и ее муж имел слабость приревновать ее ко мне; она не желала подвергаться этому во втором браке, из страха, как бы второй муж не устраивал ей таких же сцен, как и первый.

Плата за притупление

Швейцарец, кто не был слишком разборчив по этому пункту, ответил ей, что если всего лишь такая малость мешает ей быть его женой, это не должно ее останавливать; его слабым местом было как раз не верить всему тому, что ему говорили; он, конечно бы, не потерпел в случае, когда бы женился на девице,

констатировать, что она была женщиной; но у него не было никаких опасений сделаться ревнивцем, особенно по отношению к женщине, уже побывавшей замужем, поскольку найти ее вдовой одного [174] мужчины или двух означало примерно одно и то же, и не было бы ничего особенного, когда бы даже, вместо двух мужей, она бы имела дюжину. Однако, так как эта женщина была вольна пользоваться им, чтобы отомстить мне, она ему сказала, — если его не интересует то, что она ему говорит, то он даже не ровня ей, поскольку она не выйдет снова замуж до того, как я буду мертв, потому что она не могла выносить вида человека, явившегося причиной того, что ее честь была скомпрометирована.

Двое на одного

Мне хотелось бы верить, что Швейцарец был смел, когда дело касалось его долга, но не найдя, отчего он должен рисковать собственной жизнью по фантазии своей любовницы, он предложил ей дать Швейцарцев из своей роты, чтобы она делала с ними все, что захочет. Она пообещала выйти за него замуж на этом условии, и ее любовник дал ей двух человек, отрекомендовав их, как самых бравых из Полка Гвардейцев; они явились на улицу, где я проживал, дабы нанести мне оскорбление, когда они увидят меня, выходящим из дома. Они не замешкали с исполнением; заметив меня издалека, они пошли мне навстречу, разыгрывая пьяниц. Я хотел их обойти, нимало не догадываясь об их намерениях, но, нарочно натолкнувшись на меня, они едва не опрокинули меня на землю. Так как я приписал это опьянению, то удовлетворился, сказав им несколько слов, чтобы заставить их от меня удалиться. Тогда они снова перешли в нападение, и тут я сразу же сообразил, что их удар был подготовлен заранее; я выхватил шпагу, чтобы помешать им приблизиться еще больше, и тотчас же они взяли в руки свои шпаги, по-прежнему играя пьяных. Я был немного удивлен их манерой драться, я не был к ней привычен. Уверен, тем не менее, что если бы я имел дело с одним, я бы быстро свел с ним счеты, но так как их было двое против меня, я прислонился спиной к стене из страха, как бы один из них не атаковал меня сзади, пока другой будет нападать спереди.

В конце концов, я не знаю, что бы из всего этого [175] вышло, потому что один человек перед двумя врагами всегда имеет одного лишнего, когда Горожане избавили меня от этой опасности, напав на них, вооруженные длинными палками, чтобы доставать их с более дальнего расстояния. Они обрушили на них

несколько ударов по плечам, и два Швейцарца, видя себя столь славно атакованными, развернулись против них, оставив меня в покое. Те, кто на них напали, не стали затруднять себя их арестом и позволили им обратиться в бегство. Однако я обнаружил, что был ранен ударом шпаги, нанесенным одним из двоих мне в правое плечо; к счастью для меня, перевязь отразила большую часть удара, и моя рана оказалась легкой; я пролежал в постели всего лишь два или три дня. Швейцарец тотчас потребовал своего вознаграждения у Дамы, пообещав ей, что его солдаты вскоре завершат начатое ими дело. Так как она видела его столь настойчивым, то подумала, что он заслужил быть вознагражденным — она вышла за него замуж в соответствии с его желанием; но когда он получил ее в качестве собственной жены, он рассудил, что было бы весьма некстати обременять себя убийством ради любви к ней. Вот как закончились первые любовные похождения, какие я имел в Париже; я был счастлив тем, что удержался здесь, а все произошедшее со мной сделало меня более мудрым.

ЧАСТЬ 5
Баталия при Рокруа и первые шаги Мазарини

Король, с трудом выносивший влияние, какое Кардинал де Ришелье приобрел над ним, не желая претерпевать те же огорчения при другом Министре, вовсе не хотел замещать его кем бы то ни было, пока будет жив. Все были этим удивлены, потому что он не казался более способным самому заниматься делами; кроме того, он не отличался крепким здоровьем. Но он подумал, что посредством учрежденного им Совета справится со всеми вещами; главное, если Государственные Секретари пожелают исполнить их долг. Среди них было двое достаточно способных, а именно Месье Денуайе и Месье де Шавиньи, но [178] что касается двух других, то они немногого стоили, и не следовало особенно рассчитывать на них. До сих пор они подражали примеру Короля, сваливая на своих подчиненных все дела, что были у них на руках, поскольку видели, как Король проделывал то же самое по отношению к своему Министру.

Преемники Кардинала

Как только Кардинал де Ришелье навеки закрыл глаза, Шавиньи, кто был его ставленником и кто, в этом качестве, разделял все его страсти, пока тот был жив, полагая, что нажил себе множество врагов, постарался добиться их расположения поведением, совершенно противоположным тому, какое он проявлял по их поводу. Королева особенно его ненавидела, потому что он всегда следовал примеру своего Мэтра, кто имел мало почтения к ней, пока держал в своих руках высшую власть. Претендующие на знание источника такого неуважения говорят, что раньше он питал некие чувства к этой Принцессе, и когда она оказалась слишком мудрой, чтобы ответить на них в той манере, в какой, может быть, ему этого хотелось, он начал преследовать ее, дабы наказать за то презрение, какое она ему выказала. Я не сумею сказать, было ли это правдой или нет, потому что, хотя этот слух столь распрекрасно распространился в мире, что его теперь считают абсолютной истиной, достаточно известно, до чего порой доходит ненависть, какую обычно испытывают к Министрам, чтобы не доверять полностью всему тому, что может быть опубликовано им в ущерб. Не существует ничего, что бы злобно не изобреталось для их поношения, и, кажется, достаточно о них позлословить, чтобы заставить поверить во все, что о них говорят. Итак, не утверждая и не опровергая этого обвинения, я буду доволен сказать, что, должно быть, Королева была сильно раздражена против всех тех, кто помогал Кардиналу ее преследовать; и Шавиньи, знавший, что она должна бы обвинять его еще больше, чем кого-либо другого, учитывая, какое участие он имел в советах Его Преосвященства, сделал все, что только мог, лишь бы эта Принцесса забыла, [179] из-за чего она не желала ему добра. Если бы речь шла только о том, как бы обезоружить ее гнев, он, может быть, в этом бы и преуспел, поскольку Принцесса была добра, легко забывала наносимые ей оскорбления; но, к несчастью для него, она уже слишком широко распахнула свою душу Кардиналу Мазарини. Этот человек был хитер и ловок, втерся туда огромной услужливостью и бесконечно повторяемыми заверениями в своей полной преданности ее службе, вопреки и против всех, не исключая даже самого Короля. Это чрезвычайно нравилось Принцессе; она, по примеру всех других женщин, любила не только слепое подчинение, но еще и лесть.

Агония Людовика Справедливого

Кардинал рисковал немногим, безоглядно обещая ей столько вещей разом. Он видел, что Король умирает, и нет ни малейшей надежды на возможность вылечить его от медленной лихорадки, подтачивавшей его долгие годы. Его тело не было больше ничем иным, как настоящим скелетом, и хотя ему шел еще всего лишь сорок второй год, он был доведен до такого беспомощного состояния, что истинный Король, каким он и был, желал бы смерти во всякий день, если бы это не было запрещено ему, как христианину. Тем не менее, он не мог помешать себе бросать время от времени взгляды на колокольню Сен-Дени; он видел ее из Сен-Жермен-ан-Лэ, где почти всегда находился, и вздыхать, посмотрев на нее. Он даже говорил своим куртизанам, что именно там закончится его земное величие, и хотя и надеялся, что Бог окажет ему милосердие, никогда это не будет столь рано, как он бы того хотел. Впрочем, причиной того, что Кардинал Мазарини так безоглядно обещал все это Королеве, был страх, как бы она не примирилась с Месье де Шавиньи; Его Преосвященство тайком противился этому всячески, как только мог. Так как он, конечно, предвидел, что, следуя обычаям Франции (их он старался до тонкости изучить), Королева должна была получить опекунство над нынешним Королем, кому было тогда не более четырех лет, и забрать также всю власть [180] в свои руки, он не хотел допустить этого Государственного Секретаря до такого благоприятного положения, когда тот смог бы оспаривать у него Министерство, к которому уже секретно стремился. Итак, чтобы добиться в этом успеха с большей легкостью, не было ничего такого, на что бы он не пошел, лишь бы завоевать расположение особ, близких к Королеве, он даже притворился влюбленным в одну из ее камеристок, по имени Бове, по его расчетам, находившуюся в самых лучших отношениях с ней.

Бове, настолько любившая всякую лесть, что всегда была готова купить ее дорогой ценой, необычайно обрадовалась, что ей предложили ее даром, и она сделала подле своей Государыни все, что он хотел. Она молила ее не только устранить Шавиньи, но еще и содержать в секрете все обещания, данные ей Кардиналом Мазарини. Она говорила Королеве, что у нее здесь еще больше интереса, чем у него, потому что Король, ее муж, не испытывая большого доверия к ней, прежде, чем умереть, может принять такие решения, какие ей вовсе не понравятся, и ей было бы хорошо не только иметь в его Совете человека, кто мог бы отвести удар и при этом не быть заподозренным, будто делает это ради

личного интереса, но кто еще мог бы ее обо всем предупредить; и она, таким образом, смогла бы вовремя навести порядок во всех делах; если же она ничего не узнает, кроме как после удара, то окажется в гораздо большем затруднении.

Завещание Короля

Королева поддалась ее совету, поверив, что та ей дала его исключительно ради любви к ней, не ища здесь ни малейшей выгоды. Месье де Шавиньи, не добившись ничего из того, что он желал, перевел огонь на другой фланг, дабы не быть застигнутым врасплох, когда Король скончается. Он примирился с Герцогом д'Орлеаном, с кем он не слишком хорошо ладил прежде. Печатью их соглашения стало то, что он пообещал Герцогу вынудить Его Величество составить такое завещание, какое бы столь [181] прекрасно ограничило власть Королевы, что если бы оно и не могло помешать ей быть опекуншей своего сына, но зато она была бы обязана всегда обращаться к нему, когда бы захотела что-либо предпринять. Герцог д'Орлеан, кто далеко не пользовался никогда никаким влиянием при Дворе, был оттуда изгнан и содержался в большом пренебрежении. Если бы не знали, что он был братом Короля, об этом никогда бы не догадались. Он обрадовался такому предложению. Он согласился на него всем сердцем и наобещал тысячу прекрасных вещей Шавиньи, лишь бы тот добился удачи в своем предприятии, и тот взялся за работу, не теряя времени. Он сказал Королю, чье здоровье угасало день ото дня, что если он вовремя не предупредит все, что может случиться после его смерти, его сын, вместо того, чтобы стать однажды самым могущественным Принцем Европы, каким он, казалось, должен бы явиться по рангу, в какой он возведен Богом, легко может оказаться весьма удаленным от этого счастья; Королева, с тех самых пор, когда она прибыла во Францию, всегда поддерживала связи с Королем, ее братом, вопреки всем сделанным ей запретам; ему страшно огорчительно освежать память Его Величества, потому что это не может быть ему особенно приятно, но, наконец, требовалось принять меры по поводу этого злоупотребления, если, конечно, не желать все погубить; и лучше стоило на один момент оживить то горе, какое причинял ему этот сговор, чем промолчать и не советовать ему принять все необходимые распоряжения в столь важной ситуации.

Этот так называемый сговор послужил, впрочем, предлогом Кардиналу де Ришелье для преследования Королевы. В соответствии с этим, он устраивал ей действительно невероятные сюрпризы, в какие потомство никогда не сможет поверить, если все те, кто захотят писать историю верно, не будут обязаны в точности их передать. Он заявлял, — когда Королева получала письма из Испании, будто бы она прятала их у себя. Дабы еще больше унизить эту [182] Принцессу, он вырвал согласие у Его

Величества, кто не допускал никаких шуток по поводу сговоров с Испанией, как он показал это в деле Сенмара, на посещение ее неким Канцлером. Он представлял собой странного Комиссара — этот человек, кто был дважды монахом Картезианского ордена, и ему не нужно было ничего большего, чтобы ввести его в искушение. Так как эта Принцесса была красива, и хотя никто и никогда не видел ее тела, чтобы говорить о нем определенно, но по тому, что являлось снаружи, можно было предположить, что скрытое под платьем не было менее прекрасно, чем остальное. Ее грудь и руки были великолепны и превосходили белизной цветы лилий.

Весьма оригинальный монах

Канцлер никогда бы не получил такого поручения, если, выйдя из монастыря, он сохранил бы те же чувства, какие его туда привели. Но тогда, как он там находился, его настолько терзали разнообразные искушения, что он частенько по ночам будил Монахов. Среди прочих, искушение плоти особенно его донимало, и так как ему позволили в такие моменты ходить звонить в колокол, дабы все Братья за него молились, только и слышали во всякий час, как звонил этот колокол; так что проживавшие вокруг монастыря спрашивали себя, что бы это могло означать, вслушиваясь в столь частые звоны. Но либо Бог не внял их молитвам, либо он сам не заслужил того, чтобы Господь им внимал, в конце концов он отрекся от этого призвания и нашел себя в службе при Дворце. Он совсем неплохо там преуспел, поскольку сделался Канцлером, и в довольно молодом возрасте. В самом деле, он жив еще и сегодня, и по-прежнему испытывает столь огромные искушения, особенно того рода, о каких я говорил, что об этом рассказывают странные вещи. И если кому-то угодно верить всему, что о нем говорят, заявляют еще, будто он употребляет совсем другой колокольчик, чем тот, у Картезианцев, для смирения своих искушений.

Шавиньи не походил на него с точки зрения тех [183] советов, какие он дал Королю. Его Величество оценил его мнение и в то же время потрудился над декларацией, которой он намеревался, после своей смерти, разделить власть между Королевой, Герцогом д'Орлеаном и Принцем де Конде. Королева была предупреждена об этом Кардиналом Мазарини; она молила его поговорить с Королем, раскрыть ему глаза на то, что те, кто ему это посоветовали, грубо злоупотребили влиянием, какое они имели на его душу; Герцог д'Орлеан всегда был поджигателем в его Королевстве; стоит дать ему хоть малейшую власть, как возобновится гражданская война, какую он столько раз разжигал; не менее опасно давать ему в союзники Принца де Конде, потому что у него одного мальчики из всей Королевской Семьи; он, может быть, попытается возвысить их в ущерб сыновьям Его Величества. У нынешнего Короля имеется брат, кто моложе его на два года и несколько дней. Это Месье, кто жив в настоящее время, это Принц, кто после того, как носил в молодости имя Герцога д'Анжу, принял имя Герцога д'Орлеан после смерти его дяди. Однако, можно сказать, он не имеет ничего общего с ним, кроме этого имени — насколько тот был расположен прислушиваться к врагам Государства, настолько этот покорен приказам своего

Государя. Единственное нарушение, какое он себе когда-либо позволил, случилось, когда он покинул двор и уехал в Виллер-Котре, по причине опалы, наложенной на Шевалье де Лорена, его фаворита; но и это не продлилось дольше времени, понадобившегося Месье Кольберу для того, чтобы съездить за ним. Как только ему напомнили о его долге, он вернулся, и никогда больше не видели, чтобы с ним приключилось нечто подобное.

Сообразительный Кардинал

Кардинал Мазарини был слишком тонким политиком, чтобы взять на себя ту миссию, какую Королева желала ему поручить. Он боялся, как бы она не пришлась Королю не по вкусу, и как бы он не прожил достаточно долго, чтобы заставить его в ней раскаяться. В то же время, как он обхаживал так Его [184] Величество, он хотел делать то же самое и с Королевой; он сказал ей, что если не брался за это поручение, то лишь потому, что ждал более благоприятного случая оказать ей услугу — если бы она направила с этой миссией кого-нибудь другого, то Король не преминет с ним об этом поговорить, и тогда он сможет высказать ему свое мнение и одним словом сделать гораздо больше, чем теперь целой сотней, Королева поверила в его добросердечие, не дав себе труда узнать, отчего проистекал его отказ. Она обратилась к Месье Денуайе, поручив ему сыграть перед Королем ту роль, какую Кардинал не захотел исполнить. Месье Денуайе, чересчур обрадованный, что может оказать услугу этой Принцессе, согласился взять на себя эту миссию, не слишком задумываясь, чем она, возможно, для него обернется. Он положился на то, что, обладая достаточным влиянием на душу этого Принца, по причине общей с ним склонности к набожности, он будет выслушан милостиво. Но Его Величество, вбивший себе в голову, что должен остерегаться снисходительности, какую Королева, его жена, имела к Королю Испании, ее брату, в частности, и ко всей этой Нации в целом, весьма дурно приняв его предложение, запретил ему когда-либо снова говорить с ним об этом под страхом подвергнуться его негодованию.

Ответ, вроде этого, и особенно манера, в какой он был дан, заставили бы другого сделаться мудрее; в самом деле, Король сопроводил свои слова весьма недвусмысленной миной. Он был свободен рассудить, что если повторит совершенную ошибку, то может очень сильно в ней раскаяться. Но то ли он хотел услужить Королеве во что бы то ни стало, то ли испугался, что впустил в душу Короля досаду на эту Принцессу, а милосердие заставляло его желать видеть Его Величество умирающим с более христианскими чувствами, только он воспользовался этим предлогом и посвятил исповедника Короля в свои интересы. Он сказал ему — если тот желает ему помочь, надо, чтобы он переубедил Короля [185] насчет этого дела, и так как они были добрыми друзьями, и он даже поместил свои деньги в Дом обета Святого Людовика, откуда был этот Иезуит, тот пообещал ему все, что он от него хотел. Его положение давало ему все удобства для

этого, когда бы ему не заблагорассудилось; итак, он не стал тянуть с исполнением своего слова, Король принял его ничуть не лучше, чем Денуайе. Исповедник подумал, что не должен сдаваться с первой попытки, и, обладая полномочиями говорить с ним сурово, он мог воспользоваться ими в пользу своего друга. Итак, снова перейдя в нападение, он сделался настолько неприятен Его Величеству, что тот прогнал его от Двора. Иезуиты не одобрили выходки, совершенной исповедником без их ведома, и так как Король пригрозил им взять в будущем исповедника из другого монастыря, потому что они вмешивались в слишком многие вещи, они открыли Его Величеству, что он должен бы гораздо менее сердиться на них из-за всего случившегося, чем на Месье Денуайе; это он был причиной ошибки, допущенной его исповедником, и без него он никогда бы об этом и не подумал. Королю нетрудно было в это поверить, потому что Государственный Секретарь пожелал сам начать то, что другой попытался осуществить; итак, он повелел ему удалиться от Двора, а его должность была отдана Месье Телье.

Интриги Государственных Секретарей

Денуайе удалился в свой Дом в Дангю, находившийся всего лишь в восемнадцати или двадцати лье от Парижа. Он счел, что его опала не затянется, потому что Король не был способен особенно долго прожить. Он счел также, что так как он не подавал в отставку со своего поста, Королева вернет его на прежнее место тотчас, как только этот Принц закроет глаза. Он имел право надеяться на это, нисколько не льстя себе самому, поскольку вовсе не ради себя он потерял добрые милости Его Величества; итак, перенося свою беду с тем большим терпением, что был убежден в ее недолговечности, он ожидал [186] много большей прибыли от времени, чем мог бы получить от какой бы то ни было интриги.

Шавиньи, осознав себя триумфатором и над своим коллегой, и над исповедником Его Величества, составил с Королем декларацию такую, какую он ему присоветовал. Власть Королевы была там ограничена очень тесными рамками, хотя она и объявлялась опекуншей своего сына, Король устанавливал также Совет при этой Принцессе, дабы, когда он будет мертв, она ничего бы не смогла сделать без его одобрения. Шавиньи вошел в него и надеялся в нем удержаться вопреки Королеве, потому что Герцог д'Орлеан и Принц де Конде были до сих пор в сговоре с ним. Наконец, дабы придать более подлинности этой декларации, Король повелел зарегистрировать ее в Парламенте, и Его Величество заявил, что его последней волей было, чтобы она была исполнена от точки до точки после его смерти. Королю стало еще хуже через несколько дней, и так как было ясно видно, что он не протянет более пяти или шести дней, Королева повела интриги вокруг Парламента, дабы, как только его больше не будет, эта декларация была бы признана недействительной. Она заявляла, что этот документ не мог оставаться в силе, потому что он противоречил не только законам Королевства, но даже просто здравому смыслу. Действительно, каждый видел, что Его Величество не очень хорошо подумал, когда вручал главное могущество в руки двух первых Принцев Крови, не видевших другого препятствия к своему возвышению, кроме двух маленьких Принцев, кого он оставлял в столь нежном возрасте. Не то, чтобы их считали способными сделать что-либо вопреки их долгу, — их власть уравновешивалась властью Королевы, кто, как мать, имела несравненно больше интереса, чем все другие, помешать им что бы то ни было предпринять против ее детей; но так как частенько случаются вещи и более невероятные, а вдобавок прежнее

поведение Герцога д'Орлеана должно было всех заставлять остерегаться его, каждый находил, что [187] Королева была в полном праве изменить сложившийся порядок вещей.

Король за несколько дней до смерти принял большую часть Офицеров, как из его Дома, так и из его армий, дабы они пообещали ему, что какие бы интриги ни велись против его сына, они всегда будут ему верны. Не нашлось ни одного, кто бы ему этого не пообещал, и даже клятвенно — однако, наибольшая их часть вскоре оказалась клятвопреступниками. Испанцы, знавшие, в каком состоянии находился Король, и что интриги, составлявшиеся при Дворе, очень скоро его расколют, приготовились воспользоваться нашими беспорядками.

Герцог д’Ангиен

Кардинала Инфанта не было больше во Фландрии, и Король Испании отправил ему на смену Дона Франсиско де Мело. Он рассуждал в своем Совете, не воспользоваться ли столь благоприятными обстоятельствами, чтобы отбить Аррас и отбросить нас за Сомму. Но Граф де Фонтен, кто был Мэтром Главного Лагеря всех испанских сил, каким является сегодня Граф де Мартен, придерживался мнения, что лучше войти во Францию, потому что ее города падут сами собой, если бы им когда-нибудь удалось возбудить там какие-нибудь восстания. Едва Мело услышал, что большинство других Офицеров Генералитета было того же мнения, как он к ним присоединился. Он приблизился к Сомме, и так как состояние Короля заставляло еще более опасаться их сил, Герцог д'Ангиен, находившийся во главе нашей армии во Фландрии, получил приказ соприкоснуться с ними, не ввязываясь в битву. Он был еще так молод, что, по всей видимости, не мог справиться со всем этим один; вот почему ему придали Маршала де л'Опиталя, дабы предотвратить то, что бурлящий огонь его юности мог вынудить предпринять весьма некстати.

Наш полк вовсе не удалялся от Дворе, потому что, хотя армия Герцога была слабее армии врагов, можно было бояться всего от амбиций знати, и не следовало настолько лишаться всех войск, чтобы быть [188] не в состоянии им воспротивиться. Королева в последние дни жизни Короля велела выведать в Парламенте, не в настроении ли он будет отменить подтвержденную им декларацию, доверив ей опеку над сыном во всей полноте, какой бы могла желать мать. Она воспользовалась для этого своим первым Капелланом, Епископом Бове, происходившим из одного из самых значительных Судейских семейств. Он превосходно там преуспел, и его родственники, льстя себя мыслью, что вознаграждение за эту услугу будет началом их успеха, внушили ему надежду на все, думая, что, когда он достигнет тех почестей, какие они ему предрекали, он поделится с ними своим счастьем.

Королева, успокоенная с этой стороны, оставила Короля умирать с большей безмятежностью, чем, казалось, должна была бы иметь в том состоянии, в каком пребывала. Может быть, она была утешена радостью видеть, что участь Короля, ее сына, будет теперь в безопасности в ее руках, чем тогда, когда она боялась, как бы Герцог д'Орлеан и Принц де Конде не злоупотребили бы властью, данной им Королем в его декларации. Может быть, также ее горе не было так живо, как если бы эта смерть была бы

непредвиденной; но так как этот Принц давно угасал, и уже больше месяца ожидали, что он во всякий день может скончаться, не было ничего удивительного, что она смирилась с идеей этой разлуки, обычно столь тяжкой для женщины. Наконец Король умер, Королева, найдя средство вынудить Герцога д'Орлеана отказаться от власти, данной ему Королем в его декларации, предстала вместе с ним перед Парламентом. Эта Компания, главные члены которой были подкуплены Епископом Бове, пожаловала ей Регентство с абсолютным могуществом, вопреки последним намерениям Его Величества.

Рокруа

За несколько дней до смерти Короля Мело, после того, как он в течение некоторого времени разыгрывал желание вторгнуться во Францию, форсировав Сомму, внезапно повернул в сторону Шампани, где [190] осадил город Рокруа. Этот город, похожий на бульвар с той стороны, где Нидерланды прилегают к нему, расположен весьма выгодно. Громадное количество лесов с одной стороны делает подступы к нему чрезвычайно трудными, а с другой болото сделало бы его неприступным, если бы окружало его полностью. С таким положением было бы чем провалить замысел Мело, если бы город был достаточно снабжен всеми вещами и если бы его укрепления были бы в добром состоянии; но либо Кардинал де Ришелье счел перед смертью, что Испанцы не готовы предпринять столь значительную осаду, или что дела, в какие он их впутал в Португалии, Каталонии и в Артуа, заставят употребить их силы скорее с этой стороны, чем с какой-нибудь другой, он довольно-таки пренебрегал поставками туда. Покойный Король не проявил о нем большей заботы после смерти Кардинала; потому, когда Мело прибыл к городу, один из земляных валов почти обрушился, а незначительный гарнизон, находившийся там для его защиты, потерял всякую смелость при его приближении.

Герцог д'Ангиен, чьи достоинства были замечены в двух или трех кампаниях, какие он сделал прежде в качестве добровольца, решил сначала незамедлительно придти ему на помощь. Маршал де л'Опиталь воспротивился под предлогом представлявшихся к этому трудностей, но в действительности потому, что он имел секретные приказы помешать любому риску баталии. Королева Мать, кто их ему отправила, полагала, что нельзя проиграть ни одного сражения, не открыв тем самым всего Королевства врагам, и, может быть, не опрокинув всех планов, что она строила в расчете на ее нынешнюю судьбу, обещавшую ей больше счастья, чем в прошлом. Герцог не был удовлетворен предостережениями Маршала — его храбрость позволяла ему видеть легкость в самых больших затруднениях, и ему больше нравилось полагаться на это, чем на что бы то ни было другое; итак, скомандовав Гассиону пройти [191] сквозь лес с небольшим количеством кавалеристов с пехотинцами на крупах их лошадей, чтобы посмотреть, не сможет ли он забросить их в город, он сам последовал за ним, якобы для простой поддержки.

Гассион, уверенный, что заслуживает жезла Маршала Франции ничуть не меньше, чем л'Опиталь, кто добился его к

концу жизни покойного Короля, был в курсе намерений Герцога; либо тот ему доверился, как, по всей видимости, можно предположить, либо он догадался о них сам — итак, рассматривая этот случай, как возможность добыть себе такую честь, он столь ловко скрыл свой марш, что прошел насквозь все место стоянки Итальянцев, кого Мело вел с собой, отделавшись всего лишь незначительной стычкой. Большинство пехотинцев проникло в город, и, немного успокоив его этой помощью, Гассион послал сказать Герцогу, что он все исполнил в соответствии с его приказами.

Герцог, подняв на марше все гарнизоны, какие только были на его пути, усилил свою армию до двадцати одной или двадцати двух тысяч человек, так что силы Мело превосходили его собственные на четыре тысячи самое большее; Герцог, говорю я, более решительный, чем никогда, вступить в бой, велел ему передать, что если он сумеет удержаться на маленькой равнине между лесом и городом, то очень скоро он сам прибудет ему на подмогу. Гассион не смог исполнить этого приказа, потому что опасался не выдержать численного перевеса; итак, явившись навстречу Герцогу, он отрапортовал ему обо всем, что увидел перед городом. Эти новости лишь увеличили рвение Генерала дать сражение. Он придал ему большее количество войск, чем у него было для того, чтобы вернуться на равнину, и поскольку Мело не принял предосторожности охранять проходы (то ли он презирал молодость Герцога, или же не считался вовсе с его армией, какую он рассматривал, как сборные войска и, следовательно, мало способные тягаться с его воинами, кто были элитой [192] всего, что имела Испания самого лучшего), Гассион возвратился туда, не найдя ни малейшей преграды.

Баталия

Мело, может быть, не слишком верил до сих пор, что Герцог осмелится предстать перед ним. Он знал, что тот уступал ему не только в количестве, но еще и в качестве его войск, по меньшей мере, по его суждению. Но встав перед необходимостью изменить мнения, он был, без сомнения, разозлен тем, как же он не принял лучших мер предосторожности, если, конечно, он не льстил себя одновременно мыслью, что будущие события принесут ему лишь большую славу. Итак, не желая ждать подкрепления, шедшего к нему из Германии и маршировавшего на соединение с ним, он покинул свои линии, где оставил только нужное для их охраны число людей, и двинулся навстречу Герцогу д'Ангиену. Гассион уже овладел высотой, удобной ему для ведения боя, и две армии сошлись одна с другой, тогда как почти уже наступила ночь, что задержало сражение, потому как с одной и с другой стороны желали видеть день свидетелем их действий. Но с первыми лучами рассвета две армии сцепились. Бой был странно упорен, как с одной, так и с другой стороны, но Герцог, проявив чудеса распорядительности и отваги, и отлично поддержанный всеми войсками, главное, Гассионом, обеспечил себе победу столь блестящую, что давно уже никто не одерживал подобной. Вся вражеская пехота была изрублена в куски, и Граф де Фонтен был убит тогда, как он отдавал приказы, лежа на носилках по причине подагры, мешавшей ему подняться в седло. Ничто более не оказывало сопротивления. Тем не менее, это великое событие стоило нашим много крови, Граф защищался, как лев, и потребовалась пушка, чтобы прорвать батальон, выстроившийся в каре, посреди которого он казался столь бесстрашным, что можно сказать, будто он ощущал себя внутри цитадели. Большое количество знамен и штандартов послужили еще трофеем к славе Герцога, со множеством пушек, взятых им в сражении. [193]

Так как мы живем не во времена Древних Римлян, каравших смертью тех, кто осмеливался дать бой вопреки их приказам, даже если он приносил успех, Королева Мать забыла в честь его победы ту дерзость, с какой он вступил в сражение, несмотря на то, что Маршал сказал ему в конце концов, увидев его решимость, что не таково было намерение Государыни. Эта победа, одержанная через пять дней после смерти Короля, не могла прийтись более кстати, чтобы разрушить множество интриг, затевавшихся против нарождавшейся власти новой Регентши, главное, когда те, кто поверили, будто заслужили наибольшую часть в ее добрых милостях, увидели себя удаленными от них.

Епископ Бове был из их числа; услуга, оказанная им Королеве Матери, позволила ему поверить, что она не могла вознаградить его иначе, как предоставив ему место первого Министра; он претендовал на него столь открыто, что безо всяких обиняков заговорил об этом с ней самой. Королева Мать постаралась, избегая необходимости высказать ему прямо, что он на это неспособен, дать ему почувствовать, что он будет в тысячу раз более счастлив, оставаясь в том положении, в каком он был, чем пытаясь вознестись на пост, исполненный опасностей и тревог. Он не пожелал понять ее с полуслова, причем настолько рассердился, не найдя в ней всей признательности, на какую он надеялся, что вынудил, наконец, изгнать себя от Двора за явное выражение недовольства тем, что эта Принцесса бросила глаз на другого, а не на него, чтобы доверить ему это место.

Кардинал Мазарини— первый Министр

Выбор Королевы пал на Кардинала Мазарини, кто тотчас по возведении в это достоинство сделал все, что мог, дабы погубить Шавиньи. Он заставил его удалиться от должности Государственного Секретаря под тем предлогом, что Кардинал де Ришелье назначил его лишь после того, как довольно несправедливо лишил этого поста Графа де Бриенна. Он был очень рад скрыть таким образом под тенью правосудия ту ненависть, какую к нему питал; но [194] так как он вовсе не прекратил преследовать его с тех пор, и так вплоть до его смерти, все вскоре распознали, сквозь все его личины, каким принципом он руководствовался. Это отвращение проистекало от того, что он походил на множество людей, кто весьма рады, когда они пребывают в нужде, найти кого-нибудь, кто бы им помог, но они не могут более выносить и вида этого кого-нибудь, когда они добиваются благополучия. При своем прибытии ко Двору Мазарини явился туда столь жалким, что ему требовалась чья-нибудь поддержка. Не имея ничего, кроме весьма скудного пенсиона, далеко не достаточного даже для скромного существования, он был слишком счастлив, когда Месье де Шавиньи, кто узнал его, воспользовавшись им в делах Италии, дал ему комнату у себя и место за столом своих служащих. Когда же он увидел себя вознесенным на такой пост, какой вгонял его в стыд перед прежним его состоянием, он был исключительно рад случаю не иметь во всякий момент перед глазами свидетеля. Он воображал себе, будто каждый раз, как тот бросал на него взгляд, это было лишь для того, чтобы упрекнуть его тем, что тот для него сделал.

Выбор Королевы Его Преосвященства на должность первого Министра ничуть не огорчил ни Герцога д'Орлеана, ни Принца де Конде, с кем Ее Величество решила находиться в добрых отношениях, чтобы не подавать им повода для омрачения счастливого начала правления ее сына, Кардинал утвердил ее в этой решимости и приспособился к ней сам из страха, как бы не посадить их обоих себе на шею. Он знал, что множество людей, завистливых к его судьбе, начинали перешептываться о том, что Королева Мать удостоила его такой чести в ущерб стольким Французам, будто бы среди них не нашлось способного справиться с постом, вроде этого. Итак, вместо того, чтобы выставлять напоказ свою скупость и свое тщеславие, как он делал позже, он оставался не только в величайшем почтении к ним, но еще и, казалось, соразмерял все свои поступки с их [195]

желаниями. В течение некоторого времени он настолько хорошо удовлетворялся жизнью на свои пенсионы да на несколько благодеяний, что Королева Мать делала ему время от времени, что они оба сочли себя слишком счастливыми оттого, что эта Принцесса выбрала человека столь разумного и думающего больше об исполнении своего долга, чем о приобретении богатств.

Раздражения и разочарования нового правления

Покровительство, оказываемое ему обоими Принцами, пока он не удалялся от этого принципа, нисколько не мешало другим, вроде Епископа Бове, высказывать зависть к его возвышению. Герцог де Бофор, кому Королева Мать засвидетельствовала такое доверие в день смерти Короля, что пообещала передать в его руки охрану двух Принцев, своих детей, был возмущен, увидев, что действие, обещавшее ему множество почестей, осталось без последствий, и соединился с Мадам Герцогиней де Шеврез, обладавшей поистине предприимчивым разумом. Она была выслана при жизни покойного Короля, потому что Его Величество заподозрил ее в нашептывании злобных советов Королеве. Она прожила, по меньшей мере, десять лет в Брюсселе, где ее еще и обвинили в желании, в сговоре с Марией Медичи, вдовой Генриха Великого, также удалившейся туда, стараться время от времени будоражить Государство. Она оттуда, наконец, возвратилась после смерти Людовика Справедливого, потому что Королева рассудила, — поскольку та была выслана из-за нее, было бы несправедливо, чтобы она и дальше оставалась в страдании.

Эта Герцогиня, прежде бывшая в прекрасных отношениях с Ее Величеством, поначалу понадеялась, что едва она вернется, как получит большое влияние в Правительстве. Ее амбиции и ее тщеславие заставляли ее поверить в то, что если она и не была способна к этому из-за своего пола, то ей всегда будет возможно кого-нибудь возвести в Министерство, кто будет ей так покорен, что будет лишь именоваться Министром, тогда как она получит всю власть. Для [196] этого она бросала взоры на Шатонефа, Хранителя Печати, с кем обошлись еще хуже, чем с ней, при правлении покойного Короля. Поскольку, если она была обязана провести десять лет вне Королевства, то он провел, по крайней мере, столько же в Замке Ангулем, где был заперт. Только смерть Короля позволила ему вновь обрести свободу, и так как он был ее личным другом и вполне способным занять пост, вроде этого, она не могла сделать ничего лучшего, как противопоставить его Кардиналу Мазарини.

По ее прибытии, Королева приняла ее не только довольно безразлично, но еще и с достаточным презрением, чем разочаровала ее во всех надеждах; потому-то она и объединилась с Герцогом де Бофором, чье недовольство было настолько известно всему свету, что каждый думал, как бы хорошо поступил

Кардинал, предупредив угрозы, какие тот невольно произнес в своей запальчивости. Поскольку, хотя он и не был столь безумен, чтобы бросить их ему в лицо, тем не менее, у него было так мало сдержанности, что все это произошло почти так, как если бы он говорил в его присутствии.

Кабала Вельмож

Шатонеф, чья мать происходила из Дома де ла Шатр, увидев, что Герцогиня и Герцог де Бофор не прочь сделать его первым Министром, не пожелал этому воспротивиться, хотя имел все основания бояться, как бы это ни привело его обратно в тюрьму. Итак, преодолев тревогу, какую могла у него вызвать эта мысль, он посвятил в эту интригу Месье де ла Шатра, Генерала Полковника Швейцарцев, своего близкого родственника. Тот получил эту должность по смерти Маркиза де Коэлена, зятя Канцлера. Маркиз был убит при осаде Эра два года назад и оставил трех сыновей, а именно нынешнего Герцога де Коэлена, Епископа Орлеана и Шевалье де Коэлена. Маршал де Бассомпьер обладал этой должностью прежде и с великим трудом был там принят, потому что Швейцарцы заявляли — только принц может быть их главой, и, никогда не имея [197] никого другого, им стыдно теперь иметь простого дворянина. Однако, показав пример на нем, они сделали то же самое для Коэлена и для Месье де ла Шатра, вплоть до того, как они не вернулись под команду Месье Графа де Суассона, Принца Савойского Дома, кто женился на племяннице Кардинала Мазарини.

Месье де ла Шатр, входя в эту интригу, не имел никакой иной цели, кроме как сделать свою судьбу еще лучшей. Итак, хотя он и оставил мемуары специально для внушения публике, что был гораздо более несчастлив, чем виновен, единственная правда та, что он рассчитал — у Месье де Шатонефа нет детей, и сделав себе честь союзом с ним, он получит удовольствие, возвышая его, если когда-нибудь окажется в состоянии это сделать. Эта лига, названная Кабалой Вельмож, имела успех, весьма отличный от того, на какой надеялись заговорщики. Полагают, что их намерением было отделаться от Кардинала во что бы то ни стало, и скорее убить его, чем потерпеть неудачу; но этот Министр, как-то прослышав об их заговоре, приказал арестовать Герцога де Бофора и Графа де ла Шатра; первый был посажен в Венсенн, и другой в Бастилию. Этот отделался потерей своей должности, где его сменил Маршал де Бассомпьер, вернув ему деньги, какие он за нее отдал. Другой, отсидев три или четыре года в тюрьме, счастливо оттуда спасся, и, спрятавшись на какое-то время в Бери, он, наконец, вернулся в Париж, когда увидел, как этот громадный город взбунтовался против Короля. Об этом я еще расскажу в своем месте.

Королева Мать, успокоенная заточением этих двух человек и ссылкой Герцогини де Шеврез, переехавшей в Испанию,

подумала, что не будет больше никого достаточно дерзкого в Королевстве, чтобы предпринять что-нибудь против ее воли, и отправила большую часть нашего полка на границу Лотарингии, куда Месье Герцог д'Ангиен направился после битвы при Рокруа. Он осадил там Тионвиль, [198] и взяв его, пошел на помощь Маршалу де Гебриану, кто оказался крепко зажат между двух армий. Он вытащил его из опасности, но этот Маршал, осадив Ротвайль к концу кампании, попал там под пушечный выстрел и умер от него через два дня после того, как овладел этим местом.

Английские дела

Посольство Графа д'Аркура

Рота, к которой я принадлежал, не вошла в отряд, отправленный к Герцогу д'Ангиену; потому, чувствуя себя как бы ненужным в Париже, я попросил разрешения у моего капитана съездить в Англию вместе с Месье Графом д'Аркуром, кого Королева посылала в эту страну, чтобы наладить некоторые соглашения между Его Величеством Британским и его Парламентом. Кардинал де Ришелье, возбудивший беспорядки между ними, не предвидел, что они могут зайти настолько далеко. Этот народ, что не управляется, как другие, после того, как обвинил своего Короля в желании ввести абсолютную власть в его Королевстве и изменить там религию, [200] вооружился против него. Это уже послужило причиной нескольких баталий, и пролитая кровь скорее ожесточила души, чем расположила их слушать разговоры о мире. Граф д'Аркур, кому я был отрекомендован, принял меня в число своих дворян, находившихся при нем в большом количестве. Так как этот Принц был знаменит множеством великих поступков, он желал, чтобы ничто не противоречило за границей той репутации, какую он там себе завоевал. С самого начала мы пустились на поиски Короля Англии, кто оказался в Эксетере; его армия, — командование над ней он поручил Принцам Роберту и Морису, своим племянникам, — полностью овладела им, так что у него оставалось очень немного времени. Граф д'Аркур нашел этого Принца вялым и лишенным всякой решительности; он уже упустил несколько благоприятных возможностей заставить вернуться под свое подчинение город Лондон, восставший против него.

Граф д'Аркур, бывший столь же предприимчивым, сколь этот Король был робким, хотел внушить ему бодрость духа, как единственную вещь, способную вернуть ему власть. Но тот ответил ему, что он говорил так свободно, по-видимому, веря, что Англичане похожи на Французов, вовсе не отстранявшихся от должного почтения к их Государю, а если они и отстранялись от него хоть раз, они могли быть принуждены к нему вернуться всевозможными путями, какими бы грубыми и чрезвычайными ни были эти пути; если позволено держать в ежовых рукавицах одних, то все совершенно иначе с другими; это будет как раз самое верное средство погубить себя, поскольку Англичане

желали быть возвращены мягкостью; вот почему он молил его заехать в Лондон, чтобы попытаться сделать там больше своими советами, чем он когда-либо сможет сделать с армией, каким бы великим Капитаном он ни был.

Граф д'Аркур прекрасно видел его слабые струны, и, думая, что этот Король никогда не преуспеет, пока будет действовать таким образом, он поехал скорее для его удовлетворения, чем в надежде [201] добиться успеха, какого тот так желал. Многие заявляют, будто бы Кардинал Мазарини, беря пример с Кардинала де Ришелье, далеко не желая мира в этом Королевстве, напротив, приказал этому принцу сеять там еще больше розни и смуты. Что же до меня, то я думаю, что большинство говорящих так строят свои речи всего лишь на догадках.

Законы Английской Нации

Как бы там ни было, Граф д'Аркур, прибыв в Лондон, имел крупные совещания с Графом Белфортом, самым большим врагом Короля Англии в его Парламенте. Он имел там и несколько других с другими важными особами, кого он мог бы склонить к своему мнению без этого Графа; тот так уперся в желании погубить власть своего государя, что Граф д'Аркур не смог сдержаться и предостерег его — если Его Величество Британское найдет способ вновь завоевать доверие своих подданных, невозможно, чтобы он когда-нибудь ему простил его поведение. Белфорт ответил ему дерзко, и, может быть, с достаточным резоном, что когда он произносил такую угрозу ему, он, видимо, ставил на одну доску могущество Королей Англии и Королей Франции; Англичане были слишком мудры, чтобы терпеть от их Государя прямую или окольную месть человеку, вызвавшему его ненависть тем, что защищал, как он и делал, их интересы; их Нация обладала такими законами, с какими их Принцы должны были считаться, по меньшей мере, если они не хотели, чтобы она тотчас обернулась против них; это и происходило каждый раз, когда они хотели предпринять что-то, превышавшее их власть, и то же произойдет еще и в будущем, потому что нет ни одного Англичанина, кто бы не знал, что здесь залог его свободы и его покоя.

Обо всем этом немедленно узнали в городе, хотя совещания проходили секретно и с глазу на глаз. Я полагаю, сам Граф Белфорт с удовольствием все это предал огласке, дабы показать народу, что он всегда был тот же, и ничто не могло его заставить поддаться. Однако то, что говорилось об угрозах [202] ему Графа д'Аркура, если, конечно, можно так назвать сказанные им слова,

сделало этого Графа ненавистным народу, и Англичане обходились с ним так, будто он был для них обычным частным лицом. Он проводил все дни на улицах, и никто даже не приподнимал перед ним шляпы; больше того, один возница городского экипажа, каких множество в этой стране, встретившись с его каретой, имел наглость вознамериться проехать прежде него. Я не знаю, как его пешие лакеи не убили возницу тут же на месте, потому я охотно верю, что они не замедлили бы это сделать, если бы Принц, боявшийся еще больше скомпрометировать свое значение, вооружив против себя подлое население, не скомандовал бы им от этого воздержаться. Сукарьер, кто был незаконным сыном Герцога де Бельгарда, Обер-Шталмейстера Франции, находившийся тогда с ним в карете, спрыгнул на землю, когда увидел, что собралось уже много народа, и может произойти какой-нибудь несчастный случай. Он знал манеры поведения этого народа, потому что уже совершил несколько вояжей в эту страну, оказавшихся для него совсем не бесплодными; он выиграл там огромные суммы в мяч, и Двор был не прочь, чтобы он вошел в свиту Графа, поскольку, знакомый со всеми большими сеньорами, он не был бы бесполезен в его переговорах.

Сукарьер обратился по-английски к вознице, и, весьма вероятно, он говорил бы с ним впустую, если бы некий Смит, с кем он ежедневно играл, не оказался бы случайно в экипаже, которым правил этот наглец. Он сделал вид, будто пробудился от глубокого сна или, скорее, вышел из дремоты опьянения, дабы прикрыть свою ошибку и оправдать свое молчание в обстоятельствах, когда он имел все причины его нарушить. Он вышел тогда из экипажа, и, поприветствовав Сукарьера, первый пригрозил своему вознице, что если тот не окажется более мудрым, то именно с ним ему придется иметь дело. Его слова возымели больший эффект, чем особа Графа, чем [204] достоинство Посла в соединении еще и с достоинством Принца, не менее почитаемым у всех Наций. Граф д'Аркур был весьма восхваляем за его снисходительность, и Парламент, прослышав о том, что случилось, распорядился заточить Возницу в Ньюгейт, тюрьму, куда сажают злоумышленников. Он даже принял грозный вид, словно бы желая его покарать, но Граф д'Аркур попросил его помиловать, и тот отделался несколькими днями заключения.

Добровольцы для битвы

Король Англии все еще ожидал ответа от Графа д'Аркура, и либо он надеялся, что ответ этот будет для него благоприятен,

или же он не желал проливать кровь своих подданных, кроме как в крайнем случае, но он медлил сражаться с Графом Эссексом, командовавшим армией Парламента. Но, наконец, Граф д'Аркур велел ему сказать, что далеко не приходится ждать от них возвращения на прямую дорогу; он должен скорее рассчитывать, что они сделают это лишь под воздействием силы; он настолько хорошо дал Королю почувствовать необходимость не щадить их больше, что Его Величество Британское решил дать новую битву. Когда слух об этом достиг Лондона, мы испросили позволения у Графа д'Аркура, все, сколько нас было дворян подле него, вступить в армию Его Величества Британского. Он предоставил нам его под секретом, потому что боялся, как бы не преступить этим шагом своих полномочий Посла. Итак, мы отправились одни за другими и по разным дорогам, но вскоре, сойдясь вместе, составили маленький эскадрон, не испытывая нужды принимать к нам других особ, кроме тех, кто явились вослед за этим Послом. Мы прибыли предложить наши услуги Королю, кто находился не более, чем в двух лье от своей армии. Он принял нас совершенно прекрасно и дал нам письма к своим Генералам. Мы еще не доехали до них, а Парламент уже был предупрежден о том, что произошло. Он обратился с превеликими жалобами к Графу д'Аркуру, говоря ему, что если с ним приключится что-либо противоречащее правам человека, то пусть он [205] пеняет на себя самого; это он первый поступил им вопреки и дал этим повод к недостаточному почтению к нему, так что ничего нельзя исправить.

Их речи, бывшие своего рода угрозой, не удивили Принца, хотя ему следовало бы опасаться всего от беспокойного духа этих Народностей. Он ответил говорившим, что те, на кого они жаловались, были его слугами лишь по воле случая, то есть, если они и пожелали посмотреть страну и его сопроводить в его посольстве, то вовсе не были обязаны спрашивать у него разрешения делать то, что они сделали; французская знать имеет такое своеобразие — когда она знает, что где-то затевается баталия, она не только туда бежит, она туда летит; молодые люди, какими мы были все по большей части, не всегда размышляют над тем, что они делают. Эти резоны не удовлетворили Парламент; он отдал строгие приказы против нас и даже написал Графу Эссексу, что если случайно мы попадем в его руки, то пусть он обойдется с нами как можно суровее. Граф Эссекс, только и думавший о том, как бы ему угодить, выставил в поле отряд, чтобы нас нагнать прежде, чем мы явимся в армию, на пути от того места, где мы нашли Короля; но этот отряд, повстречав какой-то другой из войск Его Величества, атаковал

его, потому что увидел, насколько он был сильнее, чем тот. Они подумали, что им будет легко после этого устроить засаду и застать нас врасплох на нашем пути; и в самом деле, они уже имели большое преимущество над своими противниками, когда, на их несчастье, мы прибыли на место схватки. Мы сейчас же подскакали туда, чтобы подать помощь тем, в ком мы узнали бьющихся за Его Величество Британское. Нам было легко их различить, так же, как и других, по разным знакам, какие они нацепили на свои шляпы. Итак, зайдя противникам в тыл, мы поубивали их всех, за исключением пяти или шести человек, сбежавших так быстро, что невозможно было их догнать. Они добрались до их армии, где рассказали своему Генералу, как, без нашего [206] вмешательства, они бы разбили более двухсот пятидесяти рейтаров армии Короля. Нас они обрисовали ему в таком черном свете, что он решил, — если сумеет нас взять, не давать нам никакой пощады.

Еще более раздражало его против нас то, что он уже видел себя накануне баталии и потерял три сотни всадников, каких ему как раз могло бы не хватить в обстоятельствах, вроде этих. Принц Роберт, кому рапортовали его шпионы, поведал нам на следующий день, что эта схватка не только привела Генерала в бешеный гнев, но, чтобы еще и отомстить за нее, он отдал указание в день баталии не давать нам никакой пощады. Он даже скомандовал двум эскадронам из войск его армии, каким он особенно доверял, заняться исключительно нами, не отвлекаясь на других. Он сказал им, что, видимо, нам захотелось поиграть в авантюристов, и так как, по всей вероятности, мы встанем во главе, как отчаянные мальчишки, им будет просто нас узнать и, в конце концов, нас уничтожить.

Когда все эти факты дошли до сведения Принца Роберта, он захотел убедить нас распределиться по его эскадронам, трое или четверо в одном, столько же в другом, и так далее. Кое-кто на это, в общем, соглашался, но некий Фондревиль, дворянин из Нормандии, очень бравый человек, прошедший через несколько кампаний под командой Графа д'Аркура, объяснив нам, что мы не могли бы принять это предложение, не обесчестив себя, или же, самое малое, не лишив себя славы, какую мы могли бы завоевать в этот день, заставил каждого пересмотреть его решение. Потому мы умоляли Принца Роберта позволить нам составить отдельный отряд, и он не был слишком огорчен нашей мольбой, поскольку рассудил, что такие возбужденные, какими мы и были, по поводу поведения Графа Эссекса, мы не преминем подать добрый пример его войскам.

То презрение, какое мы выказали к нашей безопасности,

потому что были убеждены — дело касалось нашей славы, тронуло его; но все же, не желая [207] оставить на погибель столь бравых людей, не подав нам всей помощи, какая только была для него возможна, он отдал приказ Роте своих Гвардейцев и Роте Принца, его брата, нас поддержать. Это были две самые прекрасные Роты, какие я когда-либо видел, и я сумею их сравнить разве что лишь с Домом Короля, таким, каким он стал с тех пор, как его Величество очистил его от постыдных элементов, бесчестивших его, поскольку, по правде говоря, не должно быть в гвардии такого великого Принца никого, кроме людей благородных или людей заслуженных, таких, какие и есть там в настоящее время. Не пристало фермерам, кем переполнены все Роты Телохранителей и Стражников, иметь в их руках персону столь драгоценную, как особа Его Величества, и, хотя я знаю, что, может быть, не с этой целью проведена реформа, дело от этого не оказалось менее полезным.

Французы на переднем крае

Так как Король решил дать сражение, и Граф Эссекс не желал его избегать, две армии приблизились одна к другой. Всего лишь ручей разделял их, и мы попросили Принца Роберта позволить нам встать во главе, как этого и ожидал Граф Эссекс; но Англичане, ни во что не ставящие другие Нации по сравнению с их собственной, не потерпели, чтобы он предоставил нам такое право, и Принц дал нам понять, что он бы, конечно, согласился, но ему не было позволено это сделать; все, чем он мог нам услужить, если мы будем в настроении такое принять, это смешать нас с эскадронами, первыми идущими на врага; если же мы не удовлетворимся этими предложениями, все, что он мог сделать, так это расположить нас по флангам.

Фондревиль, уже помешавший нам принять подобное предложение, помешал нам еще раз; итак, мы встали там, где он хотел; битва началась и была сперва достаточно упорной, но вскоре войска Парламента не устояли; мы одержали столь славную победу, что если бы Король пожелал приказать своим войскам маршировать на Лондон, то, по всей [208] видимости, этот город сдался бы на любых условиях, какие ему угодно было бы ему навязать. Фондревиль осмелился предложить ему свои мысли по этому поводу после того, как Его Величество присоединился к принцу Роберту; но так как он по-прежнему был исполнен не только робостью, но еще и навязчивой мыслью, что не следовало претендовать возвращать Англичан, как это делали с другими Нациями, он оказался настолько слаб, чтобы

выслушать несколько предложений, что повелел ему сделать Парламент с единственной целью его отвлечь.

Так как Граф д'Аркур предостерег нас от приезда к нему в Лондон, потому что Парламент без всякого почтения к нему был способен приказать нас там арестовать, мы ловко добились паспортов от Графа Эссекса, чтобы вернуться в нашу страну. Правда, Его Величество Британское постарался об этом сам. Он попросил их у него на имя какого-то Англичанина, кто пожелал поехать путешествовать во Францию с многочисленной свитой, а нас он выдал за его Слуг. Я не знаю, не закрыл ли Парламент глаза на все это дело из страха, как бы не поссориться с нашим Королем в случае нашего ареста. Как бы там ни было, вернувшись во Францию без всяких приключений по дороге, как семь или восемь других Французов, вместе с кем я пересек море в компании сына Милорда Пемброка, я отправился на поиски моих друзей, и они сразу же попросили доставить им удовольствие, рассказав обо всем, что я увидел в этой стране. Мой Капитан загорелся тем же желанием, и найдя, что отчет, какой я ему дал, был довольно интересен, он повел меня на следующий день к Королеве Англии, чтобы я рассказал ей сам все, что уже доложил ему.

У Королевы Англии

Эта Принцесса укрылась во Франции, чтобы избежать ненависти Англичан, желавших ей еще большего зла, чем Королю, ее мужу. Они обвиняли ее в том, что она была единственной причиной новшеств, какие он пожелал ввести в своем Королевстве, и, основываясь на этом предубеждении, они [209] посмели потребовать от него, сделав ему несколько предложений, чтобы он изгнал ее от себя. Его Величество Британское не пожелал ничего такого делать, но, наконец, увидев себя втянутым впоследствии в гражданскую войну, не слишком уверенный в собственном успехе, счел за благо переправить ее за море, скорее обеспечивая безопасность ее особе, чем снисходя до ответа на столь наглое требование. Эта Принцесса очень хорошо меня приняла, и, поинтересовавшись, видел ли я Короля, ее мужа, и Принцев, ее детей, она расспрашивала меня затем, что я думаю об этой стране. Я ответил ей без колебаний, хотя там было с ней двое или трое Англичан и даже четверо или пятеро Англичанок, чья красота заслуживала большей любезности, что я нашел Англию самой красивой страной в мире, но населенной столь дрянными людьми, что я всегда бы предпочел любое другое место жительства этому, когда бы даже пожелали дать мне это место

среди медведей; в самом деле, должно быть, эти Народности были еще более злобны, чем дикие звери, раз уж они объявили войну собственному Королю и потребовали выгнать от него Принцессу, кто могла бы стать их отрадой, имей они чуть больше понимания и рассудка. [211]

Месть Миледи

О значении слова «наглец»

Если моя речь и была приятна этой Принцессе, кто приняла ее за комплимент, какого она и должна была ожидать от галантного человека, то она совсем не понравилась одному из Англичан, и даже, может быть, всем тем из этой Нации, кто там присутствовал. Как бы там ни было, тот самый, кто звался Кокс, придя от нее в совершенное негодование, послал ко мне другого Англичанина прямо на следующее утро, и уже этот сказал мне от его имени, что я держал столь наглые речи о его Нации, что он желает меня видеть со шпагой в руке. Я охотно бы ему ответил — сами вы наглец, поскольку никогда не пользуются подобным словом, разве что среди базарных баб или же среди каких-нибудь похожих на них персон; но так как он не слишком хорошо говорил по-французски и мог допустить ошибку, не понимая настоящего значения этого слова, без всякого намерения меня оскорбить, я счел, что мне вполне достаточно одной ссоры и [212] совсем ни к чему навлекать на себя еще и вторую. А этого мне не удалось бы избежать, если бы я дал ему понять, что со мной не разговаривают таким образом безнаказанно. Он назначил мне свидание за Картезианским монастырем, где Плесси-Шивре был убит несколько дней назад, сражаясь на дуэли против Маркиза де Кевра, старшего сына Маршала д'Эстре. Я попросил у него один час времени на поиски одного из моих друзей, чтобы драться против него, потому что он должен был служить секундантом Коксу; когда я выходил из дома, то наткнулся на еще одного Англичанина, кто протянул мне записку, где содержался комплимент, совсем отличный от того, что сделал мне другой. Вот что говорилось в записке:

> «Я была у Королевы, когда вы говорили вещи, столь неучтивые о моей Нации, что я никогда не должна вам их прощать — итак, хорошенько поразмыслив, как я за них отомщу, я не нашла лучшего средства добиться цели, как молить вас дать себе труд явиться ко мне. Тот, кто передаст вам настоящее письмо, скажет вам, где вы меня найдете; мы там посмотрим, понравится ли вам больше, как вы говорите, жить с медведями, чем пребывать с особами из моей страны».

Никогда человек не был настолько удивлен, как был я при

виде этой записки. Я прекрасно понял, что она означала, и так как там было несколько Англичанок, когда я держал те самые речи, в каких эта меня упрекала, я терялся в догадках, от какой из них могло мне прийти это послание. Однако, поскольку они все показались мне красавицами, я счел, что не могу особенно сильно разочароваться. Когда я осведомился, где смогу найти ту, кто таким образом вызывала меня на бой, человек мне ответил, что это будет в том же самом Дворце, где расположилась Королева Англии, и добавил, что мне стоит лишь спросить Миледи…, как меня сейчас же допустят к разговору с ней.

Если бы я мог достойно избавиться от битвы, [213] какую мне предстояло провести с Англичанином, я бы сделал это с легким сердцем теперь, когда у меня появилось другое дело, трогавшее меня гораздо ближе; но, не в силах ничего сделать, не замарав мою репутацию, я отправился в Резиденцию Мушкетеров, чтобы захватить с собой того из трех братьев, кто первый попадется мне под руку. Я не нашел никого, кроме Арамиса, кто принял слабительное час или два назад. Атос и Портос вышли, и я спросил у него, где бы они могли быть, поскольку его я считал не в состоянии оказать мне услугу; он мне ответил, что ему было невозможно мне это сказать, потому что они не сообщили ему, куда идут. Это меня озадачило; я испугался, как бы то же не произошло со всеми, кого я пойду искать. Арамис это заметил, и, угадав, чего я хотел от его братьев, он выскочил из постели и сказал мне, ухватившись за свои выходные штаны, что, одним слабительным больше или меньше в животе, но он не сможет допустить, чтобы я остался один. Он добавил, что удовольствие мне послужить принесет ему больше пользы, чем принятое им лекарство, и мне нужно только ему сказать, куда он должен идти.

Весьма ароматная дуэль

Он все еще одевался, говоря мне это, и я рассудил, что вовсе не должен с ним хитрить. Я ему признался в том, что меня сюда привело, и извинился, что принимаю его предложения в том состоянии, в каком он находится. Я ему сказал, что если и ловлю его на слове, я ни на единый миг не усомнился в том, что это доставит ему удовольствие, потому что мне известно его крайнее великодушие; но зная также, какой вред это может нанести его здоровью, я не потерплю, чтобы он подвергал себя такой опасности. Он не придал никакого значения моему возражению, закончил одеваться, и мы вместе явились на свидание, назначенное мне Англичанином. Он туда еще не прибыл, что меня весьма огорчило, потому что время, какое я проводил в

настоящий момент, не приближаясь к той, кто спровоцировала меня на другую битву, казалось мне совершенно зря [214] потерянным. Через полчаса Англичанин и его компаньон показались у стен Люксембурга, выходивших здесь за пределы города, и мы пошли им навстречу, настолько мне не терпелось завершить нашу ссору. Арамис был охвачен какими-то желаниями, двигаясь туда, и сказал мне, что очень хотел бы остановиться, если бы мог сделать это с достоинством; но, находясь в присутствии наших противников, он боялся, как бы они не истолковали во зло ту нужду, причины которой они не знали. Я ему ответил, что его стеснительность совсем ни на чем не основана, и все его знакомые знали, что он был столь бравым человеком, кого просто невозможно обвинить в слабости; я мог, к тому же, засвидетельствовать, в каком состоянии его нашел, что полностью оправдает его, если даже кто-то произнесет обвинение такого сорта.

Он никак не хотел мне поверить и заметил мне, что эти Англичане не были его знакомыми, и именно им он боялся внушить дурное мнение о своей храбрости, если поступит так, как я ему советовал; так, за разговором, мы и приблизились к ним. Мы все четверо обыскали друг друга, чтобы посмотреть, не было ли здесь какого-нибудь мошенничества, поскольку случалось, что некоторые фальшивые смельчаки натягивали на себя кольчугу и устремлялись на противника, прекрасно зная, что его шпага не могла причинить им никакого зла; мы не нашли ничего, не соответствующего установленным формам. Тем временем, и тогда как тот, кто должен был биться против Арамиса, ощупывал его со всех сторон, его желания настолько доняли его, что он уже был не властен делать или не делать того, что так ему хотелось. Усилие, какое он предпринимал над собой, чтобы сдержаться, заставило его перемениться в лице; Англичанин, кто был очень тщеславен, как почти все из его Нации, тотчас заподозрил, будто он испугался, и он больше совсем в этом не сомневался, когда распространился дурной запах, вынудивший его заткнуть себе нос. Этот Англичанин, очень большой [215] грубиян, сказал Арамису, что он задрожал вовремя, и если от простой щекотки рукой с ним случилось то, что он сейчас унюхал, то что же будет, когда он пощекочет его своей шпагой.

Арамис, по-прежнему донимаемый своими желаниями, дал тогда поблажку своему животу, чтобы не испытывать больше такого стеснения; Англичанин, обладавший столь добрым носом, торопливо отступил из страха, как бы не отравиться, но, хотя всей его заботой тогда было затыкать себе рукой нос, он был обязан в тот же момент оставить эту предосторожность, чтобы приняться

за другую — Арамис пошел на него с разящей шпагой в руке, и Англичанин, — боясь, как бы он не оказался таким же, как один Маршал Франции, кто, как говорили, никогда не ходил на битву, не страдая от того же неудобства, и кто, однако, заставлял себя бояться больше, чем никого другого, — подумал было защищаться, но сделал это так плохо, что едва Арамис смог его настигнуть, как он попятился. Тогда Арамис спросил его, у кого же из них двоих больше страха, и не об этом ли он хотел сказать, когда заявлял, что заставит его задрожать иначе, пощекотав его кончиком своей шпаги. Арамис, говоря это, неотступно следовал за ним по пятам и нанес ему, наконец, добрый удар шпагой, так что его предосторожность в быстром отступлении не смогла его уберечь.

Что же до его товарища, то он лучше справлялся со своими обязанностями в отношении меня, и если дрался и не более счастливо, то, по крайней мере, делал это, не сходя с места. Я нанес ему уже два удара шпагой, один в руку, другой в бедро; и, одновременно сделав ложный выпад под воротник, я приставил ему острие к животу и вынудил его молить меня о жизни. Он не заставил себя упрашивать, настолько он боялся, как бы я его не убил. Он вручил мне свою шпагу, и, покончив на этом битву между нами двумя, я побежал к моему другу, чтобы прийти к нему на подмогу, если он нуждался в моей помощи; но в этом не было необходимости, и он бы [216] вскоре сделал то же, что и я, если бы тот, против кого он бился, соизволил не столь резво отступать перед ним. Однако, когда тот увидел, что приближаюсь еще и я для атаки на него, следуя обычаю дуэлей, и что вместо одного человека, кого уже ему было слишком много, он сейчас получит двоих, он не стал дожидаться, пока я добегу, и сделал то же, что и его товарищ. Он вручил свою шпагу Арамису и попросил у него извинения за все, что он мог сказать ему неучтивого. Арамис охотно ему простил, и два Англичанина ушли, даже не попросив обратно их оружия, хотя мы имели намерение его вернуть; Арамис вошел в Дом Предместья Сен-Жак и, пока по его приказу разводили огонь, чтобы он смог переменить белье, предложил мне сходить купить ему рубаху и кальсоны. Я принес ему все, что он просил, и, проводив его затем к нему домой, тотчас же его покинул, чтобы пойти повидать мою Миледи.

Миледи хочет мстить за брата

Я спросил у Стражников, стоявших перед дверью Королевы Англии, где находятся апартаменты Миледи…. Тот, кто меня

осведомил, сказал, что не думает, чтобы я смог бы поговорить с ней в настоящее время, поскольку она только что села в карету и уехала навестить своего брата, кто был недавно ранен. Его слова тут же заставили меня заподозрить, что, должно быть, это был один из двоих, против кого мы имели дело, Арамис и я. Так как этот Стражник был Француз и показался мне довольно честным, я спросил его, прикинувшись, будто не придаю этому большого значения, где же могло случиться такое несчастье. Он мне ответил, что произошло это за Картезианским монастырем; брат хотел послужить секундантом одному из своих друзей; обо всем уже сказали Королеве Англии, дабы она приняла свои меры при Дворе, чтобы покарать того, кто привел его в подобное состояние.

Я не захотел узнавать больше, чтобы убраться оттуда. Я подумал, что не должен представать перед моей Миледи после того, как стал причиной несчастья ее брата, и какую бы доброту она ни питала ко [218] мне, надо было дать ей время, по меньшей мере, посмотреть, к чему приведет эта рана. Потому я сказал Стражнику, что, поскольку она сейчас в таком затруднительном положении, я подожду другого раза явиться ее повидать. Стражник мне ответил, что я правильно сделал, приняв такое решение; она очень любила своего брата и все равно была бы не в состоянии меня принять. Я ушел оттуда весьма огорченный этой помехой, боясь, как бы она не лишила меня удачи, обещавшей мне большое удовольствие, хотя я и не знал, чем она была на самом деле. Я вернулся к себе, более разозленный тем, что эта битва столь близко коснулась ее, чем интересом, проявленным к дуэли Королевой Англии. Я знал, что, говоря против Арамиса и меня, она не могла поступить никак иначе, как говорить и против обоих Англичан.

Игра в кошки-мышки

Прошло три дня, и я не получал никаких новостей от моей Миледи, все еще очень занятой братом, чья рана показалась поначалу намного более опасной, чем была. Но, наконец, успокоившись за это время, я получил на четвертый день второе письмо, составленное так:

> «Я прекрасно вижу, как, вместо того, чтобы признать допущенную вами ошибку и явиться просить у меня за нее прощения, вы желаете осложнить положение, все еще сохраняя шпагу, которой вы или ваш секундант не овладели бы с такой легкостью, как вы это сделали, если бы имели дело не с Коксом и моим братом, если бы

имели дело со мной. Пришлите мне их оружие или, скорее, принесите мне его сами, не боясь, что я пожелаю воспользоваться им против вас. У меня есть гораздо более опасное, чем это, и оно такого свойства, что, вовсе не желая мне зла, когда я снисхожу до употребления его по поводу кого-либо, мне за это бывают признательны».

Эта записка очаровала меня ничуть не меньше, чем первая, и, уже считая себя самым счастливым из людей, я отправился к Арамису, чтобы умолять его отдать мне шпагу, оставшуюся в его [219] распоряжении. Я сказал ему, что те, против кого мы бились, попросили меня вернуть им шпаги через такую особу, кому я ни в чем не могу отказать. Он не стал меня расспрашивать, кто же это был, да я бы и не сказал ему, рассматривая это дело, как очень для меня серьезное. Он мне возвратил эту шпагу, и, спрятав обе под плащом, каким я специально запасся, я тут же явился к Миледи… Я бросился к ее ногам, едва вошел, и, вручив ей шпаги, сказал ей, — когда бы даже она пронзила бы меня ими сама, она лишь исполнила бы свой долг, поскольку я имел несчастье ей не угодить; однако, если она задумала взяться за месть другим оружием, каким она мне угрожала, я признался, что не мог бы умереть более прекрасной смертью. Я говорил правду или, по меньшей мере, был уверен, что ее говорю, объясняясь с ней таким образом. Никогда не существовало более красивой особы, чем она, и вопреки времени, протекшему с тех пор, я признаюсь, что еще не могу подумать о ней, не почувствовав, как вновь открываются мои раны. К тому же, она обладала не меньшим разумом, чем красотой, потому-то отношения, в какие входишь с такими особами, длятся гораздо дольше, чем те, в какие входишь с другими.

Моя Англичанка ответила мне, что я слишком дешево отделаюсь, если она сделает то, о чем я ее просил; вовсе не шпагой она намеревалась меня атаковать, но таким оружием, что вскоре даст мне почувствовать, на что она способна. Я ей ответил, видя, насколько открыто она говорила, что нисколько в этом не сомневаюсь, и, не откладывая на дальнейшее, я уже испытываю достаточное могущество, какое имеют надо мной ее глаза, не упоминая о других ощущениях. Она мне заметила, что мне нечего делать, как только смеяться, потому что, если я смеюсь теперь, то, может быть, вовсе не всегда мне доведется смеяться. Ее игривость мне понравилась, и, влюбившись прямо с этого первого визита, я становился все более и более влюбленным, до такой степени, что был счастлив, лишь когда находился подле нее. [220] Я нажил не одного ревнивца, потому что она явно выражала свое

расположение ко мне. Я позволил себе воспламениться еще больше, и так как она была благородной девицей и, казалось, обладала всеми достоинствами, какие могла иметь молодая особа, я не выдержал и сказал ей в порыве страсти — хотя я и был очень счастлив отдать ей мое сердце, однако, никогда не смогу надеяться быть совершенно счастливым, если не буду обладать ее сердцем, и скорее совершу невозможное, чем откажусь от моей цели. Она спросила, как бы насмехаясь надо мной, как я собираюсь за это взяться, чтобы преуспеть. Я ей ответил, что постараюсь добиться успеха на войне, дабы получить возможность предложить ей руку и сердце; я не намеревался покупать себе счастье в ущерб ее благополучию; я предпочел бы никогда ничем для нее не быть, чем добиться моих целей, не окружив ее достатком; я имел честь быть дворянином, и даже из довольно славного Дома; а так как мне недоставало лишь богатства, чтобы быть, как другие, я буду трудиться изо всех моих сил, но я его добуду.

До сих пор эта девица обращалась ко мне с наилучшей миной в мире, и любой другой, так же, как и я, подумал бы, что он ей по душе; но едва я закончил эту речь, как увидел ее внезапно изменившейся в лице. Она меня спросила, с видом настолько же способным оледенить, насколько прежний ее вид обращал меня в сплошное пламя, хорошо ли я знал, кем она была, чтобы осмеливаться разговаривать с ней подобным образом; если я не знал, она была рада мне это сообщить; она была дочерью пэра Англии, и особа ее знатности не пара маленькому дворянину из Беарна; к тому же, она не постесняется мне сказать, что я принадлежал к Нации, настолько для нее ненавистной, что даже, когда бы я сделался тем, кем вознамерился стать, она бы не пожелала и взглянуть в мою сторону; итак, если она и проявляла ко мне противоположное отношение до сих пор, то только для того, чтобы лучше подчеркнуть мне ту [221] ненависть, какую она питала к Французам, и чтобы тем вернее отомстить за презрение, какое я осмелился показать к ее Нации перед Королевой Англии.

Я, признаюсь, был настолько поражен, когда услышал от нее такие слова, что подумал, уж не сплю ли я. Тогда я ее спросил, не испытывала ли она меня, говоря все это, и если так, то при том состоянии, в какое она меня привела, для нее это было совершенно бесполезно, поскольку она обладала мной столь абсолютно, что я гораздо больше принадлежал ей, чем самому себе; она ответила мне с беспримерным варварством, что очень этому рада, потому что я тем больше буду страдать, чем больше я ею увлекусь. Я оставляю другим думать, как выходка, вроде этой, повлияла на меня. Я бросился к ее ногам, умоляя не доводить

меня до отчаяния, как она это делала, но добавив презрения к без того уже жестоким словам, она мне сказала, что другая на ее месте запретила бы мне, может быть, заходить ее навещать, но, что до нее, то она будет рада вновь меня видеть, дабы иметь больше случаев насмехаться надо мной. Если и было какое-то средство, способное меня излечить, так это были, без всякого сомнения, ее слова; они должны были заставить меня ненавидеть ее так же, как я смог ее полюбить; однако, я любил ее чистосердечно, и, поскольку не так-то просто, как думают, переходят от любви к ненависти, или от любви к безразличию, я ушел от нее в таком отчаянии, какое легче себе вообразить, чем описать. Едва я вернулся домой, как сразу же ухватился за перо. Я писал тысячу вещей и зачеркивал их одни за другими, потому что они мне были не по вкусу. Наконец, проделав эту карусель уже не знаю сколько раз, я остановился вот на каких словах, — мне показалось, что я лучше выразил ими свою мысль:

> «Гораздо больше бесчеловечности в том, что вы сделали, чем если бы вы нанесли мне тысячу ударов кинжалом один за другим; вы были правы, грозя мне полностью отомстить за то, что я сказал, не [222] задумываясь. Вы не могли бы лучше взяться за это, чтобы добиться цели, единственно в этом я признаю ваше чистосердечие. Что меня удручает, так это то, что я еще не научился вас ненавидеть, хотя ваше поведение должно бы сделать вас намного более ненавистной в моих глазах, чем вы кажетесь желанной в глазах других».

Презрение и насмешка

Я отправил это письмо Миледи с лакеем, кого я содержал с некоторого времени на доходы от моей игры. Он ее нашел в ее комнате в компании некой горничной; та пользовалась у нее большим доверием. Она сказала этому малому, что сейчас мне ответит — но вот весь ответ, какой она мне устроила. Она позвала к себе девиц Королевы, ее госпожи, и вдоволь посмеялась над моим письмом вместе с ними. «Вы скажете вашему мэтру, — обратилась она к этому лакею, — какое значение я придала тому, что он мне написал; вы сами были свидетелем этому, и я ничуть не сомневаюсь, что, при таком добром свидетельстве, он имеет все основания быть довольным».

Такой ответ для меня стал довершением моего отчаяния. Я заставлял моего лакея три или четыре раза рассказывать мне все, что он видел. Я делал все, что мог, убеждая себя не только

бросить ее, но еще и отомстить. Я находил, что этим лишь восстановлю справедливость; ведь то, что она мне подстроила, называлось не иначе, как западня; я не могу быть порицаем вообще никем за то, что сделаю против нее; но эти мысли, возбуждаемые поначалу огромной досадой, не задерживаясь надолго в моей душе, вскоре уступали место другим, имевшим большее отношение к любви. Я продолжал, вопреки всякому презрению, ухаживать за ней, и ей еще хватало жестокости это терпеть, поскольку она рассудила, — чем чаще я буду ее видеть, тем более я стану жалок; действительно, я сделался таким настолько, что все сказанное мной здесь для описания моего состояния даже не приблизится к нему никаким образом. Она получала огромное удовольствие, видя меня в таком [223] положении, и, спрашивая меня время от времени, по-прежнему ли я верю, что лучше устраивать свое жилище с медведями, чем с особами ее Нации, она мне ясно показала, что если ее лицо и было весьма далеко от сходства с мордами этих зверей, зато ее сердце походило на их сердца в точности.

Чем рискуют в злачных местах

Пока она в столь ужасной манере обращалась со мной, случай предоставил мне возможность поверить, что я смогу заставить ее отказаться от неприязни ко мне. Ее брат, кто давно уже излечился от своей раны, и кто был крайне развратен, пошел повидать гулящих девиц, проживавших довольно близко от его дома, и с ним произошло то, что достаточно часто происходит с людьми, принимающимися за ту жизнь, какую вел и он. Он был оскорблен бретерами, которые, пожелав завладеть тем, что при нем было, устроили ему Германскую ссору. Один из них заявил ему, будто тот набрался дерзости явиться на свидание с его женой, и он взял в руку шпагу без всяких дальнейших приветствий. Товарищи этого бретера одновременно выхватили свои шпаги, и все, что мог сделать Англичанин в подобной ситуации, это кинуться в ближайший кабинет и захлопнуть за собой дверь. По счастью, внутри имелось кольцо с крюком, и, воспользовавшись ими, чтобы сделать себе заграждение из двери, ожидая, когда к нему смогут прийти на выручку, он принялся призывать себе на помощь из окна кабинета, выходившего на улицу.

К счастью для него, я проходил мимо с тремя или четырьмя гасконскими дворянами, кого я угостил завтраком. Так как я знал, что здесь было злачное место, я им сказал — может быть, кто-то из наших друзей попал в переплет, и если они захотят мне

поверить, мы войдем туда и постараемся его оттуда вытащить. Они приняли это предложение, и, вместе поднявшись, мы начали делать с дверью комнаты, где были бретеры, то же, что они пытались сделать с дверью кабинета, где находился Англичанин. Они изо всех сил выламывали ее и не замедлили бы [224] добиться своего, но предпринятая нами диверсия дала двери небольшую передышку, и эти убийцы, или эти воры, а, может быть, одно и другое вместе, поскольку такие люди способны на все, сбежались на нашу сторону, чтобы улизнуть прежде, чем правосудие наложит на них руку. Итак, сами открыв дверь, уже получившую от нас несколько бесполезных ударов, едва распознав по нашим минам, что мы не имели ничего общего со стражниками, они сказали нам, что не намеревались защищаться против нас, как могли бы сделать против Комиссара; они рассчитывали на нашу мудрость, чтобы выслушать их резоны, и просили нас не становиться в позу неумолимых.

Они рассказали нам то, о чем я уже говорил, то есть, что один из них был мужем одной из женщин, находившихся тут же, перед нашими глазами, и, не стерпев, чтобы какой-то Англичанин являлся ее навещать, они преследовали его и загнали в кабинет. В конце концов, они не верили, что такие люди, как мы, могли бы оправдать какого-то иностранца, являвшегося наносить подобное оскорбление Французу прямо в его доме. У меня было столько причин ненавидеть Англичан из-за манеры обращения со мной Миледи…, что, признаюсь, я не был больше настолько разгневан, как раньше, на этих негодяев. Мы объявили им помилование под впечатлением от их обвинительной речи. Однако, так как все мы были слишком гуманны, чтобы оставить им на растерзание этого иностранца, мы вытащили его из кабинета, несмотря на упорное нежелание его открыть дверь, настолько он был перепуган. Но, наконец, позволив себя убедить, он вышел из своего укрытия. Он был разом страшно поражен и страшно весел, когда меня узнал; ему было известно, как я влюбился в его сестру, и он даже принимал участие во всех ее жестокостях ко мне; он тотчас рассудил, — если только я не изменил своих чувств по ее поводу, то приму его сторону с той же горячностью, как я мог бы это сделать для моего собственного блага. [225]

Как только я бросил на него взгляд и узнал его, я действительно дал ему в этом слово. Я сказал ему, взяв его за руку в знак дружбы: «Как, Милорд, вы, у кого такие прелестные цыпочки под боком, приходите сюда заниматься любовью со старыми клячами, подобными тем, что я вижу здесь». Поскольку передо мной находились две, кто не были ни красивы, ни молоды, и, даже если бы они и обладали этими двумя

качествами, они все равно не удостоились бы от меня большего внимания, учитывая подлое ремесло, каким они занимались. Я был прав, делая такой упрек Милорду, потому что Королева Англии имела подле себя пять или шесть фрейлин, хотя и не казавшихся мне столь же красивыми, как Миледи…, но наверняка бывших таковыми в глазах всякого другого. Он мне ответил, что это было безумие, простительное людям его возраста, но он в него никогда больше не впадет после того, что с ним приключилось. Он приблизился в то же время ко мне и сказал совсем тихо: «Месье д'Артаньян, вы оказали мне сейчас услугу, что никогда не умрет в моей памяти. Я хочу, чтобы моя сестра изменила свое поведение по вашему поводу, и если она не сделает все, что я ей скажу, я вам ручаюсь — она будет иметь дело со мной».

Это обещание мне было в тысячу раз приятнее, чем если бы он мне дал сто тысяч экю, хотя меня весьма бы устроил такой подарок. Я обнял его в ту же минуту, думая лучше так засвидетельствовать ему мою признательность, чем всем тем, что мог бы ему сказать. Одновременно я шепнул ему на ухо, не желает ли он, чтобы мы вышвырнули бретеров в окно. Он ответил мне, что они достаточно оскорбили его, чтобы возбудить в нем такое желание, но, имея секретные резоны скрыть это приключение, он не только от всего сердца отказывается от этой прихоти, но еще и умоляет меня никому и ничего об этом не говорить. Его секретные резоны состояли в том, что он был влюблен в одну благородную женщину из его страны, и если бы она случайно узнала, [226] что он посещал места такого сорта, ему пришлось бы навеки распроститься с надеждой, что она позволит ему когда-нибудь приблизиться к ней.

Как только милорд поговорил со мной таким образом, мир с бретерами был заключен, и мы его увели, мои друзья и я, не осведомляясь о том, что с ними произошло, когда Комиссар вошел в этот дом, в то время, как мы были всего лишь в четырех шагах от него. Этот Комиссар послал кого-то за нами, чтобы просить нас дать показания против них, но мы нашли весьма кстати указать ему справляться со своими делами, как он сам сумеет, а мы никогда не послужим свидетелями для устройства процесса кому бы то ни было.

Жестоко обманутая надежда

Я был тогда настолько переполнен надеждами, данными мне милордом, что моим самым большим желанием было состариться на несколько часов, дабы увидеть, не станет ли Миледи…

немного более снисходительна. Но я был неправ, выказывая такую поспешность, поскольку время не должно было принести мне ничего хорошего. Тем не менее, здесь не было никакой вины милорда. Я узнал от надежного лица, что он сделал все возможное, убеждая свою сестру обходиться со мной иначе. Он ее даже просил, увидев, что она не могла решиться относиться ко мне по справедливости, притвориться, по крайней мере, будто бы у нее нет такого уж отвращения ко мне. Но как бы он с ней ни разговаривал, признавшись ей даже в своем обязательстве передо мной, дабы скорее склонить ее к этому, ему не удалось ничего от нее добиться. Я по-прежнему ходил к этой красивой и привлекательной особе, ходил, пожалуй, слишком часто для моего собственного покоя, потому что она имела жестокость всегда позволять мне ее видеть, дабы заставить меня еще дороже расплатиться за доставленное удовольствие. Ее брат не осмелился признаться мне, в каких чувствах он ее нашел, и предоставил мне самому разбираться в них во время визитов, какие я ей наносил. На следующий же день я был у нее, терзаемый страхом и надеждой. [228] Едва она меня увидела, как сразу же спросила, как бы я хотел, чтобы она обходилась со мной теперь; когда я ухитрился добавить к неприязни, какую она уже испытывала ко мне, тяжкий ущерб, какого она не простит мне за всю свою жизнь, даже если проживет еще тысячу лет.

Я не знал поначалу, что она хотела этим сказать, тем более, что она разговаривала со мной с развеселым видом, и как особа, получившая скорее повод для смеха, а не для злобы, как она заявляла. Все гадости, какие она мне говорила, всегда были произнесены шутливым тоном, и это было так ново для меня, да, я полагаю, и для всего света, что не было никакого средства к этому привыкнуть. Я пожелал узнать, каков же был этот новый ущерб, в котором она меня обвиняла; она мне ответила с прежней веселостью, что, должно быть, я просто тупица, если не понял этого сам; я, может быть, поверил, будто доставил ей громадное удовольствие, спасши жизнь ее брата, а, однако, я должен был бы знать, что наиболее смертельно огорчу ее именно этим, чем всем другим, что бы я там ни сделал; или я считаю за безделицу отнять у нее сто тысяч ливров ренты, перешедших бы к ней без моего вмешательства; этот поступок она не забудет никогда в жизни, он один способен был бы внушить ей самое устрашающее отвращение в мире, когда бы уже не имелось семян, готовых прорасти в назначенное время.

Признание в любви горничной

Я приписал все эти речи логическому проявлению ее характера. Однако, если бы я узнал, как мне довелось позже, о том, что тайно происходило в ее сердце, я бы вынес другое суждение. Она действительно пришла в отчаяние оттого, что я помешал ей сделаться наследницей; итак, вместо того, чтобы принимать ее слова за насмешку, я гораздо лучше бы сделал, приняв их буквально, дабы воспользоваться ими для собственного излечения. Однако, если я, к несчастью, никак не мог смягчить ее нрав, зато на меня более благосклонно смотрела ее горничная; либо она прониклась жалостью, видя, как дурно со [229] мной обращаются, или, что более правдоподобно, я больше пришелся по вкусу ей, чем ее госпоже. Так как эта горничная была довольно хорошенькая и верила, что в моем возрасте у меня должен быть достаточно добрый аппетит, она сказала мне, что умирает от желания утешить меня после резкостей своей госпожи. Она завела со мной такие речи в один прекрасный день, когда той не было дома. Она начала с того, как сочувствовала моему горю; может быть, я так не думаю, но она хотела сделать все для моего излечения, вплоть даже до того, что будет неверна, ради любви ко мне, той, кто сделала меня столь несчастным.

Я понял, что это могло означать, и, начав нашептывать ей всякие нежности, поскольку сообразил, что ничто другое не способно ее разговорить, затем изменил тон и свел всю нашу беседу к ее госпоже. Я ей сказал, — если она еще и видит, как я прихожу ее повидать после всего, что она мне сделала, то ей не нужно верить, будто это было из-за любви; совсем напротив, я делал это с намерением найти удобный случай за себя отомстить; только ее я хотел любить отныне, и лишь от нее одной зависит, чтобы я дал ей все доказательства, какие она может пожелать. Мой молодой возраст, делавший меня чувствительным ко всем женщинам, лишь бы они стоили труда, стал причиной того, что я начал с этого момента показывать ей, что говорю правду по ее поводу. Она не хотела поверить мне так скоро из страха, как бы потом не раскаяться; она притворилась мудрой, хотя больше уже таковой не была. Однако, чтобы не выглядеть неблагодарной за те свидетельства любви, какие я ей тут же дал, она сделала мне признание, крайне поразившее меня. Она мне сказала — если ее госпожа и была ко мне несправедлива, то вовсе не от отвращения к Французам, как она пыталась меня убедить, но оттого, что она отдала свое сердце другому; хотя она и делала вид, будто ненавидит нашу Нацию, на самом деле она связала все свои надежды именно с ней, воплощенной в персоне [230] Маркиза де Варда, молодого Сеньора, одного из самых ладных красавцев Двора, в кого она безумно влюбилась; она была настолько

безрассудна, чтобы вбить себе в голову, — поскольку они оба происходили из равно славных Домов, он будет слишком счастлив на ней жениться; без моей помощи, оказанной ее брату, все это могло бы стать правдой, потому что если он был бы убит в этой схватке, она сделалась бы такой крупной наследницей, что это была бы большая удача для Маркиза — возможность сделать из нее свою жену.

Когда горничная осведомила меня обо всех этих вещах, я пожелал узнать, в каких отношениях Маркиз де Вард находился с ее госпожой, и добился ли он от нее каких-нибудь милостей. Она мне ответила, что он ничего не добился, потому что никогда с ней не говорил; правда, он заходил иногда повидать Королеву Англии, но так как Ее Величество строго наблюдала за поведением своих фрейлин, среди которых всегда была и Миледи…, хотя она и не принадлежала к их числу, Маркизу было невозможно с ней поговорить, когда бы даже он и имел такое намерение; однако она не могла сказать наверняка, знал ли он о ее любви к нему, потому что он так сильно вспыхивал в ее глазах всякий раз, когда она на него смотрела, что не требовалось быть особенно ясновидящим, чтобы это угадать; она несколько раз хотела к нему писать, но всегда отказывалась от своего желания, объясняя ей, что он никогда не сможет питать к ней большого уважения с момента, когда она дойдет с ним до этого.

Женщины верят тому, чему желают верить

Я был чувствительно задет этими новостями, что не могли иметь большего значения для моей любви. Я старался, тем не менее, скрыть волнения, какие они возбудили во мне, из страха, как бы не разрушить то, что попытался внушить горничной. Я думал, что было важно не показать ей мою слабость по этому поводу, и, наоборот, заставить ее поверить, что если я хотел быть в курсе всего, что приключится впоследствии от этой страсти, и если какая-то есть [231] и во мне, то только она была тому причиной. Я довольно-таки преуспел в моем намерении, и мы расстались самыми добрыми друзьями, эта девица и я, хотя между нами не произошло еще ничего такого, чтобы я мог совершенно положиться на нее; она пригласила меня заходить навещать ее в часы, когда ее госпожи не будет дома. Я пообещал ей это, как человек, ни за что не упустивший бы такого случая ради любви, какую я уже испытывал к ней. Она легко в это поверила, потому что я, показался ей влюбленным и потому, что женщины с радостью верят тому, чему желают верить. Между тем, принявшись с этого самого дня изучать Маркиза де Варда с ног до

головы, я заметил, какими странными бывают глаза у соперника. Хотя я не мог отказать ему в справедливости, что каждый получает по собственным заслугам, но находил возражения всему, что бы он ни делал. То я находил определенный напыщенный вид во всех его манерах, то, желая показаться остроумным, он был им гораздо менее, чем сам о себе возомнил. Я хотел также, когда он желал иметь чересчур доброе мнение о своей персоне, чтобы другие не ценили его вовсе, и так, всегда расположенный судить о нем к его невыгоде, я рисовал себе с него ужасающий портрет, в то время, как он даже не подозревал о моем существовании на этом свете.

ЧАСТЬ 6
Свадьба при Дворе

Тем временем при Дворе состоялась свадьба, имевшая последствия, что могли бы принести мне большую известность, если бы не помешали чести, какой хотел меня удостоить Месье де Тревиль по этому случаю; впрочем, я расскажу об этом. Маркиза де Коален, молодая вдова, красивая и богатая, влюбилась в Шевалье де Буадофена, младшего отпрыска славного Дома; он был очень хорош собой. Она вышла за него [234] замуж вопреки Канцлеру и Канцлерше, так же, как и вопреки всем родственникам ее первого мужа. Нет ничего удивительного, что эти не пожелали дать ей своего согласия, поскольку эта вторая свадьба была способна разорить детей от первого брака; но что до Канцлера и Канцлерши, то они не смогли бы найти себе зятя, сделавшего бы им большую честь, даже если бы они обыскали всю Францию; всем было прекрасно видно, что их огорчали не личные достоинства Шевалье, а та довольно скудная часть состояния, доставшаяся ему при дележе. Так как он изменил имя сразу же после свадьбы, и вместо имени Шевалье де Буадофена принял титул Графа де Лаваль, я не буду называть его больше иначе, когда мне придется о нем говорить.

Канцлерша в восторге от собственного зятя

Этот Граф уже занимался любовью со своей женой, но Канцлерша еще не была с ним знакома, хотя его связь с ее дочерью длилась довольно порядочное время; итак, увидев его однажды, явившегося к Францисканцам с Королевской Площади, куда она ходила по какому-то богоугодному делу, она сказала сопровождавшей ее даме, с кем раскланялся этот новый Граф, что надо признаться — этот человек был отлично сложен, и он ей весьма понравился. Дама, обрадовавшись возможности позабавиться, видя, что та его совсем не знала, не сочла своим долгом тотчас же докладывать ей, кто он такой, хотя Канцлерша ее об этом уже спрашивала, добавив, насколько она была очарована его видом и его славной миной. Итак, вместо ответа она заметила ей — нет ничего удивительного в том, что этот Шевалье так сильно пришелся ей по вкусу, поскольку он также по вкусу множеству дам; доброе количество их находило в нем свою радость, и одна среди других ценила его гораздо больше, чем всех остальных мужчин.

Ее слова уверили Канцлершу, что существовала какая-то любовная интрижка со стороны упомянутой Дамы, и это еще больше раздразнило ее желание познакомиться с Шевалье. Итак, она попросила [235] свою подругу не держать ее больше в нетерпении и, не откладывая, назвать ей его имя и в то же время имя дамы, кто настолько его ценила; но эта подруга коварно ей ответила, что определенная щепетильность не позволяла ей удовлетворить Канцлершу; уже сказанное ей имеет некоторый вид злословия, а потому она полагает совсем некстати называть ей имена ни одного, ни другой; если она ей все расскажет, это может навлечь на нее какое-нибудь дурное суждение. Канцлерша приняла все это за чистую монету. Однако, так как она была женщиной, а значит, чрезвычайно любопытной особой, она шепнула одному из своих лакеев, выходя из Церкви, подойти к такой-то Капелле и спросить у лакеев, одетых в такие-то ливреи, как зовут их мэтра. Поскольку существует множество похожих ливрей, этот лакей перепутал ливреи одного Генуэзца, прибывшего ко Двору месяц или два назад, с ливреями Графа де Лаваля; итак, когда он обратился к людям первого, они ему ответили, что их мэтр звался Маркиз Спинола.

Канцлерша, пригласившая Даму отобедать у нее, не пожелала подниматься в карету, пока лакей не принесет ей ответ. Он передал ей на ухо имя, названное ему лакеями Генуэзца, и Канцлерша, не подозревая, что он мог обмануться в сведениях,

переданных ей, сказала тогда другой, что та не подверглась бы большому риску, назвав ей человека, чье имя ей так хотелось узнать, поскольку она в первый раз о нем слышит; так же и его любовница не должна быть ей более знакома, чем он, а потому та могла ей ее назвать, поскольку невозможно сложить дурного суждения о персоне, какую совсем не знаешь.

Дама прекрасно видела, что здесь произошло какое-то недоразумение и даже галиматья во всем этом, и, не желая прояснять факты, терпела, пока Канцлерша вела с ней беседу с умным видом о так называемом Маркизе, не возражая ей ни в какой манере. Та, не уставая о нем говорить, сказала ей, что если бы ее дочь, де Коален, вышла замуж за [236] человека, вроде этого, по крайней мере можно было бы сказать, что она не слишком дурно выбрала, и она сама первая заняла бы ее сторону. Другая имела здесь превосходный случай не устраивать больше никаких тайн и признаться, что тот, кого она принимала за Маркиза Спинолу, был ее собственным зятем; но, догадываясь, что после того, как этот человек столь сильно пришелся ей по сердцу, она не удержится и захочет поговорить о нем за обедом с Канцлером, та имела достаточно коварства, чтобы не разубеждать ее так рано. Она хотела насладиться всей комедией целиком и лишь аплодировала тому, что говорила Канцлерша. Впрочем, все произошло так, как она и думала. Канцлер спросил у своей жены, не выходила ли она утром, и если да, то куда; та ему ответила, что была у Францисканцев, где видела множество весьма знатных персон; однако, она скажет ему со всей искренностью и не боясь вызвать его ревность, что если бы ей предстояло еще выйти замуж, и она была бы сама себе хозяйкой, то она увидела там одного мужчину, хотя и совершенного иностранца, кто был бы способен занять большое место в ее сердце; самого Шабо с его великолепным танцем и впечатляющей внешностью нельзя было бы и близко с ним поставить; счастье Шабо, что этот человек не явился в Париж до того, как он женился на Герцогине Роан, потому что, если бы Герцогиня его увидела, она наверняка отдала бы предпочтение ему в ущерб первому.

Канцлер упрям, как мул

Канцлерша добавила еще множество вещей, стремясь приукрасить своего героя настолько, что Канцлер, теряясь в догадках, кем бы мог быть этот человек, столь ладно скроенный, с таким величественным видом и славной миной, наконец, спросил, не было ли какого-нибудь средства узнать его имя. Она ему ответила, что не было тут никакой загадки, как ее пыталась уверить некая Дама, не пожелавшая ей его назвать, хотя она ее и просила об этом несколько раз. Этими словами она обличала свою приглашенную и верила, что накажет ее по заслугам за то, что [238] та устраивала ей тайну из такой простой вещи, какую она так легко узнала на стороне. Испытывая, по меньшей мере, такое же нетерпение сообщить своему мужу, как звали ее Адониса, как и он, спрашивавший об этом, она назвала ему имя Маркиза Спинолы; он тут же ей возразил — или же кто-то посмеялся над ней, или ей захотелось поиздеваться над ним; он сам неоднократно видел этого Маркиза, направляясь к Королю, и тот не только не обладал той славной миной, какую она ему расписывала, но был способен вызвать скорее отвращение, чем восторг.

Его ответ изумил Канцлершу; она хотела призвать своего лакея в свидетели того, что она говорила правду. Канцлер ей возразил — уже не думала ли она, что лакей достоин большего доверия, чем он, будто у того были лучшие глаза, чем у него. Приглашенная смеялась украдкой над их спором; она еще и не так бы рассмеялась, если бы не боялась, что Канцлерша и от нее тоже потребует свидетельства; но дело обернулось совсем другим образом, и вот как свершилась развязка. Канцлер, рассерженный постоянными утверждениями жены, что ее Маркиз Спинола был красавцем и имел тот вид, в каком нам обычно представляют Бога Марса, сказал ей, что не удовлетворится общим описанием и хотел бы, чтобы она обрисовала этого человека в деталях. Она только этого и желала, и когда сделала это, он прекрасно увидел, что упомянутый человек был не кем иным, как его зятем. Он сказал, что она не должна бы больше порицать свою дочь, влюбившуюся в него, раз уж сама призналась, что если бы ей предстояло выходить замуж, с ней случилось бы то же самое. Она была крайне поражена его словами и немного обиделась на Даму, окружившую тайной все, что с ней произошло в настоящее время. Но законы гостеприимства требовали от нее сдержанности по отношению к гостье, потому на этом все и закончилось, и это дело больше не выносилось на обсуждение.

Однако Канцлерша прониклась отныне такой [239] симпатией к своему зятю, что если бы это зависело лишь от нее, она не только простила бы дочь в тот же час, но еще и согласилась бы с ней по поводу великолепного выбора, какой она сделала, снова выйдя замуж. Оставалось пожелать этим новобрачным, чтобы и Канцлер был бы в таком же настроении. Но так как он был упрям, как мул, хотя и добрый человек в глубине души, он продолжал не только вести с ними войну, но еще и жаловался совершенно несправедливо: они столь мало старались обезоружить его гнев, что не боялись даже ежедневно показываться именно в тех местах, куда он должен был направляться по обязанностям своей службы. Речь шла о Лувре, где Граф и Графиня часто находились в их качестве Придворных, и так как их общие друзья были бы рады видеть их всех примирившимися, они посоветовали молодым удалиться из Парижа на некоторое время, дабы выказать Канцлеру большее почтение. Граф и Графиня попросили тогда Месье де Бельевра, кого мы увидим позже Первым Президентом Парламента Парижа, одолжить им его дом в Берни, располагавшийся у самых ворот этого великого города. Он был счастлив предоставить им это удовольствие, и когда они туда переехали, весь Двор являлся их там навещать, вовсе не заботясь о том, что мог сказать об этом Канцлер. Оба новобрачных были весьма уважаемыми персонами, кроме того, все прекрасно понимали, — когда у Канцлера пройдет его фантазия, он ни и коей мере не будет возражать против того, чтоб к ним являлись с визитами, он даже будет признателен тем, кто оказывал им знаки внимания.

Так как никто не сомневался в подобных ожиданиях, явились разнообразные посредники для налаживания примирения между столь близкими особами. Граф и Графиня и не требовали ничего лучшего, и говорили всем, кто с ними об этом беседовал, что если требовалось идти просить на коленях прощения у Канцлера, они всегда готовы это сделать; больше того, если бы они знали, что их свадьба [240] должна быть ему неприятна, они бы воздержались от такого шага, чтобы не подавать ему повода огорчаться из-за них. Не было ничего более покорного, чем эти их слова, и их друзья старались превозносить их перед Канцлером, но так как его трудно было провести, он им отвечал, что не было ничего проще говорить так после сделанного шага, когда всем прекрасно известно, что он уже не способен здесь ни прибавить, ни убавить. Итак, он казался суровым, как старый Капрал, как вдруг смягчился и тогда, когда об этом меньше всего думали. Вот как все это произошло.

Вспыльчивость Месье де Тревиля

Месье де Тревиль, осмеливавшийся сопротивляться Кардиналу де Ришелье, кто был, однако, ужасом всей Высшей Знати, заставил ценить себя еще больше теперь, когда имел дело всего лишь с вялым Министром, и о ком уже начинали поговаривать, что стоит ему показать зубы, как добьешься от него, чего захочешь, — Месье де Тревиль, говорю я, вырвав у него некую милость, какой он от него никогда бы не добился, если бы тот не боялся его еще больше, чем не любил, сам явился представить Грамоты Канцлеру из страха, как бы тот не отказался скрепить их печатью, если он распорядится представить ему их через кого-нибудь другого. Канцлер, кто не был вовсе так же вял, как Кардинал, хотя и любил угождать Могущественным, приняв Грамоты и увидев, прочитав их, что если он приложит к ним печать, это может подать повод к ропоту тех, кто мог иметь здесь интерес, вернул ему Грамоты, не пожелав их скрепить. Он сказал, что ему надо предварительно поговорить о них с Королевой Матерью, а когда его спросят, по каким причинам Грамоты не прошли через Канцлера, он надеется, что никто об этом больше и не подумает. Тревиль, не привыкший, чтобы ему отказывали в лицо, ответил на Гасконский манер, что, видимо, Королева прекрасно знала, что делала, когда предоставляла ему ту милость, какую он теперь предъявляет Канцлеру, что тот немного слишком о себе возомнил, желая [241] контролировать ее действия, и если тот не скрепит Грамоты добровольно, то ему не составит труда заставить его скрепить их силой; Королева сама прикажет ему вскоре это сделать, и лучший совет, какой он мог бы ему дать, как добрый друг, не связывать себе рук подобным делом.

Он немного чересчур занесся, говоря таким образом с первым Чиновником Короны; но каким бы разумом ни обладал человек, бывают обстоятельства, когда, далеко не владея своими чувствами, позволяешь себе увлечься до такой степени, что теряешь рассудок. Месье де Тревиль, вместо того, чтобы прийти в себя и сделаться более мудрым, не удовольствовался только тем, что сказал, но совершил еще один поступок, оскандаливший всю Роту. Это был день Печати, и событие стало еще более замечательным от большого числа людей, собравшихся там; как бы там ни было, не заботясь более о стольких свидетелях своей вспыльчивости, он снова спросил, не пожелает ли тот скрепить печатью Грамоты, и, увидев, что тот не хочет ничего делать, сказав ему, что никогда больше не окажет ему чести представлять

их во второй раз, ни даже представлять ему когда-либо другие, он начал рвать их прямо у него под носом. Он добавил, как своего рода угрозу, что это больше не его дело, но дело Королевы, и он оставляет ей заботу заставить себе подчиняться.

Весть о таком его поведении тотчас облетела весь Париж и не замедлила добраться до Берни. Месье Граф де Лаваль тут же выехал оттуда, ничего не сказав своей жене, и, остановившись у одного из своих друзей, попросил его сходить вызвать Тревиля от его имени. Выйдя от Канцлера, Тревиль направился к Королеве и к Кардиналу, чтобы опередить надвигавшиеся события и, завернув пообедать к Месье де Беренгану, Первому Шталмейстеру маленькой конюшни Короля, вернулся затем к себе. Я пошел туда отнести письмо из страны, что один дворянин адресовал мне для передачи ему в собственные руки. Перед тем, как его вскрыть, Тревиль спросил меня, [242] от кого оно, и когда я назвал имя того, кто мне его отправил, он ответил, посмеиваясь, что этот дворянин лучше бы сделал, оставшись в Роте Мушкетеров, где он отслужил три или четыре года, чем покидать ее, как он и сделал, чтобы ехать наживать себе рога в провинции; он готов был поспорить, что перескажет мне слово в слово содержание письма, не читая его; он, разумеется, просил его о помощи, дабы явиться выставить свои рога в Парламенте Парижа, будто бы он был недостаточно доволен тем, что Парламент По уже с ними ознакомился.

Принявшись таким образом шутить со мной, он вскрыл это письмо, где действительно нашел все то, о чем мне говорил. Дворянин сообщал ему, что ухажер его жены был родственником двух или трех Президентов этого последнего Парламента, и, не надеясь ни на какую справедливость для него от этого Трибунала, он подвергался большому риску получать обиду за позором, если тот не послужит ему отцом и покровителем. Месье де Тревиль, прочитав мне вслух эти последние слова, спросил меня, что я о них думаю, и не следует ли ему скорее занять позицию против него, чем заявить себя его сторонником. Когда он заговорил со мной в такой манере, я счел, что он, должно быть, был любим ухажером или, по меньшей мере, тот был отрекомендован ему с хорошей стороны. И так как страдающий муж был из друзей Дома, а мнение, какого требовал от меня Месье де Тревиль, давало мне право рекомендовать ему правосудие над предвзятостью милости, какую мог найти у него другой, я уже было начал его убеждать, когда он прервал меня, чтобы упрекнуть в том, что я ему советовал объявить себя отцом рогоносца. Он мне сказал в то же время, не подумал ли мой друг, обращаясь к нему с такой просьбой, а, впрочем, и я, убеждая его на нее

согласиться, выставить его в таком виде, если бы он был так прост и поверил мне, что все будут показывать на него пальцами.

Увидев, что он в хорошем настроении и желает [243] лишь посмеяться, я тоже перевел все в шутку, в чем совсем недурно преуспевал, когда хотел. В то время, как мы оба начинали углубляться в этот предмет, лакей явился доложить ему, что какой-то дворянин, не пожелавший назвать своего имени, просил с ним поговорить. Это был как раз друг Графа де Лаваля, пришедший исполнить данное ему поручение, но Месье де Тревиль, нисколько об этом не подозревая, скомандовал лакею его впустить. Этот дворянин прибыл момент спустя, и Месье де Тревиль, знавший его по ежедневным встречам при Дворе, спросил, что его к нему привело, и не может ли он быть ему чем-нибудь полезен; тот ответил, стараясь поставить меня в неловкое положение, что он явился просить у него плащ Мушкетера для одного дворянина из своих родственников. Но так как с ним приключились кое-какие дела в его стране, он бы хотел поговорить с ним об этом наедине, дабы он мог рассудить, будет ли тот в безопасности в его Роте. Мне захотелось выйти и оставить их в покое, но Месье де Тревиль сказал мне особенно не удаляться, потому что у него есть кое-что мне сказать по поводу принесенного мной письма; я направился в его прихожую, где принялся беседовать с одним Мушкетером, кто служил ему Оруженосцем.

Только со шпагой в руке

Едва я вышел за дверь, как дворянин заговорил с ним другим языком; он сказал, что Граф де Лаваль желал бы увидеть его со шпагой в руке; он узнал, как Тревиль обошелся с его тестем, и так как Мантия не позволяла тому потребовать ответа, он должен был сам рассчитаться за его ссору; он ожидает его за воротами Сен-Жак, и этот дворянин проводит его туда, если ему будет угодно; ему стоит лишь взять с собой одного из своих друзей, дабы дворянин не был бесполезным свидетелем их битвы. Месье де Тревиль был далеко не труслив и обладал большей храбростью, чем какой-либо иной человек на свете, он ответил, что тот доставил ему удовольствие, взявшись за такое поручение, Граф де Лаваль доставил ему еще большее удовольствие, приняв на свой [244] счет ссору его тестя, потому что, учитывая ремесло последнего, он вынужден был бы проглотить обиду, по его мнению, полученную им от этого магистрата, если бы, к счастью, не представился хоть кто-нибудь, от кого он мог бы потребовать за нее удовлетворения.

Этот дворянин ему заметил, что вовсе не было вопроса, кто прав или кто виноват, поскольку все это завершится со шпагой в руке; жалобы могли быть хороши лишь в установленном порядке или перед судьями, но судьба решит, как ей заблагорассудится, за кем была правда — за одним или за другим; наверняка, в какой бы манере ни обернулось дело, его друг, во всяком случае, будет удовлетворен, хотя бы он имел удовольствие нанести всего лишь два удара шпагой против него; он полагает, что не будет иначе и с его стороны, поскольку, когда бравые люди, вроде них, вменяют себе в обязанность пролить кровь один другого, та, что прольется, с чьей бы стороны это ни произошло, сможет стереть все разногласия, порождающие досаду в душе.

Так как самые короткие речи наиболее уместны при встречах, вроде этой, они оба на этом и остановились. Месье де Тревиль, вызвав своего лакея, стоявшего на страже у двери, сказал ему пригласить меня. Лакею не пришлось долго меня искать, поскольку я был всего лишь в трех шагах оттуда; и когда я предстал перед ним, он мне сказал в присутствии этого дворянина, что тот явился сделать ему вызов от имени Графа де Лаваля; ему совершенно незачем бросать взгляд на другого, кроме меня, чтобы послужить ему секундантом; он даже не спрашивает, справлюсь ли я с этим занятием, поскольку имел столько доказательств того, что я умею делать, что скорее ошибется в своем собственном суждении, чем во мне самом.

Дворянин был изумлен, что он вот так поручает молодому человеку моего возраста драться против него, и, не сдержавшись, высказал ему свою мысль. Месье де Тревиль ответил, что если он не одобряет его выбор, то тем самым ставит себя в [245] большую опасность и может потерять собственную репутацию; когда бываешь побит человеком моего возраста, это гораздо большее огорчение, чем быть битым человеком зрелым; вот и все, что может его печалить, поскольку, что до остального, то он найдет во мне соперника, кто будет драться упорно.

Я счел себя не только польщенным столь почетной для меня речью, но еще и не менее лестным выбором. Быть секундантом Месье де Тревиля показалось мне честью, что заставит говорить обо мне не меньше, чем это сделал друг моего Дома вместе с его рогами, какие он намеревался таскать из Парламента в Парламент. Итак, в страшном нетерпении оказаться на лугу, боясь, как бы у меня не отобрали эту славу каким-нибудь непредвиденным случаем, я ждал только выхода одного и другого, чтобы последовать за ними с легким сердцем; но то, что я предвидел, случилось как раз тогда, когда мы все трое меньше всего об этом думали.

Когда мы уже совсем собрались подняться в карету, явился Офицер из ведомства Коннетабля объявить Месье де Тревилю, что Мессиры Маршалы Франции отправили его, дабы пребывать подле его особы вплоть до нового приказа на основании того, что им стало известно о намерении Графа де Лаваля вступить в кампанию с целью добиться мести за оскорбление, по его мнению, нанесенное его тестю.

Сорванная дуэль — воссоединенная семья

Мне невозможно описать ту скорбь, какую я испытал, услышав эти речи. Она была равна чести, какую я уже считал своей, когда меня избрал такой, человек, как Месье де Тревиль, для действия, вроде того, что он пожелал мне доверить. Гвардеец был также отправлен к Графу де Лавалю, и после того, как это дело было улажено несколько дней спустя, Канцлер, порицаемый всем светом за нежелание простить своей дочери и удерживаемый лишь стыдом столь быстро менять свои решения, воспользовался тем, что Граф готов был сделать ради него, чтобы одарить их обоих своей милостью. Графиня де Лаваль, безумно любившая своего мужа, подумала, [246] будто умрет от радости, найдя, что после всего этого ничто больше не помешает ее счастью. Что до Канцлерши, то она наглядеться не могла, так сказать, на своего зятя, и ничуть не сожалела, что родственные узы, существовавшие между ними, препятствовали ей влюбиться в него, как она, возможно, влюбилась бы в другого, не столь ей близкого мужчину, и что она могла смотреть на него без всякого ущерба для своей добродетели. [247]

Горничная Миледи

Безумие Миледи

Я был обрадован тем, что дочь первого Чиновника Короны вот так вышла замуж за младшего сына, и хотя я не мог похвастаться происхождением из столь славного Дома, как он, я, тем не менее, льстил себя мыслью, что его пример способен произвести добрый эффект на мою возлюбленную, если, конечно, она станет более рассудительной и отдаст мне справедливость. Но она была по-прежнему упорно увлечена своим Маркизом де Вардом, и легко было увидеть, что она о нем мечтала. Этот Сеньор не был расположен жениться на иностранке, поскольку считался при Дворе одним из самых состоятельных людей; и она могла надеяться на брак с ним, лишь сделавшись богатой наследницей, какой она и думала стать, не вмешайся [248] я в это дело. Однако, так как надежда никогда не умирает, и именно она заставляет жить самых отверженных, случилось так, что пока я льстил себя мыслью преодолеть ее ненависть ко мне, она также льстила себя надеждой, что ее брат может умереть, и его состояние, и ее красота позволят ей овладеть сердцем, без которого она не могла жить. Но ее брат через несколько месяцев возвратился в Англию и весьма выгодно там женился, и ее надежды вскоре рассеялись, как дым, когда до нее дошли новости, что ее невестка уже была беременна; итак, не видя больше никакой возможности достичь своих целей, она было подумала умереть от горя.

Ее горничная, кого я время от времени заходил навестить, чтобы узнать новости о ее госпоже, и от кого я рассудил весьма кстати получить все милости, какие женщина способна дать мужчине, дабы еще больше вовлечь ее в мои интересы, поведала мне о ее безумии, и я сделал все, что мог, попытавшись ее забыть. Но так ничего и не добившись, какие бы усилия я к тому ни прилагал, я столь успешно скрывал мои чувства от этой горничной, что она поверила, будто я не был больше влюблен в ее госпожу. Любая другая особа ошиблась бы здесь точно так же, как и она, поскольку она получала от меня настолько убедительные знаки моей дружбы, что было простительно составить о них ложное представление.

Эта горничная была столь сильно удовлетворена мной, и я соответственно довольно-таки доволен ею, поскольку, учитывая ее милости, ее госпожа не делала ни единого шага без того, чтобы

она меня о нем не предупредила; она мне сказала два или три месяца спустя, как замечательно я поступил, излечившись от страсти к ее госпоже, потому как у той не осталось больше ни рассудка, ни чести. Вопреки тому, во что она верила, я столь мало от этого излечился, что почувствовал, как меня пронзило отчаяние при этих словах. Однако, не желая раскрывать перед ней мои мысли, я принялся смеяться, как если бы действительно был рад тому, что больше не [249] любил сумасшедшую. Я спросил ее в то же время, но так, будто мне все равно, что же это был за скандал. Она мне ответила, что та всеми силами хотела заставить ее отнести записку Маркизу де Варду, чтобы назначить ему свидание, но она пока еще ничего не сделала, поскольку пожелала прежде узнать мое мнение по этому поводу.

Я удивился, как она не заметила, какой эффект произвели на меня ее слова. Я замер в изумлении; но, наконец, оправившись от смущения, я спросил ее, какого рода было это свидание; хотя они все преступны для девицы, тем не менее, одни были гораздо серьезнее, чем другие, но от пустяков быстро переходят к большому, и такой человек, как Вард, слишком ловок, чтобы долго оставаться на праведном пути. Она мне объявила, что упомянутое ею свидание не оставляло на этот счет никаких сомнений; Миледи… хотела провести с ним ночь, и если мне интересно взглянуть на записку, она могла сейчас же мне ее показать, потому что она была у нее в кармане.

Я был слишком заинтересован в этом деле, чтобы не поймать ее на слове; я попросил посмотреть на записку, и когда она мне ее дала, прочел там такие вещи, в какие никогда бы не поверил, если бы не видел их моими собственными глазами. Я невольно побледнел от такого чтения, и она побледнела в свою очередь, поняв, насколько ошиблась, когда поверила, будто я бросил ее госпожу ради нее. Она обрушила на меня тысячу упреков, и, не смея ничего ей возразить в свое оправдание, я решился попросить у нее помощи против самого себя. Итак, признавшись ей в моей слабости, какую я не мог больше отрицать, я бросился к ее ногам и сказал ей, что мой покой был отныне в ее руках; я не мог больше иметь никакого уважения к моей возлюбленной после того, в каком свете она мне ее показала, но так как я оставался еще достаточно слабым, чтобы ее желать, теперь только от нее зависело предоставить мне это удовлетворение; едва я получу то, чего желаю, как [250] не буду больше думать о ней, разве что с презрением; лишь взаимная дружба способна оживить огонь, погашенный в утехах; и так как я украду ее милости скорее, чем она мне их предоставит, поскольку я позабавлюсь с ней только под маской ее любовника, я не попрошу увидеться с ней во

второй раз, не находя больше в этом удовольствия; итак, я возвращусь к ней с сердцем, освобожденным от всякой другой страсти, и таким образом она единственная будет его хозяйкой в будущем.

Любовник без лица

Несмотря на все мое красноречие, я бы никогда ее не убедил; но заявив ей, что если она желала продолжить наши отношения, то должна предоставить мне это удовлетворение, я заставил ее устроить все дело наполовину насильно, наполовину по доброй воле. Она меня спросила, как бы я хотел, чтобы она принялась обманывать свою госпожу, потребовав от меня клятву, что в случае, если та что-либо заметит, я возьму ее под мое покровительство, дабы она могла избежать ее гнева. Я сказал ей, — поскольку свидание назначено ночью, ей будет легко выдать меня за Маркиза де Варда; ей это будет тем более просто, что ее госпожа сама пожелала, чтобы не было никакого света в ее комнате, ни когда я туда прибуду, ни пока я там буду оставаться, и так как я должен выйти за час до рассвета, она прекрасно видит, что ничем не рискует, устраивая ей это надувательство.

Почти успокоенная, она тревожилась лишь из-за того, как бы мой голос не выдал меня, но я пообещал ей изменить его так хорошо, что она могла полностью на меня положиться. Горничная, посулив мне свои услуги, заверила свою госпожу, что отнесла записку Маркизу, и он не преминет явиться в ее комнату с наступлением ночи, и он был так же нетерпелив, как могла быть и она, в ожидании часа свидания. Миледи… пришла в восторг от того, что она была так близка к счастью, какого она столько ждала. День тянулся для нее в тысячу раз дольше, чем другие, и для меня он длился бы так же, если бы время от времени меня не охватывал испуг, как бы [251] она меня не узнала. Наконец Королева Англии удалилась, как и все Дамы ее Двора; едва только Миледи… улеглась в постель, как ее горничная провела меня к ней по маленькому проходу, ведущему в ее апартаменты. Так как я был обязан сделать ей комплимент по поводу великой судьбы, какой было угодно, чтобы она призвала меня к себе, я не замедлил его произнести, но так здорово подделав мой голос, что даже если бы она сомневалась в подстроенном ей подвохе, то никогда ничего бы не заметила.

Я счел совсем некстати, и по этой причине, и дабы лучше выказать ей мою любовь, особенно затягивать комплимент, но, перейдя к ласкам от слов, я настолько ее ублаготворил собой, а также столь доволен был ею сам, что нам верилось — не прошло

еще и половины ночи, когда горничная явилась предупредить меня, что самое время уносить ноги. Может быть, из хитрости, или, лучше сказать, из ревности она явилась немного раньше, чем следовало, но так как Миледи не желала, чтобы день застал ее в моих объятьях, она тихонько шепнула мне на ухо сейчас уйти, а когда мне зайти навестить ее в следующий раз, она предупредит меня через свою горничную.

Горничная взяла меня за руку, чтобы вывести из комнаты, поскольку она вернулась за мной без света, точно также, как меня сюда и привела. Она проводила меня в свою комнату и сказала, что ни входить сюда, ни выходить от Королевы Англии не так-то просто; мне нужно задержаться здесь на целый день и выйти только с наступлением сумерек; это был приказ, что ей отдала ее госпожа, дабы ее не скомпрометировать, приказ, с каким мне придется смириться, потому что галантный человек всегда должен заботиться о репутации Дам.

Я не сумею сказать наверняка, принимала ли ее госпожа такую предосторожность или нет, но, наконец, то, что она мне говорила, было из породы тех вещей, о которых обычно высказываются, что если они и не правдивы, то, по меньшей мере, прекрасно придуманы, и я не нашел ни малейшего слова [252] возражения. Я выпил приготовленный ею для меня бульон, сказав ей, постаравшись как-то извиниться, хотя я и желал провести ночь с ее госпожой, мысль, что это свидание было назначено ей другому, была столь для меня отвратительна, что я не слишком истощил там мои силы. Я представлял себе, говоря это, что она поверит мне на слово, не требуя иных доказательств; но так как она обладала большей сообразительностью, чем я думал, она мне ответила, — если это так, как я хотел ее уверить, она убедится в этом в один момент; поскольку она была вынуждена томиться ожиданием всю ночь и ни на минуту не сомкнула глаз, как и я, нам надо поскорее ложиться в постель, к тому же у нее не было до полудня никакого дела в комнате ее госпожи, что даст нам обоим время хорошенько отдохнуть.

Если бы мне было возможно достойно вывернуться, я не преминул бы это сделать — покинуть постель особы, какую я любил больше всего на свете, чтобы улечься в постель девицы, с какой я сблизился разве что из распущенности, не было особенно устраивавшей меня вещью. Но так как я произвел бы дурное впечатление, воспротивившись ей, а кроме того я действительно нуждался в отдыхе, я принялся ее ласкать, заставляя ее поверить, что милости Госпожи не отбили мне память о том, как я должен быть благодарен за ее собственные. Затем, извинившись самым наилучшим образом, я сказал ей, что страшно хочу спать, и,

задремав, я проспал до полудня, то есть, до того часа, когда она ушла на службу подле своей госпожи. Она поостереглась говорить ей, где я находился, но сказала, что Маркиз де Вард был так очарован ночью, проведенной с ней, что он почитал ни за что ту тюрьму, какая ожидала его в этот день.

Удовлетворенная Госпожа. Миледи была обрадована такими заверениями, и так как она считала себя обязанной оказать знаки признательности этому слишком счастливому Маркизу, она велела принести бумагу и чернила и послала ему эту записку, какую горничная никогда бы [253] мне не отдала, если бы та не потребовала на нее ответа. Вот что в ней содержалось:

> «Я никогда не знала, насколько беспредельны силы мужчины, чтобы говорить об этом уверенно, но так как в моем возрасте я не могла не слышать несколько раз рассуждений об этом, я верю, что вы теперь более нуждаетесь в отдыхе, чем в трудах. Итак, забота, какую я питаю о вашем здоровье, вынуждает меня, чувствуя вас столь близким от меня, не желать еще больше воспользоваться вашим присутствием ради вашего интереса и ради моего. Дайте мне знать, когда вы думаете быть в состоянии выдержать новое испытание. Это, разумеется, дерзость — говорить с вами в такой манере. Я не сказала бы так в лицо, и вы не можете в этом сомневаться, поскольку видели, как я позволила вам подступить столь близко ко мне, лишь скрыв мое смущение под покровом ночи; да, только темнота подала мне повод сделать это усилие над собой, и стены, разделяющие нас, позволяют мне писать вам то, что я осмелилась здесь выразить. Извините мне это и поверьте, что я была бы более сдержанна, если была бы менее очарована вашими достоинствами».

Горничная нашла меня еще спящим, когда принесла записку, и, разбудив меня, чтобы я на нее ответил. «Держите, враль, — сказала мне она, — и когда бы я не знала по собственному опыту, что вы не паралитик, эта записка слишком много бы мне поведала на ваш счет».

Я не знал, что ответить на ее справедливый упрек, и еще меньше, как отозваться на записку. Не то, что я не был еще достаточно влюблен в Миледи…, чтобы не наобещать ей всяких волшебств, но так как этот ответ должен был пройти через руки горничной, а я знал прекрасно, насколько дурным она найдет то, что я так нетерпелив, в общем, я оказался в совершенной

растерянности. Однако я ей заметил, что малый опыт ее госпожи заставил ее рассматривать, как что-то грандиозное и чудесное, то, что с ней произошло, и мне немногого стоило поддерживать ее в добром мнении, какое она составила обо мне; [254] итак, если она сочтет это правильным, я назначу той второе свидание на этот же самый вечер или на следующий день; чем ближе оно будет от того, что предоставила мне ее госпожа, тем меньше ей придется ревновать; так как она сама уже обозвала меня паралитиком, она прекрасно понимала, что я не смогу восстановить силы за столь короткое время; она вовсе не должна тревожиться, и, если она это делала, то была совсем неправа.

Горничная, более лукавая, чем я мог вообразить, не поддалась на обман, и ответила мне, что какой бы ревнивой она ни была, она еще больше заботится о моем здоровье, потому никогда не допустит, чтобы я отправился на столь близкое свидание; сегодня у нас была суббота, и когда я передам ее госпоже, что приготовлюсь к следующей среде, то это все, на чем она может со мной поладить. Я смирился с ее решением, не имея возможности поступить иначе. Итак, я отослал ответ Миледи… в соответствии с ее желаниями, и так как она не знала ни моего почерка, ни почерка Маркиза де Варда, она легко приняла один за другой. Однако, отдавая мою записку своей госпоже, горничная сказала ей, будто я переменил решение после того, как ее написал, вспомнив, что Король должен был уехать в этот вечер ночевать в Венсенн, и, вынужденный поехать вместе с ним, я умолял ее перенести встречу на следующий день, то есть, на четверг.

Миледи… чистосердечно ей поверила, хотя все это было изобретено только из-за резонов, какие я объясню через один момент. Настала среда, и я явился к горничной; она по-прежнему должна была проводить меня к месту свидания, но она сказала мне, что ее госпожа не могла увидеться со мной этой ночью, поскольку одна из ее подруг заночует с ней. Я был весьма обескуражен этой новостью, хотя она мне сказала, что ждать мне всего лишь двадцать четыре часа, и все произойдет на следующий день. Наконец, вынужденный утешиться помимо собственной воли, я собрался возвратиться домой, [255] когда горничная сказала мне, — если я и не могу позабавиться с ее госпожой, я распрекрасно смогу сделать это с ней, она постелила белые простыни на своей кровати, и, по крайней мере, будет иметь удовольствие привести меня в такое же состояние, какое бы я имел, выходя от ее госпожи; она приложит к тому все свои старания, и, в конце концов, несправедливо, что она всегда пользуется остатками от другой.

Эти слова, более, чем достаточные, чтобы показать мне, насколько она была лукава и корыстна, весьма меня огорчили; но, наконец, очутившись пойманным, все, что я должен был сделать, это поберечь себя, дабы не попасть впросак подле ее госпожи. Но так как я имел дело с женщиной коварной, она завела меня гораздо дальше, чем мне бы того хотелось. Настало утро, и она не пожелала оставить меня в кровати под тем предлогом, что в ее комнату должны были явиться торговцы и принести что-то для ее госпожи. Действительно, она назначила им встречу на этот день, чтобы не дать мне времени восстановить силы; она заставила меня перейти в кабинет рядом с ее комнатой, и, заперев за мной дверь, оставила меня там без огня, хотя погода не позволяла еще без него обходиться. Она сделала гораздо больше, она оставила меня там на весь день, не принеся мне даже хлебной корки, потому что хотела окончательно меня доконать прежде, чем провести меня в комнату ее госпожи. Я прекрасно разгадал ее хитрость, но, не в силах ничем воспротивиться, мне пришлось запастись терпением до тех пор, когда ей будет угодно вытащить меня из заточения. Наименьшим из моих бедствий был волчий аппетит; я продрог до мозга костей, и никогда человек не был менее предрасположен, чем я, являться на любовное свидание.

Наконец, в час ночи, коварная горничная отперла мне дверь, и, желая принести мне извинения за то, что оставила меня так надолго без всякой помощи, заявила, будто бы ей невозможно было поступить иначе; я счел себя необязанным принимать их [256] без того, чтобы не высказать ей все, что я об этом думал. Она довела свою хитрость до того, что еще и потушила огонь, обычно пылавший в ее комнате с той минуты, как она вставала, и до того момента, когда ложилась спать. Итак, не имея никакой возможности согреться перед тем, как идти на свидание с моей любовницей, я молил ее дать мне, по крайней мере, хоть одну вязанку хвороста, чтобы развести пусть даже совсем маленький огонь. Она мне ответила с определенным видом злорадства и ревности, что выставит меня в дурном свете перед своей госпожой, если расскажет ей, как я требовал огня, когда зашел вопрос о том, чтобы пойти ее повидать, она не будет говорить ей об этом из страха, как бы не погубить мою репутацию в ее глазах; влюбленный, имеющий весь пыл страстей, как я должен бы его иметь, скорее будет от него перегрет; одним словом, мне не оставалось больше ничего, как отправляться на свидание, не теряя ни минуты.

Она не стала дожидаться моего ответа, чтобы провести меня в

ее комнату, и когда она взяла меня за руку, я подумал, что ее оледеню, настолько моя была холодна. Радость видеть меня в таком состоянии была так велика, что она не поостереглась той печали, какую все это мне причиняло. Я позволил ей себя вести, видя, что мне совершенно бессмысленно о чем бы то ни было ее просить; она меня оставила, когда я был возле самой постели Миледи…, и так как я не осмеливался приблизиться из страха, как бы не оледенить ее саму, она меня спросила, почему я не устраиваюсь рядом с ней. Я ей ответил, что ее горничная продержала меня несколько часов в своем кабинете, не разжигая огня, и я промерз до такой степени, что это было просто невероятно; мои зубы, стучавшие одни о другие, еще лучше подтверждали ей мои слова, и, сжалившись надо мной, она сказала мне поскорее ложиться, дабы я мог согреться. Я сделал, как она хотела, но никоим образом не почувствовал себя влюбленным. Она приникла ко мне и сжала меня в своих объятьях; любовь, какую она [258] питала не ко мне, но к тому, за кого меня принимала, заставила ее поначалу не чувствовать ледышку, какую она обнимала. Она пускалась на все ухищрения в мире, лишь бы меня отогреть, и долго не могла ничего добиться; она нашептывала мне самые нежные вещи на свете, стараясь дать мне понять, насколько она обязана мне за то, что я подвергался такому неудобству ради любви к ней.

…или неудовлетворенная Госпожа

Не понимая, однако, почему горничная заставила меня так долго ждать в том месте, где она меня заперла, и еще меньше, почему она оставила меня там без огня, она меня спросила, не знаю ли я какой-либо причины. Я поостерегся не открывать ей ни этого, ни того времени, что я провел в кабинете. Как бы там ни было, силы не вернулись ко мне; либо выстраданное мной время так их ослабило, или же горничная истощила их в бесчинствах, какие она вынудила меня с ней разделить, и Миледи была столь мало удовлетворена свиданием, что не попросила бы меня о другом, если бы поверила, что и при следующем все произойдет точно так, как в эту ночь. Я поднялся с ее постели в том же виде, в каком я на нее и улегся, а горничная еще имела коварство явиться за мной за четыре часа до рассвета. Я нашел тогда не только добрый огонь в ее комнате, но еще и то, чем я мог как следует подкрепиться. Я ел, как человек, имевший в этом насущную необходимость, и, вытерпев множество насмешек от этой лгуньи, утешался лишь мыслью, что ее госпожа устроит ей славный нагоняй за ту манеру, в какой она со мной обошлась. Та

действительно не упустила случая это сделать, и я узнал от самой горничной, что ей стоило большого труда внушить той, что она поступила таким образом только потому, что в тот день в ее комнате постоянно толпились люди.

Миледи… кому пришлось по вкусу первое назначенное мне свидание, получила недостаточное отвращение от второго, чтобы не попросить меня о третьем. Горничная, которой все это начинало не нравиться, решила положить всему конец советом, [259] казалось, данным ее госпоже единственно с целью доставить той самое полное удовлетворение. Она заявила ей, что та лишает себя половины удовольствия, какое она могла бы получить, если бы пользовалась моими объятьями при свете дня или, по меньшей мере, при помощи другого освещения, заменявшего нам то, что дает солнце; она не должна больше церемониться и взглянуть, наконец, своему кавалеру в лицо; кроме того, свидания, назначаемые ему, станут от этого более долгими, а, следовательно, более приятными для нее. Ей стоило великого труда убедить ту на это решиться, но она добилась своего, непрестанно ее урезонивая. Миледи договорилась с ней, что она еще раз приведет меня в ее комнату в следующий понедельник, как обычно, то есть, не принося с собой никакого огня, но, вместо того, чтобы явиться за мной за два или три часа до рассвета, она оставит нас вместе вплоть до самого того времени, когда уже пора будет вставать.

Этот совет должен был заставить меня воздержаться от дальнейших визитов к ней из страха, как бы не подвергнуться справедливому негодованию, если она раскроет то надувательство, каким я воспользовался, дабы украсть ее милости. Правда, поскольку горничная была моей сообщницей, ей следовало не меньше, чем мне, опасаться этого разоблачения; но так как она могла отвести от себя угрозу, или предупредив меня о намерении Миледи…, или же покинув ее службу, она уверилась, будто сможет принять свои меры, лишь бы не испытывать больше ревности, какую вызывали у нее наши частые свидания. Я был весьма изумлен, когда горничная поведала мне о намерении своей госпожи, и, не догадываясь, что это она сама подала ей такой совет, я сказал ей, что даже не знаю, как бы нам выкрутиться из этого дела; было бы почти так же опасно оказаться в настоящее время на свидании с ее госпожой, как и уклониться от него после того, как я на него согласился; если бы я от него уклонился, это бы подало ей повод обратиться к кому-нибудь другому помимо [260] горничной, чтобы узнать от самого Маркиза де Варда, чья в том была вина, особенно когда она увидит, что ей не смогут дать вразумительных ответов; а с другой

стороны, если я туда явлюсь, легко понять, что все может кончиться еще хуже.

Ревность горничной

Горничная, внимательно меня выслушав, ответила, что все это правда, вот до чего она дошла ради любви ко мне, но поскольку я был причиной зла, я же должен принести и избавление от него; она была виновата, допустив такую снисходительность, не предвидя всех ее последствий; тем не менее, так как не существует ничего, чему нельзя было бы помочь, если это только не было смертью, она готова дать мне спасительный совет, если я пожелаю им воспользоваться. Я ей ответил, что в том затруднительном положении, в каком я нахожусь, я сделаю что угодно, лишь бы из него выбраться, я поклялся исполнить все, что бы она мне ни посоветовала; тогда она заставила меня написать письмо, я должен был передать его Миледи…, когда улягусь вместе с ней. Оно необычайно пришлось мне по вкусу, потому что она заставила меня написать его от имени Маркиза де Варда, и потому как оно не должно было показаться чересчур приятным этой девице. Согласившись на новое свидание, горничная ни за что не хотела мне сказать, как она вытащит меня из интриги этой ночью до тех пор, пока я не был совсем готов пройти в комнату ее госпожи. Наконец, так как нужно было сейчас или никогда меня предупредить, она мне сказала, — когда произойдет нечто чрезвычайное, я воспользуюсь этим случаем и выскользну из рук ее госпожи. Она не пожелала сказать мне больше, настолько она была таинственна, или, скорее, настолько она хотела оставить меня с беспокойством на душе. Ей очень хотелось, чтобы это третье свидание прошло так же, как второе, но я все еще был так влюблен в эту красивую особу, что вопреки тому, как она себе его вообразила, я вновь обрел подле Миледи ту репутацию, какую завоевал во время нашего первого свидания. Однако я отдал ей письмо, [261] что ее горничная заставила меня написать, и, попросив ее отнестись к нему с полным доверием, я ждал уже с большим спокойствием, чем, по-видимому, должен был иметь, сигнала, обещанного мне этой девицей, когда настанет время позаботиться о моем отступлении.

Она подала мне этот сигнал лишь между четырьмя и пятью часами утра; она сама подожгла соломенный тюфяк, находившийся на галерее, достаточно удаленной от ее комнаты. Действительно, это было то, о чем я меньше всего думал, так же, впрочем, как и Миледи…, размышлявшая только о том, что бы

мне сказать, дабы избавиться от смущения, когда мы окажемся лицом к лицу. Шум, сразу же поднявшийся во всем дворце, отвлек ее от этих мыслей, и она первая попросила меня уйти, поскольку в этом беспорядке и смятении меня могли застать подле нее. Я не заставил умолять себя об этом дважды и отправился к горничной, она мне тут же сказала, что так как двери дворца были теперь открыты всем ветрам в ожидании получения подмоги, я могу воспользоваться этим случаем, чтобы удалиться к себе. Я сделал так, как она мне посоветовала; огонь был потушен до рассвета, и Миледи… была весьма рассержена тем, что этот случай извлек меня из ее объятий раньше, чем предполагалось.

Отчаяние Миледи

Когда горничная вошла к ней со светом посмотреть, не нанес ли огонь какого-либо ущерба, и когда она удалилась в свою комнату, убедившись, что с этой стороны нечего больше бояться, Миледи…, едва оставшись одна, прониклась любопытством прочесть записку, какую я ей оставил; но у нее не оказалось особенных причин быть ею довольной, поскольку она нашла там лишь то, что можно прочитать здесь:

> «Я настолько обременен свиданиями, что если бы вы не были иностранкой, а я не пожелал бы распространить известность о моей репутации за море, отделяющее вашу страну от моей, я никогда бы не согласился на те, что вы [262] мне назначали. Не ждите же, чтобы я явился таким же пунктуальным в будущем, каким был в эти дни. Всему свое время, и все, что я могу сделать для вас — это обнимать вас самое большее три или четыре раза в год».

Миледи никогда бы не поверила в то, что она видела, если бы эту записку ей передал кто-либо другой, а не я. Я ей казался слишком влюбленным всего лишь момент назад, чтобы позволить ей совместить в ее разумении настолько противоположные вещи, а именно, такую любовь и столь огромное презрение. Она снова улеглась в постель, где и проплакала все утро. Я прекрасно догадывался об этом, не видя ее, и когда отправился к ней после обеда, чтобы позабавиться немного ее смущением, она оказалась недоступной в этот день ни для меня, ни для кого бы то ни было. То же повторилось и на следующий день; но, сказав накануне вечером своей горничной, что желает со мной поговорить, если завтра я вернусь ее повидать, она ей приказала впустить меня в свою комнату, тогда как ее дверь оставалась закрытой для

всякого другого.

Горничная, превосходно знавшая причину ее печали, ломала себе голову, разгадывая, чего же она от меня хотела, и так и не могла в это проникнуть, какую бы пытку она ни применяла к своему рассудку. Итак, обязанный запастись терпением до тех пор, как ее увижу, я был весьма изумлен, когда, вернувшись туда в этот день, услышал от горничной комплимент, какой она должна была мне сделать от имени ее госпожи. Мне было невозможно точно так же, как и ей, угадать, чего она от меня хотела, но, наконец, убедившись, что мне недолго придется ждать, прежде чем узнать об этом, я приказал о себе доложить, дабы посмотреть, не переменила ли она своих чувств ко мне. Ее горничная, кем я воспользовался, чтобы передать ей о моем присутствии здесь, сказала мне, что я могу войти, и я тотчас же это сделал. Я нашел ее госпожу в постели, одета она была весьма небрежно, но не показалась мне от этого [263] менее красивой. Все это навело меня на мысль, что больше ничто не мешает моему счастью, играть полюбовно со столь прелестной особой, не вынуждая себя при этом прибегать к мошенничеству, чтобы обладать ею.

Я обнаружил ее в столь неузнаваемом настроении, что и быть не могло более громадного изменения. Вместо того, чтобы принять со мной свой обычный насмешливый тон, она очень серьезно спросила меня, говорил ли я правду, когда сказал, что люблю ее с последней страстью. Я опустился на колено рядом с ее постелью, заверяя ее всеми возможными клятвами, что если и был какой-то изъян в тех уверениях, какие я ей давал, то он происходил от того, что мне было невозможно по-настоящему выразить, до какой степени я ее любил. Она мне ответила, — поскольку это было так, будет справедливо обходиться со мной лучше, чем она это делала в прошлом; она переменит отныне свое поведение по отношению ко мне, но все-таки при условии, что я никогда не откажусь от моих обещаний, сделанных ей, любить ее больше, чем самого себя; она вскоре потребует от меня доказательств всему этому, и ожидает, что я предоставлю их ей от чистого сердца.

Я взял ее руку и целовал ее с невероятными восторгами, чтобы засвидетельствовать ей этим, так же, как и моими словами — стоит ей только приказать, и ей обеспечено абсолютное повиновение. Она позволяла мне делать это без малейшего сопротивления, чем очаровала меня настолько же, как и всеми милостями, какие я у нее украл, хотя они и были совсем другой природы, нежели эти. Так как, наконец, все, что украдено, не имеет той же привлекательности, как то, что отдается по доброй

воле, по меньшей мере, когда это не того сорта похищения, где легко заметить, что та, у кого нечто похищают, прекрасно расположена позволить это делать.

Миледи… остановилась на этом в тот день, не пожелав сказать мне большего. Я видел ее и в последующие дни, и всегда со мной обращались [264] превосходно; она даже встречала меня все с лучшей миной день ото дня, так что, если бы я не знал о ее слабости к Маркизу де Варду, то почитал бы себя счастливейшим из людей. Горничная не оставалась равнодушной ко всем этим визитам; она желала знать, в чем был секрет, и мне стоило великих трудов заставить ее поверить в подмену. Впрочем, я добился своего довольно ловко. Я убедил ее в том, якобы Миледи показала мне письмо от своего брата, кто поссорился с Маркизом Винчестером; он просил мне сказать, что немедленно переезжает во Францию биться против него, не осмелившись сделать это в Англии; он умолял меня быть его секундантом, и вот из-за этого-то ее госпожа меня и ласкала. Она проглотила эту новость, и по причине того счастья, какое я имел до сих пор в битвах, она легко поверила, что когда собирались устроить еще одну, более надежно было воспользоваться мной, чем кем-либо другим, и что именно из-за этого совершилась такая перемена в поведении ее госпожи.

Новое поведение Миледи… настолько удивило и меня, меня, кем всегда пренебрегали, что я принялся размышлять, от чего бы оно могло произойти. Хорошенько над этим подумав, я нашел наиболее правдоподобным то, что она походила на большинство Дам, кто, по прошествии их фантазии с одним мужчиной, искали себе другого, в ком они могли бы найти то, чего больше не находили в первом.

Ради ночи любви

Моя мысль, однако, оказалась ложной, и я не замедлил в этом убедиться. Когда я явился ее проведать на следующий день, она мне сказала, что настало время подвергнуть меня испытанию, и она желала бы узнать сегодня же, не откажусь ли я от того, о чем она меня попросит. Я ответил ей без колебаний, что стоит ей только сказать, и если даже она потребует мою жизнь, то вскоре увидит по той жертве, какую я ей принесу, с каким удовольствием я ей подчинюсь. Она заметила, что вовсе не мою жизнь она просила, но жизнь совсем другого, и если я пожелаю ей ее обещать, не существует ничего такого, [265] на что я не мог бы надеяться. Эти слова открыли мне глаза в ту же минуту, и, тотчас поняв, какой эффект произвела записка, что я оставил ей во

время нашей последней встречи, я не преминул сказать ей — пусть она лишь назовет своего врага, и очень скоро она будет от него избавлена.

Это обещание мне ничего не стоило, поскольку я рассчитывал воспользоваться намеком, сделанным мне ей самой в яростном желании отомстить. Я рассчитывал также, что, добившись того, что я претендовал получить, как вознаграждение за мои обещания, я простодушно признаюсь ей, что она не должна больше пылать таким гневом против Маркиза де Варда, поскольку это я сам обманывал ее под его именем. Она обрадовалась той горячности, с какой я обещал ей мою помощь; итак, подтвердив еще раз, что не существовало ничего, на что я не должен был бы надеяться от нее, если я окажу ей эту услугу, она мне сказала, что тем врагом, чьей крови она требовала, был Маркиз де Вард.

Я притворился крайне изумленным, услышав его имя, и Миледи не могла недооценить мое изумление и спросила, что сделалось с моей храбростью, со мной самим, кто, казалось, всего один момент назад хотел тягаться с небом, лишь бы ей угодить. Я ей ответил, страшно удивленный, каким я должен был ей показаться, что во мне не меньше храбрости, чем прежде, но, приняв во внимание, что в какой бы манере ни обернулась битва, я буду вынужден никогда больше не увидеть ее в моей жизни, я наивно признался ей, что все мое постоянство покинуло меня при этой мысли. Она меня спросила, почему же я не увижу ее больше, если выйду победителем из этой битвы, как она и надеялась; потому, — ответил я, — что мне не придется ожидать никакой пощады для себя от Его Величества. В самом деле, я не только бы нарушил этим его приказы, но еще и убил бы Сеньора, находившегося в прекрасных отношениях с Королевой Матерью; итак, самое лучшее, что я смог бы [266] сделать, так это сбежать и соответственно никогда больше ее не увидеть.

Ожесточенный спор о сделке

Миледи сказала мне, — поскольку дела обстоят таким образом, мне надо будет всего лишь переехать в Англию, а она явится и отыщет меня там. Я весьма сомневался, что у нее есть хоть малейшее желание туда перебираться, как мне вскоре привелось легко в этом убедиться, но, сделав вид, будто поддался на обман, как простофиля, я заявил ей, что на таких условиях я буду драться не только против Маркиза де Варда, но еще и против всех тех, кого ей будет угодно мне назвать; однако, так как ничто не придаст мне большей смелости, как гарантии, что она сдержит данное мне слово, я умолял ее не счесть за дурное, если я

попрошу у нее задаток прежде, чем ринуться в эту битву; самое лучшее, что она могла бы мне дать, это предоставить мне заранее те милости, что она мне пообещала; если она хотела сделать из меня победителя, то должна была сделать из меня счастливца, поскольку без этого я буду биться в нерешительности и буду скорее побежден страхом, что она не сдержит своего слова, чем испугом перед моим противником. Она мне заметила, что никто, кроме меня, не был бы способен произнести просьбу, вроде этой; где это видано, чтобы требовали оплаты заранее, особенно, когда имеют хоть немного уважения к особе.

Она была права, и я, может быть, покраснел бы от собственного поведения, если бы полное знание о ее делах не успокоило меня, когда я об этом подумал. Мне было известно, что она переступила тот порог, что обычно так дорого обходится девице, и я сказал себе, — поскольку она переступила его для другого, она распрекрасно может переступить его еще раз для меня. Не позволяя сбить себя с толку всем тем, что она могла сказать, лишь бы отговорить меня от моей решимости, я настаивал на своей просьбе под предлогом, что без этого я не могу быть в состоянии безмятежности, и если она хотела одержать победу, в ее интересах, так же, как и в моих, не отказываться [267] от того, о чем я ее просил. Наконец, почти открыто дав ей понять, что мои услуги могли быть приобретены только за эту цену, хотя я сделал это в скромной манере, и как человек страстно влюбленный, я поставил ее перед роковой неизбежностью — или предоставить мне то, о чем я ее просил, или, по меньшей мере, позволить мне взять все это самому.

Ей больше понравилось одно, чем другое, и мы сделались добрыми друзьями, или, по крайней мере, не было бы никого, кто не рассудил бы именно так; и я ей пообещал быть непобедимым теперь, когда был столь счастлив, что обладал ее дружбой.

Я рисковал немногим, обещая ей быть непобедимым с этой стороны. Я не имел ни малейшего желания драться, и более, чем никогда, очарованный этой сиреной, раздумывал лишь о том, как бы признаться ей в моем обмане, дабы, избавив ее этим от всякого негодования и одновременно избавив себя тоже от битвы, какую я должен был дать, я мог бы наслаждаться в покое моей доброй удачей. Мне было необходимо сделать это поскорее из-за преследований, какие она уже устраивала мне, понуждая исполнить данное слово.

Я получил некоторую передышку, узнав, что Маркиз де Вард заболел; и так как лихорадка приковала его к постели, для меня это было извинение, на какое она не могла найти возражения. Лихорадка продлилась у него семь или восемь дней; тем

временем я попросил у этой девицы милости провести с ней ночь; она пыталась уклониться под тем предлогом, как бы ее горничная об этом не узнала. Я хотел взяться подкупить ее, уверенный, что, после всего случившегося между нами, она будет обязана попридержать свою ревность; но она никак не хотела на это согласиться, сказав мне, что не пожелает и за все золото мира дать ей в руки такую власть над ней.

Я, конечно, мог, если бы захотел, сказать Миледи… все, что знал о ее делах, и поведать ей о своей уверенности, что она никогда не сойдет за Весталку [268] в сознании ее служанки. Но сочтя, что не настал еще момент высказывать ей мою мысль, я сделал вид, будто поддался на ее резоны. Итак, я предложил ей поступить иначе; она оставит меня закрытым в своей комнате, тогда как отошлет куда-нибудь свою горничную, дабы, когда она вернется, она уверилась бы, что я уже ушел. Она было хотела найти и здесь какое-нибудь препятствие, но я напомнил ей, что Маркиз де Вард вот-вот будет на ногах, и она не должна бы отказывать мне в этом удовлетворении, потому что не пройдет и трех дней, как я буду уже не в состоянии попросить ее о чем бы то ни было; она согласилась в конце концов.

Я решился не дать пройти этой ночи, не признавшись красавице, что ей нечего больше так сердиться на Маркиза де Варда, поскольку причиной к этому послужил лишь вымысел. Я вообразил себе, что эта новость может быть ей только приятна, потому что вместо любовника, якобы презиравшего ее, она найдет такого, кто всегда настолько ее любил, что пошел на столь грандиозное надувательство, лишь бы помешать ей броситься в объятия другого. Каждый на моем месте загорелся бы, без сомнения, той же мыслью, а каким громадным утешением было бы для нее узнать, что если она и возвела напраслину по поводу его чести, то произошло это по милости человека, страстно в нее влюбленного. Я подумал, что было бы желательно запастись временем для разговора с ней, дабы быть хорошо принятым. Я не мог и надеяться на более благоприятные обстоятельства, чем эти, и, еще раз подготовив момент, когда она будет наиболее расположена прислушаться к голосу разума, я был страшно поражен, встретив вместо пылкости, какую она не раз проявляла прежде, внезапную ледяную холодность. Я старался ее оживить не только речью, казавшейся мне очень убедительной, но еще и ласками.

По заслугам и награда

Я верил, что не существовало ничего более способного ее

тронуть, и, движимая дружбой или разумом, она меня отблагодарит за ее освобождение от [269] куртизана, кому она хотела отдаться, не зная, проявит ли он к ней хоть малейшую дружбу. Я рассчитывал также ей наглядно показать, что когда бы даже он ее проявил, он, весьма возможно, злоупотребил бы ее доверием, следуя привычному обычаю ему подобных, больших негодяев в любви. Но она мне не позволила сделать все, что я хотел; она мне нанесла такой удар ногой, что если бы он был нанесен с такой же силой, как и с гневом, она бы меня вышвырнула вон из постели. Этот поступок меня изумил, и я счел совсем некстати ни призывать ее к разуму, ни обращаться к ее нежности, и попросил у нее прощения; но она была так же мало чувствительна к моему смирению, как и ко всему остальному. Она даже проявила столь мало скромности, что разбудила свою горничную грохотом, какой она устроила. Правда, она не заботилась об этом больше, а так как узнала, что та помогала мне в разыгранном с ней надувательстве, то вознамерилась разбудить ее еще и не таким образом.

Горничная, вовсе не знавшая, что бы это могло означать, весьма далекая от всякого подозрения застать ее госпожу со мной, (она уверилась, будто я ушел, как та сама ей сказала), явившись посмотреть, что происходит, со свечой в руке, была сильно поражена, обнаружив меня там. Она, может быть, первая начала бы жаловаться, если бы ее госпожа, не дав ей на это времени, не высказала ей всех оскорблений, какие могли когда-либо выйти из уст женщины. Она ее упрекала в том, что с ее помощью я ее обманул, и горничная ответила ей с дерзостью, что если она и обманывала ее три раза, то вовсе не она уложила меня этой ночью в ее постель. Я верю, что та бы ее с радостью убила или, по меньшей мере, избила, если бы могла это сделать, не разбудив весь дом. Наконец ее гнев спал, и она сказала ей собирать свои пожитки, как только настанет рассвет, поскольку она никогда не желала ее больше видеть. Что до меня, то она мне скомандовала никогда не появляться перед ней, по крайней мере, [270] если я не хочу, чтобы она вонзила мне в грудь кинжал. Я наспех подхватил мои одежды, не заставляя повторять мне этого дважды, и из страха, как бы она не сделала моей шпагой то, что не могла сделать кинжалом, за отсутствием такового, это была первая вещь, какую я на себя нацепил.

Я провел остаток ночи в комнате горничной, у кого не было больше никакого желания смеяться, точно так же, как и у меня. Ее госпожа задолжала ей все ее жалование с самого ее поступления к ней на службу, и так как ее брат, хотя и богач, вовсе не присылал ей денег, она не знала, куда идти в случае, как это было

возможно, если та сохранит на нее свой гнев. Вместо того, чтобы попрекать меня, она только жаловалась, как особа, не знавшая, что с ней станет завтра; итак, не желая видеть ее в отчаянии, я ей сказал успокоиться, и если ее госпожа дурно обойдется с ней, она найдет меня всегда готовым, когда ей что-нибудь понадобится.

В девять или десять часов утра ее госпожа позвонила, как она привыкла делать, когда ей нужно было что-нибудь ей сказать. Прошло уже семь или восемь часов с тех пор, как произошло наше дело, вполне достаточное время, чтобы утихомирить ее гнев; но она была столь мало к этому расположена, что вызвала горничную только для того, чтобы возобновить отданный ей приказ, — незамедлительно убраться из ее дома. Другая, менее заносчивая, хорошенько этого бы поостереглась, так как отчаяние, в какое она ее приводила, выставляя ее вот так, без денег, стало бы причиной того, что та не замедлила бы перемыть ей все косточки в самой странной манере. Далеко над этим не раздумывая, она сказала еще, — если до нее дойдет, что та ведет о ней какие бы то ни было речи, она может быть уверена, что поплатится за это жизнью.

Напрасно горничная возражала ей, что так не выставляют девицу на мостовую, и, по меньшей мере, ей платят, когда увольняют, но ей стоило бы не говорить вообще ничего, чем держать перед ней [271] подобные речи. Вынужденная возвратить ключи своей госпоже, она явилась мне сказать прежде, чем уйти, что мне гораздо лучше выйти вместе с ней теперь, в неурочный час. Я прекрасно понял по ее словам, насколько ее не заботила больше ни ее репутация, ни репутация ее госпожи, поскольку, вместо запрещения, какое она мне делала прежде, выходить до наступления ночи, она же первая мне это советовала. Она мне советовала даже выйти вместе с ней, отбрасывая таким образом всякую осторожность, какой она столь строго придерживалась когда-то. Я не счел себя обязанным следовать ее совету, больше ради самолюбия, чем ради какого-то расположения к ней. Я нашел, что не буду иметь больше никакой чести в свете, если пойдут разговоры о том, как я оставляю дом и провожу ночи со служанкой. Итак, сказав ей уходить, я заметил, — поскольку уже задержался с выходом, то подожду уж до ночи, дабы поберечь репутацию ее госпожи, как она сама мне советовала; она же мне сказала поступать, как мне заблагорассудится, но если я пожелаю ей поверить, я хорошенько поберегусь; следовало бы поопасаться, как бы к ней по их обычаю не нагрянула куча Англичан, и как бы она не попросила одного из них пырнуть меня, когда я меньше всего буду об этом думать; она достаточно ее знала, чтобы дать мне возможность воспользоваться этим советом, пока не было

слишком поздно.

Такие речи заставили меня задуматься, что она, возможно, права, особенно поразмыслив над тем, как, все принеся мне в жертву за данное мной обещание убить Маркиза де Варда, моя Миледи прекрасно могла бы сделать то же самое для кого-нибудь другого. Итак, не имея больше ни такого уважения к ней и ее добродетели, ни такого же к себе самому и моей чести, я сказал горничной, что хочу ей верить, даже под угрозой всего, что могло бы от этого приключиться; пусть она позволит мне пройти перед ней, а сама последует за мной минут через пять, дабы не возбуждать такой [272] настороженности, как если бы мы вышли вместе. Она согласилась на все, но эта предусмотрительность не помешала тому, что меня заметили, и так как знали, что я мог выйти только от Миледи…, куда я обычно заходил, меня, может быть, заподозрили бы выходящим от госпожи, если бы не увидели, как появилась служанка через короткое время после меня. Она уносила свой узел, и некий человек, полюбопытствовав за ней проследить, увидел меня, ожидавшего ее в сотне шагов оттуда, там, где я назначил ей свидание. Я хотел узнать, не сказала ли ей что-нибудь ее госпожа, когда она ходила попрощаться с ней, как я ей посоветовал сделать.

Миледи и Королева

То, что сделал этот человек, оправдало Миледи…, как я вскоре расскажу; тем не менее, это не было полностью убедительным доказательством для нее. В самом деле, могли поверить, и это было даже весьма правдоподобно, что если я имел какие-то отношения с ней, все это могло происходить не иначе, как с помощью ее горничной, и потому я мог разговаривать с ней о предмете, не касающемся ее лично. Но этот узел был чудесной находкой для ее госпожи, и вот как все произошло.

Тот, кто видел меня выходящим незадолго перед ней, и кто за нами проследил, доложил об этом Королеве Англии, то ли он был сердит на Миледи… и полагал, что это сможет бурно обернуться для нее, или же он думал лишь позабавить Ее Величество; Королева поговорила об этом с Миледи… и в таких выражениях, что дала, ей понять, — если она не оправдается перед ней, той будет трудно поверить, что не она являлась целью моих визитов. Миледи…, не испытывавшая недостатка ни в хитрости, ни в сообразительности, совсем не растерялась в случае, в каком другая, может быть, оказалась бы весьма смущенной. Она ответила Ее Величеству, что, со всем должным к ней почтением, она позволит себе ей сказать, так как только правда может

оскорбить, она нисколько не возмущена ее подозрениями; и если ее душа спокойна, то не столько по причине [273] ее невиновности, сколько из-за доказательства, какое она легко ей предоставит. Она не отрицала, что я провел ночь в ее апартаментах, но в постели ее горничной, а не в ее собственной; она первая это заметила и с позором выгнала эту девку, не пожелав выслушивать ложь, какой та намеревалась оправдаться. Она добавила, что пригрозила вышвырнуть меня из окна и, может быть, сделала бы это, если бы у нее были люди для исполнения ее воли; но мое бегство предупредило ее негодование, и она сочла за благо на этом и остановиться, не устраивая скандала, что мог бы обернуться против нее. Она опасалась, так как далеко не всегда расположены воздавать по справедливости всему свету, как бы ей не вменили в вину, как это и делают в настоящее время, интрижку, не имевшую к ней никакого отношения; иначе она не стала бы заставлять эту девку укладывать ее пожитки, с приказом никогда больше не попадаться ей на глаза.

Так как в этом было много правдоподобия, Королева Англии легко поверила всему, что та ей сказала. Итак, весь ее гнев обернулся против меня; хотя я не имел чести быть лично с ней знакомым, она послала сказать Месье дез Эссару, что просит его явиться повидать ее после обеда. Он не осмелился уклониться от приглашения, и когда Ее Величество пожаловалась, будто у меня было столь мало уважения к ней, что я, не колеблясь, обесчестил ее Дом, он пообещал ей применить ко мне все наказание, какого она могла ожидать от его глубочайшего почтения к ней. Наказание действительно было серьезным; он отправил меня в тюрьму Аббатства Сен-Жермен, как только возвратился к себе. Я отсидел там два месяца, и полагаю, все еще был бы там, если бы сама Королева Англии не соблаговолила мне простить. Однажды, когда она находилась в Лувре, она сказала Месье дез Эссару, что мое наказание было достаточно долгим, и так как можно надеяться, что я сделался более мудрым, не было никакой опасности вернуть мне свободу. Я счел себя обязанным пойти [274] поблагодарить ее, и когда я явился, она мне сказала, что прощает моей молодости все сделанное мной, но при условии, что я не начну сначала. Я кстати рассудил ничего ей не отвечать, найдя, что почтительное молчание лучше подходило в случае, вроде этого, чем все извинения, какие я мог бы отыскать в мою пользу. Как только я вышел, она сказала нескольким Дамам, находившимся вместе с ней, в том числе и Миледи…, что я был очень хорошо сложен, и та, кого я ходил навещать, удостоилась большой чести, поскольку я был слишком лакомым кусочком для служанки, и многие госпожи таким бы с радостью

удовольствовались.

Все кончается убийством

Вот как окончилась история с моей Англичанкой, если, конечно, я не должен рассматривать как продолжение множество опасностей, из каких я счастливо выпутался, сам не зная, как в них попал. В самом деле, некоторое время спустя меня чуть было не убили при выходе с Ярмарки Сен-Жермен три человека, толкавшие меня от одного к другому, как ни в чем не бывало. Они рассчитывали, что, по природе не особенно терпеливый, я им что-нибудь скажу и подам им тем самым предлог к исполнению злобного умысла, какой они заготовили заранее; но, старея, набираешься опыта, и я сделался гораздо более выдержанным, чем когда я прибыл из страны. К тому же, так как я знал, что приобрел себе весьма опасного врага в лице Миледи, я ходил с большей предосторожностью, чем делал бы это, если бы между нами ничего не произошло. Итак, я продолжал свой путь, будто бы ничего не замечая. Они следовали за мной, и я не добрался еще до Улицы задиристых мальчиков, поскольку вышел через ворота на Улицу Турнон, когда один из этих трех мерзавцев загородил мне дорогу и сказал взять шпагу в руку. Я тотчас оглянулся назад и по сторонам, и, увидев не только двух других, готовых придти к нему на подмогу, но и еще четверых людей, кого я не знал и у кого был вид настоящих убийц, я расположился при входе в тупик, что был здесь совсем рядом. [275]

Я счел, что мне будет проще защищаться там, чем посреди улицы, но когда семь человек атаковали меня все разом, я вскоре, конечно бы, пал под численным превосходством, если бы не додумался крикнуть — «Ко мне, Мушкетеры». По счастью, Атос, Портос и Арамис были тут же совсем неподалеку вместе с двумя или тремя из их друзей. Они сидели у трактирщика вблизи от Ворот Ярмарки, и так как достаточно любого пустяка в Париже, чтобы собрался весь народ, едва они высунули нос в окно, как население, сбежавшееся в добром количестве со всех сторон, оповестило их, что это убивают какого-то Мушкетера. Как раз вовремя они явились мне на помощь, я уже получил два удара шпагой и не замедлил бы вскоре отправиться на тот свет, судя по манере, с какой взялись за это дело мои убийцы.

Они были бравые люди, и это будет хорошо видно из того, что я расскажу, если, конечно, можно дать такое наименование негодяям, решившимся на столь зловредный поступок. Они уже рассчитывали очень скоро завершить их труды, когда вдруг увидели себя вынужденными повернуть головы против врагов,

каких они вовсе не ожидали. Наша битва начала тогда становиться менее опасной для меня, и мне посчастливилось убить одного из этих людей, кто постоянно наседал на меня настырнее, чем все остальные. Мои друзья сделали то же с двумя из их компаньонов, но и с нашей стороны два дворянина из Бретани были убиты на месте. Даже Атос получил сильнейший удар шпагой по корпусу, и эта схватка грозила стать еще более зловещей, когда эти убийцы приняли внезапное решение сбежать, потому как пять или шесть Мушкетеров вышли с Ярмарки и бежали к нам на подмогу; до них докатился слух, что их товарищи схватились врукопашную с наемными убийцами.

Наши друзья, подбежав как можно поспешнее, позволили спастись убийцам, чтобы оказать нам помощь, Атосу и мне, так как мы теряли много крови. [276] Однако, выйдя из этой битвы, нам чуть было не пришлось дать другую против Комиссара, явившегося с войсками Стражников за мертвыми телами. Мы никогда бы не пожелали стерпеть, чтобы они унесли тела двух Бретонцев, и четыре Мушкетера охраняли их, пока нам делали перевязки, Атосу и мне; мы послали за каретой, куда и уложили эти два трупа. Мы перевезли их в такое место, куда бы, как мы прекрасно знали, никто бы не явился у нас их отнимать. Это была Резиденция Мушкетеров, но там бессмысленно было их беречь, и мы их похоронили в тот же вечер на Сен-Сюльпис.

Мало симпатичные Англичане

Итак, у Комиссара имелись всего лишь тела трех убийц; он составил протокол обо всем, что произошло, и приступил к их опознанию в соответствии с правилами его ремесла. Он не нашел на них ничего, что могло бы указать на то, кем они были, и поскольку никто их не потребовал, он распорядился выставить их тела в Шатле, как это обычно практикуется, когда находят кого-нибудь мертвым, кто никому неизвестен, и кого никто не желает опознать. Подозрение, что все это дело было подстроено мне Миледи…, заставило меня, хотя и раненого, не оставлять наблюдения за ней. Я передал об этом Комиссару через одного друга, кого я нашел подле него, дабы узнать, откровенно ли он говорил, якобы не знал, кто такие эти убийцы, или же он держал такие речи потому, что был подкуплен. Мой друг отрапортовал мне, что сказанное им было совершенно искренне; он знал только то, что мертвецы были Англичане; позволило ему так думать обнаружение у них записок, составленных на их языке. Он приказал расшифровать эти документы, но они не раскрыли ничего важного, разве что Англичане отмечали все, что они

видели прекрасного в Париже, и всякие другие вещи, подобные этим.

Это обстоятельство укрепило меня более, чем никогда, в моем подозрении, и, решив хорошенько поберечься, если я буду достаточно счастлив оправиться от моей раны, я делал все, что мог, лишь бы [277] отделаться от любви, еще остававшейся во мне к столь опасной особе. Казалось, однако, после всего, что случилось, я не должен бы ее иметь вовсе, главное, после злобной выходки, на какую, как я верил, она оказалась способна. Но так как не всегда делаешь то, что должен, я все еще слишком ее любил, и разве что время могло бы меня от этого излечить.

Слабость, всегда сопровождающая несовершеннолетия Королей, устроила так, что правосудие не обращалось больше к этому делу, хотя и были поданы докладные записки Его Величеству, будто бы это была дуэль. Я не знаю, кто мог осуществить такой удар, поскольку никогда не было ничего более ложного и даже лишенного всех внешних признаков. В самом деле, два удара, полученные мной, прежде чем мои друзья пришли мне на помощь, достаточно доказывали, что меня просто убивали, а я вовсе и не намеревался драться. Но так как Король возобновил по своем восшествии на Престол Эдикты, опубликованные при жизни Королем, его отцом, против дуэлей, тот, кто подал докладные записки, был рад этим подольститься к нему, или же нанести мне такое оскорбление по злобной воле, какую он затаил против меня. Я не знал, тем не менее, чтобы я хоть кого-либо обидел, если это не была Миледи… Да и тут еще остается узнать, могло ли то, что я сделал, сойти за оскорбление, поскольку, далеко не обидев ее, я лишь выдал себя за человека, кто, может быть, не обошелся бы с ней так хорошо, как я это сделал.

Наконец, когда это дело, что намеревались раздуть против меня, рассеялось, подобно дыму, я думал только о том, как бы мне излечиться, дабы поразмыслить о моем будущем в иной манере, чем я это делал до настоящего времени. Атос делал то же самое со своей стороны., и его рана заживала довольно хорошо, так же, как и мои, как вдруг его хирург начал приходить от его раны в отчаяние. Так как мы лежали бок о бок, и я слышал, как он сказал, что его рана почернела и больше не гноится, я сказал этому бедному раненому, слышавшему так же прекрасно, как [278] и я, замечание хирурга, что я не удивлюсь, если он сам станет причиной своего несчастья, и когда он помрет, ему придется винить в этом лишь самого себя; впрочем, никто о нем не пожалеет, и я не больше других, хотя я и был его лучшим другом.

Атос хочет умереть от любви

Он спросил меня, почему я так говорю. Я ему ответил, что он сам мог бы догадаться, не принуждая меня ему об этом напоминать; когда действуют, как он, это не меньшее самоубийство, чем если бы он выстрелил себе в голове из пистолета; слыханное ли дело, чтобы раненый человек, вроде него, вызывал к себе любовницу, а скоро появится и гангрена, если он будет продолжать вести такого рода жизнь. Он мне ответил, что я просто смеюсь над ним, разговаривая с ним в такой манере; я был свидетелем его мудрости; по крайней мере, если я не хочу обвинять его по пустякам, я не должен бы говорить с ним о таких вещах; кроме того, он предпочел бы умереть, чем не видеть особу, какую он столь нежно любил; однако, лучше бы я поостерегся и ничего не говорил об этом его братьям, поскольку они, может быть, станут достаточно щепетильными, чтобы не позволять ей входить сюда после этого.

Когда я увидел, в каком он настроении, и как мало значения он придавал тому, что я ему говорил, как он намеревался упорствовать в своем заблуждении, я ему заметил, что переговорю с ними об этом, как только они заявятся в комнату, если он довольно взбесился, чтобы пожелать себя уморить, то я еще не настолько непредусмотрителен, чтобы позволить ему такую вещь, пока я вижу отличное средство против этого. Мы живо спорили по этому поводу, так уж он был влюблен и безумен, и когда его братья вошли, тогда как мы были еще в пылу обсуждения, я им сказал, не ожидая, чтобы он дал мне на это позволения, если они желали вытащить его из этого дела и избежать предсказаний его хирурга, им надо последовать моему совету. Я им объяснил, о чем шла речь, и им не понадобилось большего, чтобы все исполнить буквально. Они сами пошли умолять [279] любовницу их брата не появляться у него, пока он не будет совершенно здоров. Так как она была заинтересована в этом больше, чем кто-либо другой, ей ничего не стоило на это решиться; она не являлась к нам больше, и рана ее любовника сделалась здоровой, а вскоре он был уже на ногах, точно так же, как и я.

ЧАСТЬ 7
Вторая кампания во Фландрии

Гассион был сделан Маршалом Франции недолгое время спустя после баталии при Рокруа, по рекомендации Герцога д'Ангиена, показавшего себя героем в тот памятный день. Этот новый Маршал был воспитан, как паж Принца де Конде, и можно смело сказать — это была добрая школа для того, чтобы сделаться кем-то великим, поскольку мы видели четверых выходцев оттуда, добившихся жезла Маршала Франции. Это была честь, какую трудно было найти в Доме какого-либо другого принца, хотя бы даже у самого Короля. Принц де Конде имел, однако, гораздо большее количество пажей, чем другие, и, соответственно, такое было менее невероятно у него, чем у кого бы то ни было еще, но что делало это обстоятельство более замечательным, так это то, что он, казалось, оставил все достоинство, касавшееся военного искусства, своему сыну, а сам удовлетворился [281] занятиями политикой. Не то, чтобы я хотел этим сказать, будто ему недоставало храбрости, Боже избави меня от этого, так как я говорил бы против собственной мысли, и я прекрасно знаю, что у принцев из Дома Бурбонов ее всегда хватало; но я хочу сказать здесь — поскольку он был всегда несчастлив в экспедициях, куда бы его ни посылали, с ним скорее учились хорошо снимать осады и осуществлять отступления, нежели брать приступом крепости и выигрывать сражения.

Виконт де Тюрен тоже получил такую же честь, как и Гассион. Он вовсе не был безразличен к ней; как оказался впоследствии, титул и жезл Маршала не показались ему недостойными быть поставленными перед его именем, так же, как спереди и сзади его кареты. Наконец, слабость Министра вскоре придала дерзости знатным особам, и в самое короткое время нашлось довольно значительное число, потребовавших сделать себя Принцами. Тем не менее, большая часть оставила при себе свои претензии, чтобы выставить их снова в более благоприятных обстоятельствах; но Дом Буйонов был настойчивее других, под предлогом, что он не требовал ничего такого, что не было бы ему должно, поскольку во времена, когда он обладал Седаном, некоторые Могущества признавали его в этом качестве. И он добился в конце концов того, чего желал. Это заставило Маршала де Граммона произнести фразу, какую с тех пор часто повторяют, когда хотят засвидетельствовать, что добиваются всего, когда упорствуют в своей решимости: Как Руль сделался Парижем из-за настырности, — сказал он, — так и Дом Буйонов добрался до достоинства Принцев.

Руль — предместье Парижа, и довольно-таки отдаленное прежде; но так как этот город постоянно увеличивают, оказалось, наконец, столько там всего понастроено, что оно сделалось теперь его частью. Вот что имел в виду этот Маршал, тогда как сам тоже претендовал на такую же честь. Он даже сделал все, что мог, при свадьбе короля, дабы тот ему ее [282] предоставил; но так как нельзя было сделать это для него, и одновременно не сделать того же для кого-нибудь другого, Двор рассудил некстати соглашаться на его требование. Правда, как похвалялись Мессиры де Буйон, некоторые иностранные Могущества признавали их за Принцев с тех пор, как они были мэтрами Седана — Император и Испания делали это, дабы рассорить их с Францией, даже в насмешку не дававшей им этого достоинства; она имела их, как подданных, на протяжении всех прошедших веков, и всегда причисляла их к этому положению. Голландцы признавали их, чтобы угодить Принцу д'Оранж, кто был близким родственником этих новых Принцев, так как покойный Маршал де Буйон, отец Месье де Буйона и Месье де Тюрена, женился на Элизабет де Нассо, сестре Графа Мориса.

Этот Принц при жизни делал все, что мог, чтобы расположить Генриха IV, с кем был в очень хороших отношениях, предоставить ему эту привилегию; но Великий Король так никогда и не

снизошел до подобной милости. Он так же старался и подле Людовика XIII; не то, чтобы тот не признавал его за Принца Седана, но обращаться с его Домом, как с Домом Суверенным, об этом он и слышать никогда не хотел. Но то, чего не желали делать отец и сын, нынешний Король, наконец, сделал. Это дает понять, что наши Государи делают Принцев, когда пожелают, ничуть не хуже Императора; поскольку, в конце концов, если бы это не было так, то где бы были сегодня Принцы этого Дома, кто могут считаться таковыми лишь по милости Короля, а вовсе не милостью Божей.

Кошелек дороже жизни

Как только Кардинал Мазарини расположился в своем Министерстве и увидел, как он там утвердился, благодаря успеху баталии при Рокруа, благодаря заточению Герцога де Бофора и других его врагов, он изучил привычки Знати Двора, дабы забавлять их всем, что имело к ним отношение. Он признал, что игра была страстью, вовсе не чуждой [283] им, и так как она не была чужда и ему самому, он ввел в обиход игру «хока» и несколько других игр, привезенных им из Италии. Обладавшие достаточным разумом вскоре распознали его скупость по его желанию постоянно выигрывать. Так как он был далек, однако, от того уважения, каким пользовался Кардинал де Ришелье, почти исключительно особы скромного положения пожелали быть слугами у него. Сын одной белошвейки из Парижа получил главное попечение над его домом. Другой, еще ничтожнее первого, поскольку он был всего лишь сыном мельника из Бретани, не стал пока одним из его младших Офицеров; он получил Интендантство над его финансами. Они были совсем невелики поначалу, и не было нужды в пухлом журнале, чтобы ими пользоваться, но со временем они сделались столь огромны, что если бы не могли обратиться прямо к нему, потребовалась бы почти целая Счетная Палата, дабы ими распоряжаться. Он имел ловкость, среди всех его переустройств, завести себе такую, в какой всякий другой, кроме него, никогда бы не разобрался. Он был благожелателен к тем, у кого выигрывал их деньги. Те, кто выигрывали у него его собственные, не могли добиться выплаты их жалования, какую бы настойчивость они к тому ни прилагали. То же случалось даже и с теми, кто выигрывал деньги у других. Он отвечал всем, когда с ним об этом заговаривали, что у них имелись средства и обождать, и что они должны пропустить более нуждающихся. Он остерегался им говорить, что у них вовсе не будет денег, пока они будут выигрывать их у других. Он не желал обрезать у них кошельки столь недостойно, и брался за это дело с гораздо большей сноровкой.

Это поведение не принесло ему уважения тех, кто давал себе труд сравнивать его действия с поступками Кардинала де Ришелье. Они знали, что пока был жив тот, он не совершал ничего, кроме великого и похвального, если исключить отсюда его жестокость. Что же до другого, то он не жаждал ничьей [284] жизни; он испытывал жажду только к их кошельку, и не существовало такого коварства, какое бы он не пустил в оборот ради того, чтобы набить собственный. Он, казалось, не знал,

однако, что с ним делать; Королева, добрая Принцесса и мало способная к делам, оставила его мэтром абсолютно во всем, не требуя от него никаких отчетов. Но либо он опасался более проницательных глаз, чем его собственные, или же, как Итальянец, полагал, что и самое лучшее не стоило ничего без приправы каким-нибудь плутовством, но очень скоро он научил тех, кто и сами были способны испортиться, сделаться мошенниками по его примеру.

И в самом деле, не видано было до этих времен, чтобы обвиняли Французов, как это делают сегодня, в неверности данному слову. Если они и имели изъяны, так как нет Нации, у какой бы не было своих, только ей присущих, это были лишь такие, в каких их всегда и справедливо обвиняли. Мы, например, больше, чем надо бы, любим жену нашего ближнего; мы любим также казаться чем-то большим, чем позволяют нам наши средства; мы любим даже повелевать другими, и так далее, тысяча подобных вещей, какие было бы слишком долго перечислять. Если невозможно отрицать, что все это дурно само по себе, то можно сказать, тем не, менее, что это ничто по сравнению с тем, как мы вскоре начали относиться одни к другим после того, как обучились его урокам.

Первый год Регентства прошел в этой манере; едва наступил 1644 год, как Его Преосвященство, дабы остаться единственным мэтром в делах Кабинета, отправил Герцога д'Орлеана командовать во Фландрию, а Герцога д'Ангиена в Германию. Не было больше никого, кроме Принца де Конде, кто бы мог внушать ему подозрения, но его он довольно ловко отправил в Бургундию, под предлогом дел в этой Провинции, где тот был Наместником; тогда этот Министр принялся перекраивать все по-своему при Дворе, будто бы сам был Государем. [286]

Французы, совсем не болваны, хотя частенько они ничего и не говорят или из любезности, или же из-за политики, не замедлили распознать его намерение. Они перешептывались об этом между собой и начинали находить странным, что Принцы Крови позволяли ему делать все, что он пожелает.

Слишком молод

Полк Гвардейцев, где я по-прежнему находился, не имея возможности до сих пор поступить в Мушкетеры, несмотря на все мои старания к этому, был назначен для несения службы в армии Герцога д'Орлеана. Причиной того, что я никак не мог попасть к Мушкетерам, было то, что Министр уже пожирал глазами эту Роту. У него имелись племянники, все еще остававшиеся в Италии, но с кем он намеревался поделиться своей доброй удачей. Все самые лучшие должности казались ему еще недостаточно хорошими для них, а так как эта не принадлежала к незначительным, он стремился заранее отбить к ней вкус у Месье де Тревиля, дабы тот не испытывал сожаления, расставаясь с ней, когда другому захочется ее заполучить. Итак, он убедил Королеву приказать ему не принимать ни одного Мушкетера, пока он сам не представит его Королю. Его Величеству не было еще и пяти с половиной лет, и ему должны бы скорее представлять ракетку да волан, чем спрашивать его мнения по вопросу, далеко превосходившему его познания; поскольку, какое бы расположение он не имел ко всему великому и возвышенному, как всеми было признано впоследствии, легко было признать, что это была просто насмешка — выставлять его судьей, способен или нет такой-то человек войти в эту Роту.

Итак, когда я был ему представлен, а мне было достаточно происходить из страны Месье де Тревиля, чтобы не быть приятным Кардиналу, этот Принц, кто говорил в те времена исключительно словами Министра, сказал мне, что я еще слишком молод, чтобы туда войти; прежде, чем я смогу на это претендовать, мне понадобится потаскать мушкет в Гвардейцах, по меньшей мере, на два или на три [287] года больше. Мне предлагалось дороговато купить себе место, вроде этого, тем более, что, по тогдашнему обычаю, после восемнадцати месяцев или, самое большее, двух лет службы Король давал звание Офицера в старом Корпусе и даже позволял иногда, если кто-то был в состоянии это сделать, купить там Роту, или же во всяком другом Полку, если там имелась какая-либо на продажу.

Причины отказа

Тем, кто ими обладал, редко препятствовали их продавать, особенно, когда они состарились на службе, и это было для них, как своего рода вознаграждение за их труды. Прежде, чем Месье де Фабер сделался тем, кем он стал, он именно так добивался для себя Роты. Он тем более был уверен в благоприятном исходе, что прослужил в Гвардейцах гораздо больше требуемого времени. Людовик XIII даже сказал продавцу, что если тот, кто представится для ее покупки, будет иметь за плечами всего лишь восемнадцать месяцев, он может рассчитывать на немедленное согласие. Но Месье де Фабер был настолько лишен того, что называют «доброй миной», что Король, едва его увидев, сказал тому, кто хотел отделаться от своей Роты, сохранить ее, если у него нет под рукой другого покупателя. Вот как начал человек, кого видели затем Маршалом Франции; и так как я увидел его уже Наместником одной из лучших земель Королевства, я легко утешился, не получив плащ Мушкетера. Я говорил себе, что, при столь печальном начале, последующее, может быть, не будет более бурно. А еще помогло моему успокоению то, что я узнал, несмотря на обманчивый вид Месье де Тревиля, кого бы не обрадовало, если бы заметили, в каких недобрых отношениях он находился с Министром, что этот отказ был скорее направлен против него, чем против меня.

Как бы там ни было, отправившись вместе с Полком Гвардейцев, взявшим дорогу на Фландрию, я прибыл в Амьен в начале мая. Мы пробыли там два дня, весьма стесненные в этом городе, переполненном войсками, одни из которых направлялись по [288] дороге к Абвилю, другие к Аррасу, дабы скрыть от врагов истинные намерения. Прошел слух, будто мы идем на Дуэ, тогда как об этом меньше всего думали. Целью был Гравлин, и для этого заключили договор с Голландцами, бывшими в те времена нашими друзьями. Они должны были снабдить нас судами, дабы помешать врагам получать помощь морем. Однако Испанцы начинали уже ничего более не бояться с этой стороны, потому что они бросили большую часть своих сил в Португалию и Каталонию.

Маршал де Гассион явился на соединение с Герцогом д'Орлеаном со стороны Бапома, и когда наш Полк нашел там армию, мы внезапно повернули налево, что раскрыло врагам нашу настоящую цель. Мы были вынуждены навести мосты по реке А, чтобы иметь возможность ее форсировать, а так как враги соорудили Форт между Гравлином и Сент-Омером для

сохранения сообщения между этими двумя городами, как только мы оказались на другом берегу, мы его атаковали. Этот Форт назывался Форт де Бэетт, и был достаточно правильно укреплен, но он не представил большого сопротивления Маршалу де Гассиону, кого Герцог д'Орлеан отправил для овладения им. Маршал добился успеха в первый же день, и мы захватили также Форты де ла Шапель и де Сен-Фолькен, возведенные врагами для затруднения подступов к Гравлину.

Война во Фландрии

Маршал де ла Мейере, кому войска дали прозвище Захватчик Крепостей, поскольку действительно он был более талантлив в этом, чем остальные, прибыл к городу несколько часов спустя после того, как он был блокирован. Эта миссия была поручена Графу де Рантсо, явившемуся через Абвиль. Герцог д'Орлеан расположил ставку Короля возле монастыря монахинь со стороны Бурбура, и, распределив другие места Графам де Рантсо и де Крансе, он отвел также место и Маркизу де Вилькье, кто привел к нему дворянство Булони, где он был Наместником; этот Маркиз, как и оба Графа, был сделан Маршалом Франции впоследствии, и стал [289] называться Маршалом д'Омоном. Однако, так как Герцог д'Орлеан имел мнение, что враги намеревались разорить маленькую провинцию, где Наместником был Вилькье, пока тот будет в удалении, он тотчас вернул его назад и приказал занять его пост Маршалу де Гассиону, кого прежде хотел поместить на флангах.

Проделав все это за три дня, начали работать над линиями обложения и оборонительным рвом со всей возможной поспешностью. То и другое было равно необходимо, потому что гарнизон был силен, и Испанцы, казалось, не желали позволить взять это место без боя. Они еще удерживали один Форт, под названием Сен-Филипп, гораздо более значительный, чем уже взятые нами; он оказал более сильное сопротивление. Однако те, кто его защищали, рассудили, что не смогут защищать его еще дольше против столь сильной армии, как наша; они покинули его ночью и отступили втихомолку. Они возвратились в Город, а мы об этом узнали далеко не сразу. Наш полк, вскрывший траншею перед этим Фортом, поднялся туда в этот день во второй раз, и не услышал никаких выстрелов; Месье дез Эссар сказал сержанту передового поста, где находился и я, взять с собой нескольких солдат и подняться до уровня равелина, обрушенного нашей пушкой, чтобы выяснить причину такой тишины. Сержант, бравый человек, ответил, что он подчинится, но считает — нет никакой надобности в большом отряде для исполнения его приказа; чем больше он поведет туда народа, тем больше будет убитых; итак, он предложил взять с собой одного-единственного человека, потому что таким образом он наделает меньше шума.

Он положил глаз на меня для этой экспедиции и спросил в присутствии моего Капитана, не хочу ли я последовать за ним на эту разведку. Я ответил ему жестом, что готов это сделать, и, пристроившись к нему, ждал лишь, когда двинется он, чтобы

одновременно двинуться самому. Это крайне [290] понравилось Месье дез Эссару, кто не питал ко мне отвращения. Однако, как только мы собрались уходить, Месье де Крансе, дежуривший в этот день в траншее, как раз прибыл к нам, и когда Месье дез Эссар сказал ему о своем намерении, он не пожелал, чтобы сержант рисковал идти туда в одиночку. Он приказал ему взять еще девятерых солдат; так нас стало всего одиннадцать. Впрочем, я не сделался от этого ни менее подвижным, ни менее бдительным; обогнав вскоре всех остальных, маршировавших в полной тишине и со всеми предосторожностями, какие обычно принимаются в такого сорта вылазках, я оказался уже далеко впереди, в равелине, когда они не дошли еще до его уровня.

Взятие равелина

Я не нашел там никого, кроме единственного человека, да и тот сбежал от меня. Я крикнул ему вослед— «бей», — дабы поторопить моих товарищей, и потерял его из виду в темноте; сержант послал спросить Месье дез Эссара, что следовало делать, так как равелин оказался брошенным. Месье дез Эссар отправил нам подкрепление из тридцати человек с саперами, чтобы нам там окопаться. Он и сам явился к нам с визитом, порекомендовав нам делать поменьше шума, поскольку так мы сможем избежать вражеской атаки до завершения укрепления нашего лагеря. Он отбыл отдать отчет Графу де Крансе о том, что он сделал; а так как я видел, что враги не произвели ни одного выстрела из Форта, откуда они должны бы, однако, слышать наши работы, какие бы предосторожности мы ни принимали, я сказал сержанту — если он доверяет моим ощущениям, то я считаю бесполезной работу, какую мы тут делаем; враги, по всей вероятности, бросили Форт, как они уже сделали с равелином. Он мне ответил, что хотел бы в это верить, если бы я не видел человека по моем прибытии. Он спросил меня, действительно ли я его видел, и не ошибся ли я. Я ему ответил, что нет. На что, перехватив слово, он мне сказал, что этого человека не было бы здесь, если бы никого больше не было в Форте. [291]

Я не хотел ему возражать, потому что, поскольку я служил не особенно долго, он должен был знать свое ремесло намного лучше меня, кто ничего еще не видел по сравнению с ним, и было бы великим нахальством с моей стороны преподавать ему уроки. Однако, так как я никак не мог отделаться от своего ощущения и согласиться с его мнением, я ему сказал, — если бы ему было угодно дать мне разрешение пойти разведать Форт, я бы отрапортовал ему сам, кто ошибался, он или я. Он мне заметил — поскольку здесь имелся старший, я мог бы пойти поделиться моей идеей с ним, и он не сомневался, что тот предоставит мне свое позволение; потому что, если моя идея окажется верной, мы все смогли бы с большей пользой провести ночь, чем занимаясь бессмысленной работой. Последовав его совету, я пошел просить Месье де ла Селя, Лейтенанта нашего Полка, командовавшего здесь, о том же, о чем просил сержанта. Он дал мне свое согласие и назначил другого кадета, по имени Менвиль, меня сопровождать.

Трусость кадета Менвиля

Едва я спустился с равелина, как увидел, что тот исчез, будто молния. Он побежал сказать, будто я попался в руки маленького дозора, тотчас же меня изрубившего ударами шпаг. Месье де ла Сель был весьма этим рассержен и очень сожалел о предоставленном мне разрешении. Он рассматривал его, как причину моей смерти, и не знал, как оправдаться перед Месье дез Эссаром; он опасался его негодования, потому что ему было небезызвестно, как тот меня уважал. Обо мне, тем не менее, не стоило так сожалеть, как он думал. Менвиль заверял его в моей смерти лишь для того, чтобы лучше прикрыть собственную трусость. Так как у этого человека не было ни большого ума, ни великодушия, он и не подумал о том, что Форт мог быть брошен, тогда как я сам говорил, что преследовал какого-то человека. Итак, он твердо верил, что я никогда не выскользну из опасности, куда я устремился, по его мнению, с беспримерной дерзостью. Наконец, тогда как мои [292] друзья меня уже оплакали, и новость о моей смерти дошла до Месье дез Эссара, кто был не из последних, сожалевших обо мне, я, живой и здоровый, возвратился в равелин. Без всякого сомнения, меня бы приняли за привидение, если бы не то обстоятельство, что военные люди редко бывают подвержены такого рода впечатлениям. Месье де ла Сель признался мне, что уже произнес заупокойную молитву по моему поводу.

Я хотел бы поберечь репутацию моего товарища. Но все, что я мог сделать, это сказать — если Менвиль видел дозор, о каком он говорил, должно быть, его глаза просто более проницательны, чем мои, поскольку я не заметил ни единого человека во всем Форте, хотя и прогулялся по нему из конца в конец. Ла Сель настолько же обрадовался этой новости, насколько Менвиль был ею удручен. Он прекрасно видел, что ему не вернуть больше уважения его товарищей; потому он покинул армию той же ночью из страха стать всеобщим посмешищем после того, что произошло.

Армия, которой не хватает пороха…

Оставив за собой брошенный Форт де Сен-Филипп, мы атаковали Гравлин, и он оказал нам серьезное сопротивление. У врагов было бы время ввести туда людей и завезти припасы, если бы Голландцы надежно не следили за морем. С нашей стороны, мы держались твердо. Однако, так как у них были превосходные войска, и им было бы позорно отдать в наши руки такое прекрасное место, не сделав, по меньшей мере, хоть какой-то попытки его спасти, Пиколомини, командовавший там, вышел из города и показался в виду нашей армии. Это заставило нас всех поверить, что вскоре состоится сражение, и когда Генералы уверились в этом ничуть не меньше, чем остальные, Герцог д'Орлеан скомандовал раздать порох всем полкам. Обратились в Артиллерию за его получением, но не нашли там ни крошки; а тот, кто отвечал за его наличие, сказал Майорам, что столько его было истрачено с тех пор, как стояли перед этим местом, что потребуется [294] дождаться, пока он вновь прибудет, чтобы его получить. Это объяснение было столь невразумительным, что в тот же час обратились с жалобами к Маршалу де ла Мейере, Главному Мэтру Артиллерии. Можно было бы пожаловаться прямо Герцогу д'Орлеану, но так как этот Маршал был честным человеком, и всем было известно, что он не принимал никакого участия в мошенничествах, совершавшихся в Артиллерии, все Офицеры рассудили, что сначала надо обратиться к нему.

Маршал послал за тем, на кого жаловались, решив обратиться с ним самым строжайшим образом. Офицер Артиллерии, прекрасно знавший, что имел дело с человеком вспыльчивым, особенно по поводу тех, кто злоупотреблял их долгом, не пожелал идти к нему, не предприняв некоторых предосторожностей. Он пошарил в шкатулке, и, запасшись какой-то бумагой, отправился тогда выяснять, чего от него хотели. Маршал тотчас сказал ему, что прикажет его повесить и дает ему всего четверть часа для приготовления к смерти. Он действительно предупредил Герцога д'Орлеана о необходимости такой кары. Герцог одобрил его решение, поскольку Маршал знал обстоятельства лучше, чем кто-либо другой, так как был непосредственным командиром виновного. Но этот человек, особенно не беспокоясь, ответил ему в конце концов, что тот, конечно, может его повесить, если захочет, да еще, когда Герцог д'Орлеан приложит к этому руку, но как только он им скажет, что у него имеется в качестве оправдания, он уверен, они не будут столь торопливы. Маршал пришел в еще больший гнев, чем

прежде, и спросил, не приказывал ли он ему сделать запас во столько-то тысяч фунтов пороха для осады, и не должно ли было у него остаться еще больше половины.

Тот ему ответил, что он ничего этого и не отрицает, но у него имеется высший приказ, какому он счел своим долгом подчиниться. Маршал, услышав о высшем приказе и испугавшись, как бы он не наделал столько шума понапрасну, и вообразить себе не [295] мог, что речь могла идти о ком-нибудь другом, кроме Герцога д'Орлеана. Тут же он перешел с ним на другой тон и пожалел о тех словах, что вырвались у него, по его мнению, по неосмотрительности. Тем временем в его палатку вернулся человек, посланный им к Герцогу д'Орлеану; он вгляделся в него, стараясь прочесть по его лицу, следует ли ему бояться или надеяться, даже не заботясь спрашивать его об этом. Он не увидел на нем ничего опасного, и еще более успокоенный ответом Герцога д'Орлеана, велевшего ему делать все, что ему заблагорассудится, снова принял свой грозный вид и сказал тому, кого публично приговорил, уж не считает ли тот себя недостаточно виновным, раз добавляет к собственному преступлению еще и вранье.

… или экономность Кардинала

Человек слушал его слова, казалось, ничему больше не удивляясь, что сделало Маршала еще менее снисходительным; он снова поклялся, что не пройдет и четверти часа, как он прикажет лишить его жизни. Человек тут же возразил, что он ничего не сделал, кроме как по приказу первого Министра, и каким бы Знатным Сеньором тот ни был, ему не удастся умертвить его безнаказанно, а если у того есть какие-то сомнения по этому поводу, он их сейчас же рассеет. В то же время он вытащил из кармана письмо Кардинала; оно было составлено в таких выражениях:

> «Помните о клятве, какую вы принесли, когда вы были приняты на вашу должность. Вы обещали Королю быть ему верным. Верность, какой он от вас требует, состоит в том, чтобы вы мешали, насколько это будет в ваших возможностях, его обворовывать. Расходуется много пороха каждый год, и неизвестно, куда он уходит. При малейшей тревоге ваши командиры находят предлоги выпускать приказы о распределении его в огромных количествах; однако, или эти приказы не исполняются, или же такое распределение возвращается в их кошельки окольными путями, о каких Его Величеству прекрасно известно, и нет никакой необходимости их [296] объяснять. В этих обстоятельствах и во всех других им подобных всегда вынуждайте повторять вам приказы, по меньшей мере, три или четыре раза; отыскивайте любой предлог, чтобы не подчиняться им немедленно. Иначе вы окажетесь не только недостойны вознаграждения, какое было вам обещано, но станет ясно, что вы участвуете в их кражах».

Маршал был невероятно изумлен таким чтением, где его выставляли, как разбойника, и даже, как главаря всех остальных, поскольку он был Мэтром всей Артиллерии. Однако, так как он не желал восстанавливать против себя первого Министра, он поговорил об этом с Герцогом д'Орлеаном; тот сказал ему, что, как разумный человек, он несколько поражен всей этой штукой; он прекрасно знал, что первый Министр безумно любил деньги, и ему довелось самому раскрыть это всего за несколько дней до отъезда, когда Министр говорил ему, что Полк Гвардейцев крайне дорого обходится Королю, лично он не видел, чтобы Офицеры

там были более бравы, чем другие; с тех пор, как он стал первым Министром, там еще ни одного не убили, и он рассматривает все, что туда отдается, как потерянное.

Маршал не удовлетворился этим ответом. Он возразил Герцогу, что каково бы ни было мнение Министра, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы младший Офицер, под предлогом ему угодить, принялся за неповиновение своим командирам; здесь уже дело касалось успеха всей армии, и если бы Пиколомини был в курсе, он бы этим воспользовался. Герцог прекрасно понимал, что тот старается подзадорить его, дабы он принял его сторону. Однако, вместо всякого ответа, он сказал ему, что не желает ни в чем посягать на его права, и раз уж речь зашла об одном из его Офицеров, он оставляет его полным мэтром назначить такое наказание, какое он сам сочтет уместным. Маршал притворился, будто не видит, насколько больше лукавства было в этом ответе, чем доброй воли. Он распорядился передать человека в руки Прево, и нашли его уже удавленным [297] ночью, причем так и не смогли добиться правды, этот ли Офицер от него отделался, или же какая другая персона протянула ему руку помощи. Всех оповестили, что якобы отчаяние заставило его покуситься на собственную жизнь. Но, если бы это было и верно, все равно кто-то же должен был одолжить ему веревку и гвоздь, чтобы повеситься в этом скверном домишке, где несчастный закончил свою жизнь.

Нашумевшее дело

Это дело не вызвало бы никакого шума без тех обстоятельств, что ему предшествовали; но так как они подверглись большой огласке, эта смерть произвела ничуть не меньшую. Получали удовольствие от распространения слуха, будто Маршал с радостью отделывался от неудобного свидетеля. Это была грандиозная клевета, поскольку не только никогда невозможно было предъявить ему какого бы то ни было упрека в его службе, но никогда человек не исполнял ее с большей преданностью и меньшей личной заинтересованностью. Потому все, чему Кардинал мог бы поверить, исходило скорее от его подозрительного настроения, чем от какого-либо доказательства, что он имел против него. Сказать по правде, он был бы рад воспользоваться этим предлогом, чтобы лишить Маршала его звания. Он уже страстно стремился глазами и сердцем ко всему, что было прекрасного и великого в Королевстве, и так как подобный лакомый кусок не всякий день оставался вакантным, он желал его заполучить, так же, как и все остальные. Он желал его не для самого себя, хотя и видели прежде человека, одетого в пурпур, бывшего одновременно и Адмиралом Франции, и Генералом армии в Пьемонте. Но у него были племянники и племянницы, с кем он намеревался поделиться своей удачей, и кого он хотел как можно скорее вызвать во Францию, дабы пристроить их здесь так хорошо, как только сможет.

Ловко проведенная кампания

Армия не испытывала недостатка в порохе после этого наказания. Тот, кто занял место покойного, не заставлял себя упрашивать, чтобы выдавать его. Но за всю эту кампанию он послужил разве что для [298] стрельбы по воробьям. Пиколомини после того, как подступил на пушечный выстрел к нашим линиям, удалился, не осмелившись ничего предпринять. Гравлин после этого больше не удержался и сдался 28 июля; мы еще на несколько дней задержались перед этим местом, чтобы восстановить его укрепления. Когда они были завершены, мы сделали вид, будто нацеливаемся на другие приморские города Фландрии, дабы стянуть все вражеские силы к этой стороне. Наши добрые друзья Голландцы удерживали тем временем море, но как бы не имея какого-либо особенного намерения. Испанцы попались на эти внешние признаки настолько, что они меньше всего об этом думали, когда увидели, как те напали на Гент. Они хотели было бежать его спасать, но прибыли туда слишком поздно и с сожалением понаблюдали лишь за его сдачей 7 сентября.

Как хорошо быть Мушкетером

Для нас кампания закончилась взятием Аббатства Уатт и нескольких других Фортов, что враги позаботились укрепить. Это была последняя кампания, какую я прошел в рядах Гвардейцев, и, поступив в Мушкетеры примерно через месяц после моего прибытия в Париж, счел, что моя судьба обеспечена, поскольку я, наконец, добился того, чего более всего желал. Я не сумею выразить охватившую меня при этом радость. Я выставлял себя напоказ, как только мог, перед дамами, чья помощь не была мне безразлична с тех пор, как я явился из Беарна. Я рассчитывал даже составить себе состояние при их посредстве, так же, как и при посредстве оружия, и так как я был еще молод и не обладал всем опытом, какой могу иметь в настоящее время, моя надежда основывалась больше на добром мнении, какое я имел о себе самом, чем на всем остальном. Однако, если бы мне довелось все начать сначала, я бы не стал полностью полагаться на это. Какая бы добрая мина у меня ни была, существовало бесконечное число других и при Дворе, и в Париже, что вполне стоили моей. Итак, если я и имел некоторый успех до сих пор, то был обязан им скорее слабости, какую [299] находил у представительниц прекрасного пола, какой, да не будет им это нелестно, все они преисполнены, чем собственным так называемым качествам. Однако мне приходится признаться, к моему смущению, — у меня сложилась странная мысль обо всех женщинах вообще; я не верил, что хотя бы одна могла устоять против моих ухаживаний, и поскольку я нашел нескольких, находивших удовольствие в выслушивании моих любезностей, я подумал, что то же должно быть и со всеми другими. Тем не менее, мне стоило бы лишь вспомнить о моей Англичанке, чтобы изменить мнение. Но так как люди изобретательны в обмане самих себя, я ее просто вычеркивал из числа разумных женщин, когда о ней задумывался, или же приписывал неудачу малому опыту, какой я имел тогда, и какого, я был уверен, набрался вполне достаточно с того времени.

Тревиль противостоит другому Кардиналу

Кардинал Мазарини упорствовал, однако, в своем желании заполучить Капитанство Мушкетеров для старшего из Манчини, кого уже начали замечать при Дворе. Он был хорошо сложен и обладал приятной миной, и в нем чувствовался человек знатного происхождения. Действительно, Дом Манчини не принадлежал к незначительным среди римской знати, хотя и не был обойден, как и сам Кардинал, злословием, вскоре поднявшемся против Его Преосвященства. Месье де Тревиль, кто потерял в покойном Короле свою единственную поддержку против нападок Кардинала де Ришелье, ни в чем не растерял своей гордости и верил, что после сопротивления такому человеку он еще прекрасно сможет выстоять против этого. Итак, он твердо держался против него, не желая прислушиваться ко всем его обещаниям. Он отвечал тем, кто разговаривал с ним от его имени, что эта Должность была ему дана, как награда за его добрые поступки, и он хотел бы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь. Он был бы очень рад, если бы Его Величество, кого он еще не имел чести знать лично, так как, в самом деле, было невозможно, чтобы этот юный Принц знал [300] кого-либо лично в том возрасте, в каком он находился, он был бы очень рад, говорю я, когда бы Его Величество, найдя его удостоенным этого звания по его совершеннолетии, смог бы осведомиться о причинах, обязавших покойного Короля, его отца, предоставить его ему, чем кому-нибудь другому.

Этот ответ вовсе не понравился Кардиналу, кто не видел другого, более подходящего поста, чем этот, для своего племянника, и кто хотел поместить его туда во что бы то ни стало. Он видел, что Король, совершенный ребенок, каким он и был, уже проявлял стремление к великим делам, а эта Рота имела все виды сделаться однажды его радостью, чем она и стала в действительности.

Но Тревиль действовал с подобными же целями; у него был сын того же примерно возраста, что и Его Величество, и он, конечно, надеялся устроить его на свое место прежде, чем Бог отзовет его из этого мира. Тем не менее, Кардинал, объявив ему секретную войну, делал все, что мог, подле Королевы, дабы вынудить ее сместить того с его должности. Предлог, каким он воспользовался, был тот, что он имел множество друзей в Гвардии, и так как он был мэтром и там, и в своей собственной Роте, то было бы в его власти злоупотребить этим, когда ему заблагорассудится. Королева, всегда доверявшая Тревилю, не придала никакого значения этим подозрениям. Она помнила, как,

никогда не примыкая ни к каким интригам, этот Офицер всегда демонстрировал свою верность нерушимой привязанностью к особе Короля.

Министр еще недостаточно прочно обосновался подле этой Принцессы, чтобы заставить ее прислушаться к его советам. Итак, сделав вид, будто все, что он говорил, было лишь следствием его рвения, он отложил продолжение этого дела до более благоприятного времени. Он с большой заботой, однако, замечал Ее Величеству обо всем, что могло бы выступить в защиту его цели; и так как Тревиль был человеком открытым, считавшим себя вне всяких [301] подозрений по причине своей преданности, тот пытался интерпретировать во зло множество его поступков, что были не только совершенно невинны, но еще и исходили из самых добрых побуждений. Вся наша Рота знала об этом из нескольких слов, что Месье де Тревиль не смог удержать, и так как не было ни одного Мушкетера, кто бы его не обожал, если случалось одному из нас оказаться на дороге, по какой проходил Кардинал, он отворачивался, чтобы не быть обязанным воздавать ему должных знаков почтения. Кое-кто обратил на это внимание Его Преосвященства, но он, как ловкий политик, притворился, будто не придает этому никакого значения. Он знал, что если покажет, что все это ему известно, он будет принужден выказать определенное негодование. А он понимал, что такое поведение возбудит лишь отвращение этой Роты к его племяннику и станет верным средством, если он когда-нибудь преуспеет в своих замыслах, доставить тому всеобщую ненависть, вместо дружбы. [302]

Другие влюбленности и Разочарования

Тем временем я влюбился в одну молодую знатную Даму, кто была довольно прелестна, но считала себя гораздо более прекрасной, чем была на самом деле. У нее была такая огромная слабость к лести, что ее близкие, знавшие о ее изъяне, пользовались им столь хорошо, что не было ни одного из них, кого бы она не обогатила. Их единственная заслуга состояла в том, что они умели ловко расточать ей любезности. Кто более ею восхищался и имел больше угодливости к ней, на того она и приветливее смотрела. Я вскоре узнал о ее слабости, так же, впрочем, как и другие, и так как я был влюблен, мне было ничуть не затруднительно довольно славно водвориться в ее душе. Мне не составляло никакого труда говорить ей, что она [303] была красива, поскольку она казалась такой в моих глазах. Наконец, хотя мне и не все нравилось из того, что она делала, я не упускал возможности действовать так, как если бы я и этим равно восхищался. Именно такой дорогой и надо было следовать, если я хотел и дальше быть ей приятным.

Молодая, красивая и богатая Дама

Она была вдова и прожила всего лишь восемнадцать месяцев вместе со своим мужем. Он был убит и битве при Рокруа, и хотя она овдовела уже достаточно давно, чтобы подумать и о новом замужестве, мысль об этом еще не являлась ей, потому что она не была слишком счастлива с первым мужем. Он имел любовницу, когда женился на ней, и продолжал посещать ее после свадьбы; для нее это было тем более чувствительно, что она обладала добрым мнением о себе самой. Она верила, и с полным правом, что заслуживала всей его нежности; потому столь малая справедливость, какую он ей воздавал, заставила бы ее, без сомнения, никогда больше не рисковать, дабы не оказаться снова в подобной ситуации, если бы она могла воздержаться от выслушивания комплиментов.

Было бы опасно связаться с такой женщиной, и здесь наверняка нашелся бы камень преткновения для ревнивого мужчины. Но так как я не чувствовал за собой никакой склонности к столь роковой страсти для покоя людей, я продолжал мои усилия в надежде присовокупить ее богатства к моей нищете. Дама была необычайно богата, и это качество нравилось мне ничуть не меньше, чем ее красота, хотя я и не был безразличен к последней. Я рассчитывал к тому же, если она

когда-нибудь сделается моей женой, вскоре отучить ее от всех ее слабостей, особенно, обращаясь с ней настолько хорошо, что она легко и полностью доверится мне. Я был первым, осмелюсь сказать, кто заставил ее задуматься об изменении ее вдовьей участи на положение замужней женщины. Я приглянулся ей с самого начала. Я откровенно признался ей, — если она пожелает меня послушать, она всячески обеспечит мою судьбу; [304] итак, равно соединив признательность и любовь во мне, она может смело положиться на то, что я ее буду гораздо меньше любить, как муж, но скорее, как любовник.

Она нашла искренность в моих речах. Я отличался от тех из моей страны, кто, поверить им, никогда не были бедны, и я охотно соглашался, что не следовало возлагать больших надежд на доходы, приходившие мне из Беарна. Итак, мои дела подле нее шли все лучше и лучше; я уже начал строить планы на будущую жизнь, когда мы поженимся, как вдруг увидел, как воздвигается жестокая война против меня. Она исходила не от моих соперников, хотя их было у меня значительное число, и даже особ знатнейшего происхождения и достаточно больших достоинств, чтобы вполне резонно нагнать на меня страху. Самым опасным из этих соперников был Граф де…, кто, как и я, хотел на ней жениться, и кто, кроме того, что был прекрасно сложен, обладал таким рангом при Дворе, что я рядом с ним просто тускнел. Но либо мне улыбалась фортуна, или же Дама прослышала о нем некоторую вещь, выставлявшую его в невыгодном свете, а именно, хотя он и имел видимую большую ценность для Дам, но его способности вовсе ей не отвечали, вот так оказалось, что маленький Гасконец восторжествовал над самыми знаменитыми куртизанами того времени.

Но тогда, как я меньше всего об этом думал, гроза, о которой я говорил, сгустилась над моей головой и не замедлила меня поразить. Близкие Дамы, поняв, что стоит ей выйти замуж, как ее благодеяния для них иссякнут, тут же начали подстраивать мне все те злые шутки, какие они были в состоянии выдумать, и преуспели в этом даже чересчур хорошо. Один говорил ей, что я был ветренником всю мою жизнь и останусь таковым, пока живу, она прекрасно знала, какую ей это принесло печаль во времена ее первого мужа, и ей придется не меньше страдать, если она будет достаточно безумна, чтобы выйти за меня. Второй сказал ей, будто я женился на моей [305] первой любовнице, а третий, что Англичанка запрезирала меня только потому, что во мне было больше внешности, чем толку; якобы мы были в самых хороших отношениях, но едва она меня узнала короче, как сочла за благо от меня отделаться.

Еще одна горничная

Из всех этих обвинений, одинаково ложных, лишь первое произвело на нее какое-то впечатление. Услышав разговоры о тех, кто имеет легкомысленный темперамент, она испугалась, как бы я не вернулся к прежней манере жить тотчас после женитьбы на ней. В результате она начала держать меня в узде, таким образом мне не понадобилось много времени, чтобы заметить перемену в ее отношении ко мне; я спросил ее о причинах, но она не соизволила меня просветить. Так как я не знал, откуда исходил удар, и даже далеко об этом не догадывался, вместо того, чтобы применить необходимые средства, я совершил ошибку, сделавшую зло непоправимым. Я счел кстати с самого начала подкупить ее Демуазель, кто, по общему мнению, имела большую власть над ее душой. Эта девица происходила из довольно хорошего Дома, но ее отец натворил дурных дел, и она еще была очень счастлива в момент свадьбы ее госпожи поступить к ней в качестве камеристки. Это была брюнетка, достаточно пикантная, и так как она сохранила кое-что из того круга, откуда вышла, находились многие, кто, особа за особой, и отставляя в сторону все остальное, любили ее ничуть не меньше, чем ее госпожу.

Эта девица, с тех пор, как поступила к ней, совсем недурно устроила свои дела, хотя она и жила при ней всего три года. Так как она изучила ее характер, то не преминула нащупать ее самую слабую струнку, и наговорила ей больше нежностей, чем самый страстный любовник, и ее любезности простирались так далеко, что, должно быть, заинтересованность имела крайнюю власть над ней, дабы заставлять ее ежедневно делать все то, что она делала. Она более не переносила, чтобы кто-либо оказывал услугу ее госпоже, по меньшей мере, когда бы она [306] была способна оказать ей ее сама. Она покидала ее не чаще, чем тень покидает тело, и так как скаредность вынуждала ее действовать так, без малейшей примеси дружбы, она поначалу принимала деньги, что я ей предлагал за оказание мне услуг подле ее госпожи. Она принимала уже и ее собственные в вознаграждение за ее внимательность, но с теми и с другими она принимала еще и деньги от всякого человеческого существа, потому что все, способное вытащить ее из нужды, в какой она себя видела, имело для нее невообразимое очарование.

Весьма ловкая Демуазель

Если бы мой кошелек был достаточно туго набит, чтобы не иссякнуть так рано, я бы еще долго принадлежал к ее друзьям,

поскольку у нее был добрый аппетит. Но ее скупость вскоре заставила меня увидеть его дно, а вместо обещанных мне ею услуг при ее госпоже, я очень скоро заметил, что у меня еще не было более опасного врага, чем она. Однажды, когда она улеглась вместе с ней, поскольку та обращалась с ней скорее как с сестрой, чем как с камеристкой, она принялась плакать и рыдать, как если бы потеряла всех своих родных. Ее госпожа тотчас спросила, что с ней такое, и эта девица, кто была большей мошенницей и большей интриганкой, чем я сумею сказать, сделала вид, будто все страдания мира не дают ей ответить. Другой потребовалось два или три раза повторить ей тот же вопрос, прежде чем она согласилась ее просветить. Наконец, уверившись в том, что достаточно хорошо сыграла свой персонаж, она ей ответила — близится день, когда та возьмет себе нового мужа, и она не могла подумать об этом, не умирая от горя. Она вновь разрыдалась, или, по крайней мере, сделала такой вид, и эти фальшивые всхлипы уверили ее госпожу, что ее печаль исходила лишь от дружбы к ней, и та настолько была ей благодарна, что нежно ее обняла. Утешая ее, та даже сказала, что я не так уж целиком овладею ее сердцем, чтобы в нем не осталось какого-нибудь места и для нее.

Эта девица, обладавшая таким же разумом, как [307] и злостью, и бывшая еще более злобной, чем приятной, возразила ей, что если она так скорбит, то это гораздо меньше из-за нее самой, чем по поводу ее госпожи; если бы она вышла замуж за кого-нибудь другого, а не за меня, она бы так не расстраивалась, поскольку, по меньшей мере, тогда бы она наверняка увидела бы ее любимой, как та того и заслуживала. Она не сказала ей ничего больше, потому что прекрасно знала — самые длинные речи не всегда содержат самый смертоносный яд.

Неизбежно ее госпожа вскоре спросила, что она хотела этим сказать. Эта девица, кто, дабы лучше сыграть свою роль, притворялась до сих пор, будто принимает мою сторону, сказала ей тогда — если ее положение позволяет ей еще броситься к ее ногам, она это сделает, не теряя времени, с мольбой о прощении за ее ошибку, за то, что поддерживала меня, когда ей говорили, якобы сразу же после свадьбы я ей буду неверен, за ее мысли о том, что выступавшие с этим обвинением против меня хотели меня устранить или причинить мне зло; теперь она изменила мнение; я оказался еще большим негодяем, чем могли бы об этом сказать, и, не откладывая на дальнейшее, она предпочла бы скорее умыть перед ней руки, чем стать причиной непоправимого несчастья лишь из-за того, что не пожелала признать правду.

Говорить таким образом означало говорить без прикрас. Она,

однако, не вложила еще всей дозы отравы, дабы добиться желанного результата; и эта доза состояла в раскрытии перед ней причин такой перемены в ее поведении. Она ей сказала, что я столь мало скрывал степень моего мошенничества, что обратился прямо к ней для начала моих измен; я хотел заставить ее поверить, будто бы только ей принадлежит мое сердце, она же притворно выслушала меня лишь для того, чтобы ее предупредить; и когда та пожелает, она предоставит ей возможность услышать эту правду ее собственными ушами.

Ее слова прозвучали громовым раскатом для этой Дамы. Она меня любила; потому она почувствовала [308] при этом большое горе. Она не подала никакого вида, потому что ей показалось бесславным выказывать такую склонность к столь недостойному человеку. Однако, если бы темнота не скрыла ее лица, эта девица без особого труда раскрыла бы все, что происходило в ее сердце. Она заметила, тем не менее, в какое изумление привели ее эти слова. Дама замерла в совершенной растерянности и после довольно долгой паузы спросила ее о подробностях, какие уже не позволили бы ей сомневаться в том, что она услышала.

Не следует бегать за двумя зайцами разом

Эта девица, обвинившая меня в мошенничестве, дабы лучше прикрыть свое и лучше злоупотреблять доверием госпожи, прикинулась несколько дней назад, будто не может больше помешать себе признать мои достоинства и быть ими сраженной. Я был весьма изумлен, услышав от нее подобные речи; она всегда представлялась мне очень мудрой и была такой на самом деле. Но говорила она со мной в такой манере вовсе не по склонности, но чтобы навсегда сохранить ту же власть над душой ее госпожи. Она намеревалась, заманив меня в сети, столь ловко ею для меня расставленные, заставить ее порвать наши отношения, причем так, чтобы я никогда не смог восстановить их. Она слишком хорошо в этом преуспела — я позволил себе, то ли из любезности, или же из страха, как бы не нажить себе врага, заверить ее, что если она меня любила, то и я ее любил не меньше. Даже вовсе не от меня зависело, что я не доказал ей этого более ощутимыми знаками — светский обычай уверил меня, что я могу дать ей этот знак удовлетворения, никоим образом не нарушая моей обязанности к ее госпоже.

Она была слишком мудра, не позволив мне это, и слишком зла, убедив меня в том, что ее отказ не должен лишать меня всякой надежды лучше преуспеть в другой раз. Мы остановились на этом в тот день, но когда, движимый силой моего темперамента, а немного и гордостью, я заговорил с ней в том [310] же тоне, как только увидел ее в следующий раз, мне очень скоро пришлось в этом раскаяться. Я не мог бы более дурно выбрать для этого время, поскольку она предложила своей госпоже спрятаться за драпировкой, откуда та могла бы меня видеть и слышать без моего ведома. Эта Дама вышла из своего укрытия, и кто был действительно поражен, так это я, когда увидел ее перед своими глазами. Изумление сделало меня столь озадаченным, что я не догадался, какую со мной сыграли шутку; и когда бы меня застали за самым черным делом на свете, я не был бы более смущен. У меня не было сил произнести ни звука; таким образом, Дама осыпала меня тысячью упреков, а я не мог подобрать ни единого слова, чтобы извиниться. Наконец, полагаю, я так бы и остался немым, если бы она не закончила свою речь требованием, чтобы ноги моей больше не было в ее доме.

Если бы я был только влюбленным, может быть, я бы ей подчинился, не осмелившись ответить; но так как речь шла о моем состоянии, а также о покое моего сердца, попытавшись

убедить ее отречься от этого запрета, я взял слово и сказал ей все, что считал способным утихомирить ее гнев. Если бы я сказал правду, может быть, я бы и добился цели; но так как я находил недостойным честного человека похваляться заигрываниями ее камеристки, то промолчал об этом обстоятельстве, единственно способном оправдать меня в ее душе, и, возможно, раскрывшем бы ей всю злобу, какой она и вообразить себе не могла.

Дама вышла из комнаты, не пожелав меня больше слушать, и так как все мое утешение могло зависеть теперь от ее Демуазели, хотя я и обвинял ее про себя, как причину моего несчастья (но не в том смысле, в каком она действительно ею была), я заклинал ее воспользоваться влиянием, какое она имела на душу своей госпожи, чтобы восстановить меня в ее добрых милостях. Она мне ответила, что ничего не сможет добиться после происшедшего; даже ей самой [311] потребуется посредник, дабы примирить ее с ней, поскольку она не припомнит, чтобы когда-нибудь видела ее в таком сильном гневе. Наконец, все, что я смог вытянуть из нее, так это согласие действовать в мою пользу, смотря по расположению, в каком она найдет свою госпожу.

Я ничем не мог ей возразить, потому что находил ее правой, и даже верил, что Дама, должно быть, так же разгневана на нее, как и на меня. Легко угадать после всего, сказанного мной, что я тут же был принесен в жертву этой мошенницей. Она мне сказала несколько дней спустя, что у меня нет больше никакой надежды на возвращение милости ее госпожи, и, вместо желания мне простить, она не желает даже слышать, чтобы произносили мое имя. Я без труда в это поверил, потому что, когда я случайно встречался с ней в двух или трех домах, куда захаживал, она делала вид, будто мы едва знакомы. И больше она даже ногой не ступала туда из страха встретить меня там в другой раз; таким образом, видя, как я жестоко отставлен, я впал в такую меланхолию, что меня прихватила изнурительная лихорадка, странно меня обезобразившая. Я поверил, что должен показаться ей в этом состоянии, чтобы вызвать ее сострадание. Но произошло как раз обратное; Дама, не видя больше во мне ничего приятного, просто не смотрела на меня или, по меньшей мере, если она это и делала, то только для того, чтобы выразить мне еще большее презрение. Я почувствовал такую досаду, какую не сумею выразить, и хотя мне стоило большого труда успокоиться, что вот так я упустил мое состояние, я решил не сносить больше презрения этой Дамы, поскольку все равно ни к чему бы хорошему меня это не привело. Это много, когда можешь однажды преодолеть самого себя. Вскоре добиваешься и всего остального, что со мной, к счастью, и случилось. Я нашел, что

должен презирать всех, кто презирает меня, и найдется достаточно женщин, чтобы утешить меня после этой. [312]

Везет в игре, не везет в любви

Вот так я и излечился мало-помалу, и игра, какой я предавался и где продолжал находить поддержку, учитывая редкость заемных писем, приходивших мне из Беарна, немало способствовала моему выздоровлению. Я выиграл в триктрак за один сеанс у Маркиза де Горда, старшего сына Месье де Горда, Капитана Телохранителей, девятьсот пистолей. Он мне заплатил три сотни наличными, все, что имел при себе, и так как были весьма точны в те времена среди достойных людей в оплате того, что проигрывали на слово, остальные шесть сотен мне были отправлены на следующее же утро.

Я прекрасно распорядился этими деньгами и в то же время завел множество друзей. Я много одолжил моим товарищам, у кого денег совсем не было, и Бемо, по-прежнему остававшийся в Гвардейцах, и живший не особенно зажиточно, прослышав о моей удаче, упросил меня обойтись и с ним, как с другими. Я охотно это сделал, хотя вовсе на него не полагался, и наши манеры жить, его и моя, были совершенно различны. Его доход был скуден, и часто видели, как он не умел отыскать единого су, чтобы сходить пообедать. Теперь, когда я об этом думаю и вижу его таким богатым, я не могу достаточно надивиться на капризы судьбы, или, скорее, божественного Провидения, получающего удовольствие, унижая одних и возвышая других, как только ему заблагорассудится. Так как, наконец, пока этот наживал себе огромное состояние, Граф де ла Сюз, большей частью земель которого тот владеет, впал в такую немыслимую бедность, что чуть было не вынужден был идти умирать в богадельню. Один, тем не менее, все равно истратит за день больше, чем другой за целый год; и когда даже я скажу в три раза больше, меня не смогут обвинить во лжи.

Обманутый обманщик

Промотав таким образом часть моих денег, я воспользовался другой, чтобы попытаться продвинуться по службе. Я не забывал также ухаживать за Дамами, и так как не мог совершенно выбросить из головы ту, о ком столько наговорил, то вновь [313] свиделся с ее камеристкой и спросил, не вспоминала ли та обо мне. Ее ответ не был для меня более обнадеживающим, чем предыдущий. Я легко утешился, и, желая все-таки разделить

постель с Демуазель, дабы возместить нанесенные мне ею убытки, был совсем поражен, увидев ее абсолютно другой, чем видел ее до сих пор. Она ответила мне, что я слишком поздно спохватился, стараясь ее завоевать, и после того, как я ей пренебрегал, мне не на что надеяться от нее. Я подумал, что она говорила так, лишь вынуждая меня проявить больше настойчивости, а так как в том возрасте, в каком я был, всегда влюбляешься в хорошенькую девицу, я без труда засвидетельствовал ей, что без ума от нее, только бы она пожелала меня послушать. Но поскольку она никогда меня не любила, как бы ни притворялась, была столь безразлична ко всем доказательствам, какие я мог ей предъявить, что мне уже вовсе нетрудно было признать, что с ней я оказался действительно без ума.

ЧАСТЬ 8
Войны, интриги, месть

Так промелькнули конец 1644 года и начало года 1645; я готовился к Кампании под командованием Герцога д'Орлеана. Двор снова отправлял его во Фландрию. Кардинал Мазарини, кто был очень рад остаться один во главе всех дел, отправлял его туда еще и в этом году под предлогом оказания ему особой чести. Он хотел позабавить его этим суетным назначением, и Аббат де ла Ривъер, пользовавшийся большим влиянием подле Принца, приложил к этому руку, в благодарность за Бенефиции, какие он время от времени получал от Кардинала, а также и за добрые пенсионы. Его Преосвященству очень бы хотелось [315] поразвлечь таким же образом и Месье Принца де Конде, но так как он обладал иным рассудком, чем Герцог д'Орлеан, он был не тем человеком, чтобы поддаться на столь грубый обман. Он хотел принимать участие во всем, что делал тот, и преуспевал в этом до конца своих дней.

Мудрость Принца де Конде и слава его сына Герцога д'Ангиена

И в самом деле, хотя Кардинал, в качестве первого Министра, казалось, один управлял делами, он не осмеливался предпринимать ничего важного, пока не договаривался предварительно с ним. Тем временем Герцог д'Ангиен по-прежнему был во главе армии, и так как успех, одержанный им в Баталии при Рокруа, был поддержан множеством других, еще увеличивших его репутацию, оказалось, что отец, человек значительный сам по себе, был менее известен этим, чем собственным сыном. Этот молодой Принц, получив лавры во Фландрии, собрал целый их урожай в Германии, где одержал грандиозную победу под Фрейбургом. Она для него была тем более славна, что долго оспаривалась, а он там исполнил долг солдата так же хорошо, как и долг Капитана.

Эта великая слава вовсе не понравилась Кардиналу, потому что отец из-за нее был более дерзок в требованиях, а он сам более застенчив в отказах. Он видел, как каждый увивался вокруг этого молодого Герцога, и, казалось, все остальные были более ничем рядом с ним. Его Преосвященство, у кого было бесконечное число хитростей в запасе, но тех хитростей, что скорее присущи частному лицу, чем великому Министру, видя Принца де Конде слишком мудрым, для того, чтобы совершить опрометчивый шаг, давший бы ему власть над ним, подкупил особу знатнейшего происхождения, дабы заставить сына сделать то, чего он не надеялся дождаться от отца.

Эта особа снискала доверие молодого Герцога определенной схожестью настроений, какая существовала между ними. У них обоих было много разума и еще множество других качеств, довольно близких, что их и объединяло. Было достаточно трудно [316] опасаться человека, вроде этого, особенно, когда у него хватало ума устраивать события издалека, и как бы вовсе о них не думая. Кардинал рассчитал, что можно нанести удар по славе отца и сына, лишь посеяв рознь между ними и Герцогом д'Орлеаном, и он трудился над этим в согласии с Аббатом де ла Ривьером. Принц де Конде, бывший большим политиком, вскоре разгадал их намерение. Он предупредил сына и порекомендовал ему поостеречься. Тем временем он постарался подкупить Аббата де ла Ривьера, дав ему знать, что он не окажется в меньших прибылях с ними, чем с Кардиналом, и мало-помалу вытягивал его из обязательств по отношению к тому. Это ввело в

замешательство Его Преосвященство, и, тогда как он почти уже ни на что не надеялся с этой стороны, случилось нечто, что было бы способно вновь распалить его надежды, если бы Принц де Конде не поправил все своей мудростью.

Вспышка Герцога д'Ангиена

Месье де… находился в прекрасных отношениях с Кардиналом; именно им тот и воспользовался, дабы заставить Герцога д'Ангиена совершить какой-либо ложный шаг. Он внушил молодому Принцу неуважение к персоне Герцога д'Орлеана и надеялся, что его советы произведут свое действие в определенное время и в нужном месте. Герцог не заметил ловушки, и тот же Месье де… сказал ему, что в этот день намечается оргия во Дворце Орлеанов; он его туда пригласил и пообещал прибыть туда сам. Он там действительно был. Однако, так как там собралось больше друзей Кардинала, чем его собственных, едва только он прибыл в этот Дворец, как был отдан приказ не впускать больше никого под предлогом, что они были в достаточно доброй компании, чтобы не испытывать нужды в пополнении.

Герцог д'Орлеан и не подумал о Герцоге д'Ангиене, или, если он о нем и подумал, то счел, что его знатность ставила его превыше этого запрета; его Гвардейцы сделают исключение по его поводу. Однако, либо один Офицер был куплен, либо он хотел [317] показать себя пунктуальным в уважении к отданным приказам, но как только Герцог вошел в зал, он предупредил его о полученном им распоряжении. Герцог ответил, насмехаясь над ним, что этот приказ касался других. Офицер возразил ему, что он относился ко всем на свете без разбора. Он хотел преградить ему проход в апартаменты, где находился его мэтр, и Герцог пришел в такое негодование, что вырвал из рук его жезл, сломал его перед ним и швырнул обломки ему в лицо.

Весь зал присутствовал при оскорблении, полученном этим Офицером, кто ничего не сделал, кроме исполнения своего долга. Тотчас послышался всеобщий ропот и, может быть, он вылился бы в какое-нибудь возмущение, если бы Граф де Сент-Аньан, бывший тогда Капитаном Гвардейцев Герцога д'Орлеана, не вышел из комнаты своего Мэтра посмотреть, что происходит. Так как он был большим куртизаном, а если и любил драться, то только не против Герцога д'Ангиена, он немедленно обвинил во всем Офицера. Этот удалился, увидев, как тот, кому надлежало его поддержать, первый же его и приговорил.

Герцог д'Орлеан не разделил мнения своего Капитана Гвардейцев, и стоило великих трудов убедить его, что это оскорбление не адресовалось ему. Месье Принц де Конде заручился посредничеством близких к нему, дабы заставить его забыть, что сделал его сын. Он не простил, тем не менее, Графу

де Сент-Аньану, и так как тот быстро это заметил, он продал свою должность и купил у Короля место Первого Камер-Юнкера. И хорошо сделал, как доказали последствия, поскольку если бы он по-прежнему остался у Герцога, он никогда бы не сделался Герцогом и Пэром, кем стал позднее.

Кардинал скрытно сделал все, что мог, воздвигая преграды к этому примирению. Но Герцог д'Орлеан имел ту личную, черточку, что ненавидел Министров, и едва он увидел, как тот в это вмешивается, как тут же уничтожил все затруднения, какие [318] выставлял против этого прежде. Любители раздоров были рассержены его снисходительностью. Некоторые осуждали Графа де Сент-Аньана за слабость, тогда как те, у кого было больше здравого смысла и меньше страсти, находили, что он счастливо вывернулся из столь деликатной ситуации, в какую вовлек его случай.

Снова дорога на Фландрию

Между тем, мы входили в новую кампанию, и я попросил о зачислении в отряд Мушкетеров, что Король отправлял во Фландрию. Что касается Герцога д'Ангиена, то он возвратился в Германию, где Виконт де Тюрен позволил застать себя врасплох при Мариендале. Генерал Мерси сыграл с ним там одну из своих шуток, и, проведя кампанию вплоть до наступления зимы, сделал вид, будто уходит на дальние зимние квартиры, дабы тем проще его застигнуть. Виконт де Тюрен чистосердечно поверил ему. Он в свою очередь направил войска занимать зимние квартиры; Мерси вернулся обратно и без труда разбил его. По причине такого разгрома мы не осмеливались больше и носа показывать в эту страну, и там потребовался генерал с репутацией Герцога д'Ангиена, чтобы успокоить все еще перепуганные войска.

Мерси, зная, что ему предстоит иметь дело с тем, для чьей храбрости не было ничего невозможного, и зная, что он не мог преградить ему проход к Рейну, каким тот овладел взятием в предыдущем году крепости Филиппсбург, постарался остановить его на Неккаре. Он выставил там гарнизон и приказал тем, кого бросил в эти места, стоять насмерть.

Комендант Вимпфена, атакованный первым, плохо запомнил этот приказ. Не стоило большого труда его взять, и когда армия подошла под Ротенбург, тот, кто там командовал, больше позаботился о подчинении приказам Мерси. Он выдерживал осаду в надежде, что обстоятельства как-нибудь переменятся, а он всегда найдет время отступить живым и здоровым вместе со своим гарнизоном. Он полагал, что ему нетрудно будет поджечь Мост, имевшийся в его [319] распоряжении на этой реке. Но, атакованный ночью, когда люди Герцога сами зажгли город, прежде чем он успел подумать об отходе, он был столь изумлен, что, так и не исполнив свой план, оказался погребенным под пламенем.

Герцог, сделавшись таким образом мэтром этих двух проходов, не пожелал останавливаться перед Хайльбронном, куда враги бросили их главные силы. Так как они думали, что это место было таким постом, какой Герцог никогда не захочет оставить позади себя, они укрепили его заново, хотя он и был уже укреплен заранее. Они рассчитывали, что ему было бы опасно оставить мощный гарнизон в тылу; итак, пока он будет занят его осадой, они примут все меры, какие подсказывало им благоразумие, чтобы выпутаться из опасности.

Но Герцог, знавший, что они лишь пытались его отвлечь,

форсировав реку, вместо остановки перед этим местом преследовал их столь настойчиво, что они не смогли добраться до Нортлингена, куда предполагали удалиться. Каждый удивлялся, увидев, как они пятились назад после победы, одержанной ими при Мариендале, и настолько напугавшей наших Союзников, что они были готовы нас покинуть.

Они успокоились, увидев нас, к своему изумлению, торжествующими над другими, и когда Ландграф Гессенский, лично командовавший войсками Ландграфа, его сына, явился на соединение с Герцогом вместе со своей армией, было решено атаковать Мерси, разбившего свой Лагерь на двух горах, подступы к которым он считал неприступными. Он защищался там очень хорошо, и долго победа не склонялась ни на чью сторону. Два первых натиска были даже настолько удачны для него, что Герцог счел бы все потерянным, если он был бы способен пугаться.

В самом деле, он видел, как был разгромлен перед ним Маршал де Граммон, командовавший его левым крылом, и даже попавший в плен; но, вовремя придя туда на подмогу, он так быстро поправил [320] ситуацию с этой стороны, что враги, поверившие уже, будто все завоевали, увидели себя отброшенными тогда, когда они думали лишь о развитии их успеха. Они находили Герцога повсюду, куда только ни направляли свои стопы, и они поневоле говорили, дабы воздать должное его достоинствам — должно быть, существует столько же Герцогов д'Ангиенов, сколько есть у него солдат. Их разгром последовал вскоре за их первой неудачей. Они не могли больше соединиться, и Мерси, кто после похвальбы победой не мог решиться пережить свое бесчестье, желая перейти с одного крыла на другое, дабы пресечь начинавший царить там беспорядок, был убит, осуществляя все, чего можно было ожидать от великого Генерала. Его смерть вызвала все то, что обычно следует за несчастьем, вроде этого, тем более, что Генерал Глеен, кто мог бы командовать вместо него, уже был пленником. Через несколько дней он был обменян на Маршала де Граммона, кого никак не могли отбить, хотя крыло, каким он командовал, сделало для этого все возможное.

Зависть среди Вельмож

Мы узнали об этом успехе в нашей армии; это сделало Герцога д'Ангиена столь популярным, что если бы мы жили в языческие времена, ему бы воздвигли жертвенники, как делали когда-то для тех, кто возвышался над обычными людьми.

Я не знаю, был ли Герцог д'Орлеан так же доволен этим, как другие; но, наконец, я заметил, — когда один Офицер преувеличивал перед ним произошедшее в той стороне, этот Принц спросил его с огорченным видом, присутствовал ли там он сам, чтобы говорить об этом так утвердительно. Офицер ответил ему с большим почтением, что письма, полученные им, соответствуют его рассказу, но, должно быть, его корреспондент ошибся, поскольку Его Королевское Высочество находит этому возражение.

Так мы узнали, что зависть была таким же обычным делом у Вельмож, как и у остальных смертных, и никто не осмеливался больше говорить перед ним; мы приберегали наши восторги действиями [321] молодого Принца на время, когда находились вне его присутствия.

Герцог д'Орлеан, тем не менее, приобрел над врагами некоторые преимущества, что могло подать ему надежду, если и не на хвалы, возносимые молодому Принцу, то, по крайней мере, на то, что и о нем тоже заговорят с достаточным славословием, и если он и не одержал, как тот, большой победы, он, во всяком случае, имел удовольствие еще раз увидеть, как Пиколомини согнулся перед ним. Этот Генерал вознамерился остановить его у прохода к реке Кольм и дал здесь достаточно горячую схватку, где не одержал верха. Он должен был отступать так, что едва ноги унес, и после этого маленького разгрома и взятия Мардика мы атаковали Бурбур.

Я участвовал в этой осаде с первых дней; однажды я был столь возбужден преследованием врагов, сделавших вылазку на траншею, что чуть было не вошел вперемешку с ними в крепость. Пятеро других из моих товарищей, находившихся со мной в траншее, сопровождали меня в этом предприятии, и мы оказались одинаково растерянными, что один, что другой, когда понадобилось отступать. Враги проскользнули у нас, так сказать, сквозь пальцы, и четверо из нас упали замертво при первом залпе; тот, кто остался со мной, сказал мне, что самые короткие безумства — наилучшие, и так как ничего нет хуже смерти, он предпочитает сдаться, чем пытаться спастись бегством. Он обернулся к городу, выпрашивая пощады у тех, кого видел

снаружи, но либо они в него уже прицелились и его не расслышали, или же они не заботились о предоставлении ему помилования, они по нему пальнули и отправили его составить компанию другим убитым.

Что до меня, то три пули пробили мои одежды, одна попала в шляпу, не оставив ни малейшей царапины на теле. Это научило меня тому, что когда Бог охраняет кого-то, тот надежно охранен, и стоит лишь поручить ему себя с утра, чтобы ничего уже не бояться за весь оставшийся день. [322]

По мне сделали еще несколько выстрелов, но поскольку стреляли издалека, это было только напрасной тратой пороха и свинца. Я вернулся в траншею головой вперед, и когда встретил там Месье дез Эссара, видевшего, как я из нее вылезал, он спросил меня, что стало с моими товарищами. Я поведал ему об их участи, и как последний погубил себя, желая спастись. Он мне ответил, что если бы знал об этом заранее, то попросил бы меня его обыскать прежде, чем возвращаться, так как при нем должны были находиться знаки внимания одной Дамы весьма знатного происхождения. Он предложил в то же время десять золотых пистолей солдату из его Роты за то, чтобы сходить взять из его карманов все, что там окажется. Он сказал ему, что еще было время, а так как врагов было видно из передней части траншеи, ни один из них не отважится выйти.

Нескромный мертвец

Солдат согласился, и пока он туда, добирался, по нему было сделано более пяти сотен мушкетных выстрелов, и ни один его не задел. Он сделал все, что хотел от него Месье дез Эссар, и, стянув с мертвеца штаны, не забавляясь их обыскиванием из страха потерять на этом слишком много времени, он принес их в траншею после того, как освободил их от всего, что счел для себя полезным. Дез Эссар не пожелал, чтобы кто-либо другой, кроме него, ознакомился с их содержимым, и когда он с большой заботой изучал найденные письма, мы заметили по его лицу, что одно из них было для него более важно, чем другие. Мы увидели, как он тут же побледнел, не пожелав назвать нам причину. Во всяком случае, не было бы непочтительностью его об этом спросить, хотя, может быть, нам и не следовало проявлять излишнее любопытство.

Я подумал, так как опасался всех Дам, что он нашел письмо от своей любовницы и узнал из него, что она ему изменила. Я сказал это на ухо одному Офицеру, стоявшему рядом со мной и заметившему, как и я, что это чтение было ему небезразлично. Тот кивнул мне в ответ головой, соглашаясь с тем, что я [324] сказал. Однако мы оба ошибались, дело касалось его гораздо ближе, чем мы об этом подумали. Если бы это была всего лишь любовница, он бы расквитался, найдя себе другую, более верную, но речь шла об одной из его ближайших родственниц, чье поведение было для него почти так же важно, как если бы она была его женой. Я раскрыл все дело, вовсе не думая об этом, через два дня после того, как вернулся в Париж.

Портрет Дамы

Эта Дама, кого я знал весьма поверхностно, передала мне просьбу зайти ее повидать; я счел, что не должен от этого отказываться, поскольку она того стоила. Она мне сказала, что узнала, будто я находился вместе с покойным, когда он был убит, и попросила меня поведать ей все обстоятельства его смерти. Я ей ответил, что действительно был свидетелем этого дела, и она не могла выбрать лучше, как обратиться именно ко мне. Я рассказал ей все, о чем уже говорил, и увидел, как она покраснела, когда я дошел до истории с солдатом. Она меня даже спросила, не смог бы я к ней его привести, и когда я ответил, что приложу все усилия, она на момент замечталась, как особа, мысленно взвешивавшая какое-то дело. Наконец, после минутного молчания, она вновь заговорила и сказала мне, что благодарит меня за мою добрую волю и за то рвение, с каким я предложил себя к ее услугам; но по зрелому размышлению она предпочла бы скорее довериться мне, чем прибегать к тому, о чем попросила меня сначала. Она мне откровенно призналась, что далеко не презирала покойного, чем вызваны ее неприятности с дез Эссаром; этот солдат наверняка отдал ему одно из ее писем; но, не зная, что он сделал с ее портретом, какой мертвец имел при себе, когда был убит, она меня умоляла о нем осведомиться; она будет моей должницей, если мне удастся забрать у него портрет, ничего не пожалев ради этой цели. С таким намерением она попросила меня поначалу привести к ней солдата, но, хорошенько поразмыслив, рассудила, что это было бы совсем некстати. [325]

Я пообещал ей сделать то, о чем она мне говорила, и, найдя Даму совершенно по моему вкусу, я не только употребил на это все мои силы, но и решил еще, если смогу, занять в ее добрых милостях место покойного.

Я отыскал солдата, и так как мы были товарищами и находились в самых простых отношениях, откровенно спросил его, не расстался ли он с портретом, что нашел на Мушкетере, кого он ходил обыскивать перед Бурбуром, Я увидел, как он покраснел, и, рассудив, что он испугался, как бы я не донес на него Капитану за то, что он отдал лишь часть найденного на покойном, я сказал ему успокоиться, в мои намерения вовсе не входило ему вредить; он и так уже подвергся достаточной опасности и заслуживал большего вознаграждения, чем получил; итак, я далеко не хотел лишать его того, что он взял, наоборот, я первый же это скрою.

Я успокоил его этими словами, и он признался мне без обиняков, что знает, о чем я хотел поговорить; он мне искренне сказал, что был готов отдать мне эту картину тут же, но если я попрошу у него коробочку, где она была закрыта, он не сможет меня удовлетворить, поскольку он ее продал вместе с бриллиантами, что находились сверху, а полученные за нее деньги проел. Я поверил ему от чистого сердца, не обязывая его приносить мне никаких клятв. Я знал, каким добрым аппетитом он обладал для этого. Однако, подумав, что именно картину хотела получить Дама скорее, чем все остальное, я попросил его мне ее отдать. Он так и сделал, и, даже не проявив любопытства на нее взглянуть, настолько я спешил отнести ее этой Даме, я оставил ее завернутой в бумагу, совсем так, как он мне ее и отдал. Дама, едва увидев меня, спросила, что мне удалось сделать. Я ей ответил, что она, по меньшей мере, может получить часть того, о чем меня просила; солдат не в состоянии был вернуть мне коробочку, поскольку он ею уже распорядился, но зато я принес ей картину. [326]

Она мне ответила, что этого вполне довольно, и, развернув бумагу, была совершенно поражена, найдя вместо своего портрета изображение соперницы, к которой крайне ревновала. Покойный никогда не желал открыть ей правду; но теперь не оставалось больше никаких сомнений, и она мне сказала с естественным видом, показывавшим, что она думала так же, как и говорила, — а! Какие мужчины мошенники, и какие женщины сумасшедшие, что полагаются на них.

Я спросил, что она хотела этим сказать, и если уж она знала одного неверного, должна ли она подозревать, что и все другие на него похожи. Она мне ответила — поскольку тот, о ком она говорила, был таким, то и все другие прекрасно могли быть такими же; она не хотела никого, кроме меня, в свидетели того, чего она стоила, и без всякого хвастовства верила, что если ее покинули ради другой, распрекрасно может приключиться то же самое и с той, кто была причиной того, что ей изменили.

Она мне объяснила в то же время эту загадку, где бы я ничего не понял без нее, и, показав мне картину, спросила, знал ли я ту, кто на ней представлен. Я не находил этот портрет и наполовину столь же красивым, как тот, что я бы написал с нее, и, не зная, кого он там мог представлять, я ей высказал и то, и другое разом. Она. нашла меня весьма угодливым в том, что я отдал ей преимущество перед женщиной на портрете, и сказала, что хотела бы мне назвать ее имя, потому что, когда я его узнаю, я, может быть, отдам предпочтение ей, поскольку это была Мадам…, жена одного из самых богатых сторонников, какие только есть во всем Париже. Я возразил ей, что это качество, быть может, и смогло бы заставить меня склониться на ее сторону, если бы я позволил заинтересованности управлять мной; но так как я всегда придаю большее значение достоинству, чем богатству, я продолжаю повторять ей, что предпочту кончик ее мизинца всему телу другой. Она мне ответила, что не верит больше подобным словам [327] после измены, какую ей довелось претерпеть; но, отставив всю галантность в сторону, она мне будет обязана, если я вновь свижусь с солдатом, дабы узнать у него, когда он нашел этот портрет на покойном, не обнаружил ли он еще и другого.

Я все сделал так, как она пожелала, и солдат мне сказал, что действительно у него есть еще один, но он не поверил в первый раз, будто бы именно этот я хотел у него попросить, поскольку он находился в такой обычной коробочке, что легко было заметить, — тот, у кого он его взял, не придавал ему такого же значения; он мне отдал его в той же коробочке, в какой и нашел; она, и в самом деле, была весьма обычная и не должна была стоить более двадцати су. Однако, не желая допускать той же ошибки, как в предыдущий раз, то есть, нести его Даме, не осмотрев предварительно, я открыл коробочку и увидел тот самый портрет, какой она у меня и просила. Я его ей отнес и заметил, отдав его, что она была очень довольна моей находкой. Я воспользовался этим случаем и высказал ей все, что начинал чувствовать к ней, но обратив все в галантность, хотя легко было заметить, как серьезно я говорил; она мне ответила, — так как совсем недавно ее обманули, она меня считала исполненным такой прямотой, что если бы она попросила у меня совета, она ничуть не сомневалась — я сам ей скажу — никогда не полагаться на слова.

Все, что я мог ей сказать, убеждая ее в том, что я говорил правду, ничему не послужило. Итак, мне было бесполезно

умолять ее оставить мне этот портрет, несмотря на мои заверения придавать ему столько значения, что она будет вынуждена вскоре убедиться в моей верности. Я действительно сделался столь влюбленным в нее, что мне стало невозможно это скрывать. Я делал, однако, все, от меня зависящее, и особенно по поводу дез Эссара, чья ревность была мне слишком хорошо известна, чтобы я мог в этом ему довериться. [328]

Новая любовь

Мое поведение необычайно понравилось этой Даме и гораздо больше послужило в мою пользу, чем все страстные слова, какие бы я только смог ей наговорить. Она позволила мне довольно часто видеть ее, и так как я делался все более влюбленным день ото дня, она сочла своим долгом воздать мне по справедливости из страха, как бы от чрезмерно строгого обращения со мной я не стал бы нескромен, уверив себя в собственном несчастье. Она потребовала от меня секрета, равного верности, сказав мне, что по соблюдению его она рассудит и о ней, поскольку, кто не был скромен, никогда не может быть верным.

Такая удача заставила меня полностью забыть утрату добрых милостей Дамы, упомянутой мной прежде. У меня всегда оставалось печальное воспоминание о ней до тех пор, и оно начало стираться лишь с того дня, когда я уверился, что эта была расположена обойтись со мной по справедливости. Конечно, это завоевание не могло равняться с другим в том, что касалось моего устройства. Дама была замужем, и когда бы даже не это, я был не тем человеком, чтобы жениться на женщине, признавшейся мне в другой любви. Но, наконец, так как мысль о моем состоянии не занимала полностью всех моих желаний, я достаточно удовлетворился произошедшим со мной и отстранил от себя все, способное огорчить меня по иным поводам.

Как бы там ни было, наша связь оставалась секретной в течение некоторого времени, и, видимо, о ней так бы никогда и не узнали, если бы мы могли обойтись без других для ее поддержания. Но любовники имеют ту досадную особенность, что оказываются в необходимости положиться на кого-нибудь; так мы вручили наши дела в руки одной Демуазели, она-то нас и обманула. Я остерегался ее с тех пор, как Дама предложила ее мне в качестве нашей поверенной. Я нашел ее и кокетливой, и заинтересованной, что совершенно противоречило обычным требованиям по отношению к той особе, какую мы подыскивали. Но Дама сказала мне, что [329] знает ее лучше, чем я, и у нее было время испытать ее скромность на протяжении десяти лет ее службы при ней; я оказался принужденным поверить ей вопреки моим впечатлениям.

Однако, не по причине ее кокетства та изменила ей в верности, но потому, что жена сторонника, видевшая в том свою славу и даже поклявшаяся похищать у нее всех ее любовников, нашла средство подкупить Демуазель. Две эти Дамы взревновали одна к другой в монастыре, где они обе оказались перед замужеством, и так как они придерживались доброго мнения о самих себе, то частенько ссорились по различным поводам. Маркиз де Вилар-Ороондат влюбился в новоиспеченную жену сторонника, другая была не прочь его у нее отбить; либо ей такое завоевание показалось достойным ее, либо она сделала это, лишь бы взбесить соперницу. Та действительно подумала, будто умрет от горя; но так как время утешает в любых печалях, та в конце концов забыла об этом уроне. Она даже тем лучше утешилась, что Вилар, порхавший с красотки на красотку, как шмель с цветка на цветок, покинул ее соперницу ради особы знатнейшего происхождения. Затем Мушкетер занял место Вилара, и жена сторонника, разузнав об этом, совратила его, благодаря своим деньгам. Итак, уверенная в том, будто и со мной она сделает то же, что ей удалось сделать с ним, она написала мне письмо, и его стиль я нашел столь забавным, что я не думаю забыть его, пока буду жив. Впрочем, так как убежден, что он покажется таким же всем людям хорошего вкуса, я хочу привести здесь все это письмо целиком, дабы мне сказали, прав я или же нет. Вот что оно содержало:

> «Я достаточно хорошо сложена и верю — когда на меня смотрят, легко могут влюбиться в меня, без особой необходимости для меня заключать соглашение, чтобы в этом преуспеть. Но если даже я буду слишком самонадеянной в этом мнении, я сообщаю_ вам, что у моего мужа имеется весьма хорошо набитый денежный сундук, куда я запускаю [330] руку, когда мне заблагорассудится. У меня есть и ключ от него, чтобы копаться в нем во всякий час, и это первый подарок, какой я делаю тем, кого нахожу достойными моего уважения. Поскольку вы из их числа, или, скорее, вы единственный, отыскавший секрет показаться мне милым, посмотрите же, к какой удаче вы призваны, если только вы не проявите себя недостойным ее, из неуместного великодушия по поводу глупого постоянства. Я знаю, вы любите Мадемуазель де…, но,

наконец, какой бы привлекательной она ни была, она не сумеет быть таковой по сравнению с моим денежным сундуком. Впрочем, если вы возьмете на себя труд явиться завтра в девять часов к Благодарению, хорошенько рассмотрите Даму с маленькой черно-белой собачкой на руках, и вы, может быть, согласитесь — если я предложила любить вас без всякой двойной игры, вы еще будете иметь повод поздравить себя с доброй удачей».

Я был весьма удивлен, когда получил это письмо, и так как не знал почерка моей Дамы, поверил, сказать по правде, что это она отправила мне его от имени другой, поскольку была очень ревнивого темперамента и казалась мне единственной особой в мире, наиболее способной сыграть со мной такую шутку. Эта мысль заставила меня все ей открыть, хотя это и казалось мне достойным порицания, и я знал, если об этом проведают среди честных людей, конечно же, меня осудят, предположив, во всяком случае, что это письмо исходило не от моей любовницы.

Дама была в восторге от этого нового знака моей привязанности, и, отправившись на свидание вместо меня, она оскорбила другую в такой манере, что та не могла больше сомневаться в своем проигрыше. Не то, чтобы она ей что-либо сказала; они не разговаривали, а если бы они это и сделали, с теми чувствами, какие они испытывали одна к другой, я убежден, беседа была бы пикантна; но она неотрывно разглядывала соперницу глазами, полными презрения, и ее глаза сказали той столько же, сколько мог это сделать язык. К тому же, так как я не показался [331] на этом свидании, и жена сторонника знала, что письмо мне было передано в собственные руки, дело было настолько ясно само по себе, что она не могла поставить его под сомнение. Ее досада была необычайна, и ее негодование было неменьшим, потому легко рассудить, что мессу она прослушала крайне дурно; вообще, она лучше бы сделала, если бы сюда вовсе не приходила. В довершение, она оказалась у кропильницы вместе с моей новой любовницей, и эта сказала ей насмешливым тоном, дабы лучше доказать той, что она была в курсе всего, — если та привела с собой свою собачонку, чтобы подыскать ей маленького муженька, то она только напрасно потрудилась; муженек, кого она ей предназначала, не нашел ее достаточно красивой даже для того, чтобы просто принять ее во внимание. Бедная женщина растерялась от таких слов, хотя обычно ее язык был довольно хорошо подвешен. Но так как они находились в месте, требовавшем благоговения, и они не могли занестись

дальше, не навредив самим себе, дело на этом и замерло. Каждая поднялась в свою карету с движениями столь различными, что невозможно было бы описать эту сцену. Оскорбленная вращала в своей голове исключительно мысли о мщении, тогда как другая аплодировала себе за то, что нанесла ей столь грандиозное унижение.

Я навестил ее в тот же день, и когда она рассказала мне о том, что сделала, я ее за это сильно укорял. Я сказал ей, что она совсем не подумала о последствиях; она должна была удовлетвориться тем, что я уклонился от свидания, а желая сделать свою победу более сокрушительной, она подвергла ее такому же риску, как на войне, где, захотев сделать слишком много, частенько разрушают то, что уже было сделано.

Месть оскорбленной

Дама не была светской особой самого большого рассудка. Она обладала гораздо большей красотой, чем разумом; потому мои предостережения не произвели на нее никакого эффекта; кроме того, они явились немного поздно, чтобы она могла ими [332] воспользоваться. Я оказался, к несчастью, слишком прозорливым пророком в том, что ей сказал. Ее противница после такой обиды решила отомстить, и хотя от той манеры, в какой она задумала за это взяться, она сама должна была претерпеть кое-какие последствия, ее злоба была столь велика, что она вовсе не заботилась о том, что с ней могло случиться.

Муж моей любовницы не отличался ни красотой, ни доброй выправкой, потому она и вышла за него только по воле родителей. Его состояние заменяло ему достоинства. Так как крайне редко такого сорта брки бывают удачными, особенно когда Дама немного склонна к галантности, получилось так, что Мушкетер, о ком я говорил выше, может быть, не был вторым из любовников этой, и, следовательно, Вилар-Ороондат не был первым. Я, может быть, тоже был далеко не третьим. Как бы там ни было, хотя этот муж не имел ни одного из качеств, делающих мужчину желанным для Дамы, жена сторонника, тем не менее, пожелала завязать с ним знакомство, в ущерб своей чести. Она верила, что когда они будут вместе, ей станет гораздо проще им управлять, таким образом ее месть сделается более неотвратимой и против его жены, и против меня, кого она сочла своим долгом возненавидеть так же, как и ее, после шутки, что я с ней сыграл.

Если бы у мужа было побольше сообразительности, он бы легко разгадал, что эта Дама скрывала какое-то тайное намерение под теми любезностями, какие она ему расточала. Так как он не был привычен ни к подобному расточительству, ни к тому, чтобы выслушивали его любезности, все должно было показаться ему подозрительным. Но поскольку, какие бы ни имелись резоны жаловаться на природу, редко кто оценивает себя по справедливости, он сделался настолько слепым по своему собственному поводу, что поверил, будто вполне заслуживает удачи, предлагавшейся ему. Он воспользовался ей, как чем-то должным ему, и Дама, не желая торопить свою месть из страха, как бы ее не упустить, обращалась [333] с ним некоторое время, как с фаворитом, ничего ему не говоря. Она рассчитывала понадежнее привязать его к себе, и тогда уже она воспользуется им наверняка.

Мне не понадобилось много времени, чтобы заметить их

интригу, и я немедленно угадал грозу, собиравшуюся над моей любовницей и надо мной. Я ее предупредил, дабы она не позволила застать себя врасплох, и дабы вовремя принять все меры, что подскажет нам благоразумие. Тем не менее, так как никогда не сумеешь избежать своего несчастья, все, что мы смогли сделать, оказалось на поверку бесполезным. Я чуть было не пал под ударами этой Дамы, и если я от них и ускользнул, то это просто каким-то чудом. Моя любовница не была столь счастлива, и она поплатилась своей свободой.

Новая Кампания

Однако меры, какие Дама пожелала принять, дабы обеспечить успех своей мести, затянули дело на определенное время; началась Кампания, и я проделал ее, как прошел и другую, хотя от меня и не требовалось это делать. В самом деле, всякий год лишь один отряд Мушкетеров отправлялся в армию, и обычно участвовавшие в одной Кампании не ходили на другую; каждый должен был идти туда в свою очередь, и это повторялось ежегодно. Но желание удалиться из Парижа, дабы избежать то, что я предвидел, заставило меня домогаться от Месье де Тревиля позволения пойти туда вместо одного моего заболевшего товарища. Он колебался, предоставить ли мне такое удовлетворение, из страха, как бы каждый не принялся уклоняться от службы в его Роте, когда придет его очередь это сделать. Но Месье дез Эссар, начинавший ревновать к моим ухаживаниям за его родственницей, вступился за меня, безо всякой просьбы с моей стороны, и я еще раз зашагал по дороге к Фландрии, где армия в этом году была даже более значительна, чем обычно.

Герцог д'Ангиен примирился с Герцогом д'Орлеаном и принес ему свои извинения за то, что произошло. Итак, они казались лучшими друзьями на [334] свете, хотя в глубине души затаили зависть, как с одной, так и с другой стороны. Герцог д'Орлеан с сожалением взирал на то обстоятельство, что репутация этого молодого Принца превосходила его собственную, а Герцог д'Ангиен был не слишком доволен, что титул другого возвышал его над ним и обязывал к почтительности, с какой его дух никак не мог свыкнуться. Так как он был естественно высокомерен и расположен верить, что все должно регламентироваться достоинствами, он имел в виду свои, тогда как не всегда отдавал справедливость другим. Те, кто окружали его особу, поддерживали его в этом настроении; настолько, что он стал этим еще более подозрителен Герцогу д'Орлеану, и тот добился от Двора, чтобы молодой Принц служил под его началом, дабы унизить его.

Герцог д'Ангиен действительно был унижен, но, не имея возможности уклониться от участи, какую ему готовили, несмотря на его влияние и влияние его отца, он вместе с другим Принцем пустился по дороге на Фландрию, чтобы служить там, один в качестве Генерала, а другой — Генерал Лейтенанта. Они нашли там, над чем потрудиться; враги отбили Мардик, и так как они прекрасно видели, что мы нацеливались на Дюнкерк, они не

нашли ничего лучшего, дабы помешать нам взять это место, как отбить у нас другое.

Наставник Короля

Кардинал, заботившийся прежде всего о наполнении своего кошелька, но стараясь позабавить Французов, делавший вид, будто имеет самые прекрасные предначертания на свете, додумался, пока готовились великие свершения с этой стороны, предпринять завоевание Орбетелло. Этот Город в Италии был нам совершенно ни к чему. Как бы там ни было, предприятие провалилось, и так как уже начинали проявлять некоторое недовольство им, это дало новый повод желать ему еще большего зла. Его враги заявляли, что он пошел на это только ради личного интереса, и нам нечего делать так далеко, тогда как [336] прямо у наших дверей мы могли бы совершить завоевания гораздо более полезные.

Дабы пресечь эти слухи, вредившие его репутации, и заставить говорить о нем более уважительно, он привел Короля на границу Фландрии. Он похитил этого юного Принца из женских рук, окружавших его до тех пор, и дал ему в Наставники Маркиза де Виллеруа. Такой выбор породил множество завистников при Дворе, потому что этот Маркиз не принадлежал к самой древней знати Франции. Но это был человек, чувствительный к почестям и хотевший делать лишь то, чего желали Министры. Его Преосвященство выбрал его преимущественно перед другими, потому что был более уверен в том, что будет его мэтром. Впрочем, дабы сделать его более достойным столь великой чести, он отправил его незадолго перед тем командовать перед ла Мотом, замком, расположенным в Лотарингии, что некий Комендант поклялся защищать до последнего вздоха.

Этот Комендант заперся там с шайкой бравых людей, но больших грабителей, разорявших всю страну более, чем на двадцать лье в округе. Они уже погубили Итальянца, по имени Магалотти, родственника Кардинала, кого Его Преосвященство направил туда, дабы сделать его достойным жезла Маршала Франции, что он ему готовил, если бы тот смог пережить это завоевание. С тем же намерением он послал туда и Маркиза де Виллеруа, дабы тот не только был более покорен его воле из-за такого благодеяния, но еще, чтобы было поменьше зависти, когда его увидят возведенным в подобное достоинство. Министр знал, что честь, какой его удостоят, призвав к воспитанию особы Его Величества, многим при Дворе развяжет языки, и внук человека, признававшегося в своих мемуарах, что его сын был недостаточно высокого происхождения, чтобы ехать послом в Рим, не покажется

более высокородным, дабы занять пост, вроде этого. Но получилось все совсем иначе, как он и не думал. Поскольку не [337] угодишь на весь свет, враги, каких мог иметь этот новый Маршал, нашли, что он столь же мало достоин одного, как и другого. Позволив им говорить, что вздумается, Кардинал, остановившись в Амьене вместе с Королем, приказал Маршалу де ла Мейере идти поправить поражение, понесенное войсками Короля перед Орбетелло, взятием Пьомбино. Его обвиняли впоследствии в замыслах основать Королевство в той стороне, дабы получить возможность там спастись и утешиться от ударов злого рока, в случае, когда число его врагов увеличится во Франции, как он имел все основания бояться.

На службе Кардинала

Я последовал за Королем в Амьен; я еще не выехал на соединение с армией Герцога д'Орлеана, где должен был служить, когда Его Преосвященство попросил Месье де Тревиля дать ему двух Мушкетеров, кто были бы дворянами и не имели бы ничего, кроме плаща да шпаги, дабы они были бы обязаны только ему всем своим достоянием. Месье де Тревиль, кто всегда был добр ко мне, выбрал меня без колебания для представления ему. Выбор другого был более затруднителен. Он пал, наконец, на Бемо, поступившего через какое-то время после меня в Мушкетеры.

Мы оба сочли нашу судьбу обеспеченной, когда вот так были призваны к самому Министру. Всякий другой на нашем месте подумал бы, как и мы, но поскольку он далеко не отличался особой щедростью, как, бывало, Кардинал де Ришелье, мы долго прозябали, прежде чем увидели осуществление наших надежд. Далекий от доставления нам всяческих благ, каких мы от него ждали, он употреблял нас, как гонцов, а в вознаграждение за труды распоряжался выдать нам то пятьсот экю, то сотню пистолей, а то и того меньше. Так как приходилось тратить в поездках добрую часть, нам оставалась такая малость, что мы так и пребывали в нашем прежнем положении. Я хочу этим сказать, если у нас и имелись чулки, то не было башмаков, особенно у Бемо; он не [338] находил, как я, доходов в игре, и не вернул мне еще денег, что я ему одолжил.

Однако вскоре я сделался так же беден, как и он; судьба внезапно отвернулась от меня, и я начал терять все, что имел. Итак, я увидел себя лишенным моих претензий скупостью моего нового мэтра, и мое положение ухудшилось как раз тогда, как я поверил, будто преуспел. Мои потери следовали одни за другими, и очень скоро мне стало недоставать всего на свете. И так как игрок по случаю, а не по наклонности, каким я и был, всегда верит, будто сможет заткнуть бреши, какие сам же и наделал, я тем глубже погружался в трясину, чем больше предпринимал усилий из нее выбраться. Все это заставило меня сделаться более мудрым в конце концов, и, рассудив, что Бог послал мне эту помощь в игре в момент, когда я не обладал ничем, и ему было угодно отказать мне в ней теперь, когда я должен был иметь хоть какой-то доход, я пообещал себе совсем больше не играть. Итак, хотя и говорят обычно — кто играл, тот и будет играть — и верят в безошибочность этой поговорки, я вскоре показал моим поведением, что нет никакого правила без исключения. Если мне и доводилось играть при случае, то это было ничем по сравнению

с тем, как я играл прежде; вот так я одержал победу над самим собой, и судьба волей-неволей была обязана улыбнуться мне с этой стороны.

Она готовила мне, однако, другое несчастье, ничуть не менее чувствительное для меня. Дама была слишком поздно предупреждена мной о ее промахе, чтобы как-то поправить свои дела; другая осведомила ее мужа о нашей связи через некоторое время после моего отъезда из Парижа. Следуя традиции, он весьма дурно перенес этот урон. Он тотчас же воспламенился, и, нисколько не сомневаясь в происшедшем по тем доказательствам, какие та ему предоставила, решил отомстить или же умереть в трудах. К несчастью для нас, он перехватил еще два письма, что мы друг другу написали, таким образом [339] терпению его пришел конец, и он послал в Амьен человека, чтобы меня убить. Он прибыл туда на два дня позже того, как я оттуда уехал по приказу Месье Кардинала, направившего меня к Маршалу дю Плесси. Он был в Италии, и Министр приказывал ему перейти в Прованс, дабы соединиться там с Маршалом де ла Мейере.

Осада Куртре

Это обстоятельство помешало убийце нанести удар, и, не зная, где меня застать, поскольку Его Преосвященство хранил мою миссию в секрете, он возвратился в Париж, где объявил тому, кто его послал, причину, по какой вернулся, так ничего и не сделав. Мой ревнивец написал ко Двору, чтобы выяснить, где я мог бы быть, и когда ни один не сумел ничего ему сказать, он не пожелал дать волю своему негодованию по отношению к жене из страха, как бы не провалить то, что задумал против меня. Он дотерпел до моего возвращения, и едва я показался в Амьене, как он был предупрежден теми, кому написал. Он отправил сюда того же человека, кто меня уже упустил, и тот, упустив меня здесь еще раз, потому что Его Преосвященство сразу же отослал меня к Куртре с несколькими приказами Герцогу д'Орлеану, последовал за мной к этому Городу. Граф Дельпон, уроженец Савойи, командовал там, и так как это был человек опытный в атаке и защите Крепостей, он требовал во что бы то ни стало от Наместника Нидерландов снабдить его боевыми припасами и довольствием, в каких он испытывал нужду.

Наместник не верил в возможность атаки на этот Город, слишком углубленный в страну. Он принял свои меры на случай тревоги и ответил Дельпону не беспокоиться, его и не думают атаковать. Дельпон был этим недоволен и дал ему знать, что, хотя бы это и было противно его приказам, он позволит себе ему сказать, насколько плохо его обслуживают его шпионы, или же он просто не остерегается вражеских перемещений; а лично он зря потерял время на [340] войне, если заблуждается в мысли, что Город будет атакован в самом скором времени.

Так как достаточно иметь достоинства, чтобы нажить себе врагов и завистников, Дельпона высмеяли перед Наместником, как человека, подверженного паническому ужасу. Когда же один из его друзей рассказал ему, как его пытались выставить, как одержимого, он удовольствовался тем, что снова написал Наместнику, дабы его не смогли упрекнуть в нерадении к его долгу и в совете лишь с собственной досадой. Его письмо встретило тот же прием, что и предыдущее; на этом он и остановился, и не говорил более ничего. Тем временем его и осадили, и поскольку горький опыт показал его насмешникам, насколько больше он знал, чем они все, они были весьма сконфужены, что так некстати его оговорили. Так как ничто не может смутить бравого человека, дурное состояние этого места не заставило его лишиться мужества. Он дал время Генералу армии

Испании приготовиться подать ему помощь, и этот Генерал, приблизившись к нашим линиям, сделал все, что обычно делается, чтобы не позволить уступить крепость без боя.

Именно так обстояли дела, когда я прибыл в лагерь, и поскольку Кардинал не рекомендовал мне проявлять особого проворства, я счел, что накануне баталии я повел бы себя недостойно, тотчас же возвратившись к нему. Я даже смешался с несколькими добровольцами, просившими Герцога д'Орлеана о позволении сходить на разведку во вражеский лагерь. Мы их выманили наружу из лагеря, спровоцировав их обменяться пистолетными выстрелами. Мы завязали таким образом нечто вроде битвы, что было уже несколько больше, чем хотел наш Генерал, если бы он не сдержал нашего пыла. Так как ему было предписано ждать, чтобы его атаковали, он приказал трубить отступление, в чем проявил себя гораздо более мудрым, чем мы. Мы ретировались, следуя его приказам, а поскольку другие добровольцы [341] получили формальное запрещение возобновлять эту провокацию, мы твердо остановились в ожидании врага.

Их Генерал не смел ничего предпринимать, пока оставался хозяином собственного рассудка; но, потеряв его в дебоше, какой он устроил со своими главными Офицерами, среди которых нашлось несколько Германцев, кто, имея четыре лишних стакана в желудке, не видят уже ничего превыше их доблести, он им позволил явиться нас атаковать, когда мы об этом почти больше и не помышляли. Их предприятие было скорее дерзким, чем разумным, поскольку они пошли прямо на расположение Маршала де Гассиона, кто был человеком бдительным и хорошо умел защищаться. Им еще сошло бы, если бы они напали на Маршала де Рантсо, кто имел с ними то общее, что во всякий час дня его невозможно было найти постящимся. Они могли бы надеяться на равенство с этой стороны, и случай решил бы остальное. Но атаковав Гассиона, они наткнулись на человека, кто не мог быть застигнут врасплох, и кто отбросил их с такой силой, что, хотя и разгоряченные вином, они не замедлили обратиться в бегство.

Это предприятие весьма дурно им удалось; тогда они кинулись в другое со стороны Маршала де Рантсо, но и оно оказалось таким же безумным, как и предыдущее. Так как он укрепил свое расположение редутами, возвышавшимися от места к месту, они сконструировали траншеи для атаки на него. Это было вернейшее средство пробудить его бдительность и помешать ему пить. Но либо они прослышали, как было в действительности, что когда он выпивал, он только еще лучше

бил, если, конечно, не напивался сверх меры, либо они решили добиться цели более просто, но они бесполезно проводили множество времени в этой траншее. Между тем, расположение Рантсо укрепили еще надежнее, и он совершал против них частые вылазки; если бы осажденные действовали так же против нас, и с таким же успехом, они сохранили бы свою крепость гораздо лучше, чем всем тем, что они сделали. Но [342] малочисленный гарнизон, имевшийся у Графа Дельпона, ставил его в положение невозможности что-либо предпринять; он был принужден довольствоваться защитой, в соответствии с его силами, и оставаться зрителем того, что происходило в расположении Рантсо. Он, впрочем, и не надеялся ни на что хорошее, видя, как этот Маршал почти всегда одерживал верх в вылазках. Он рассудил, что все это лишь предвещает неизбежные последствия, и не ошибся — они были вынуждены бросить их предприятие после некоторого времени. Герцог д'Орлеан воспользовался замешательством, в какое это должно было ввести дух осажденных. Он призвал их сдаться; но Дельпон, чья храбрость не ослабела, посчитал, что ему не будет чести покинуть город, когда армия была готова ему помочь. Он ждал, пока она отступит, чтобы рассуждать о капитуляции; но едва он потерял ее из виду, как счел некстати ждать большего и сдался.

Убийца при смерти

Двумя днями раньше человек, кто должен был меня убить, и кто незаметно для меня не упускал меня из виду с тех пор, как нашел, явившись в траншею, где я находился, попал под мушкетный выстрел, как раз тогда, когда подыскивал удобный случай сыграть со мной дурную шутку. Рана была смертельная, и когда ему объявили, что надо готовиться к смерти, он попросил со мной поговорить и признался мне под секретом, с какой целью пробрался сюда. Он мне сказал в то же время поберечь себя, потому что тот, кто его послал, был настолько переполнен злобой, что он на этом не остановится. Я воспользовался полученными сведениями и держался настороже. Однако, считая себя обязанным предупредить об этом Даму, дабы и она приняла меры предосторожности, так же, как и я, написав ей письмо, я отослал ей его с моим лакеем, кого отправлял в Париж., чтобы собрать немного денег, какие отдал взаймы, когда выиграл девятьсот пистолей. Он вручил его ей в собственные руки и без [343] ведома мужа, поскольку я его научил перед отъездом, как за это взяться.

Она была весьма поражена, познакомившись с содержанием письма, и, прекрасно поняв, что если ее муж пошел на такую крайность в отношении меня, ее он тоже не пощадит; она решилась его опередить. Она подкупила аптекаря, и тот за пятьдесят пистолей дал ей дозу яда. Она ловко скормила его мужу, но так как яд должен был оказать свое действие лишь мало-помалу, у него еще оставалось время поразмыслить о своей мести. Он подыскал другого убийцу, дабы отправить меня на тот свет. Не решаясь и с ней обойтись столь же жестоко после той дружбы, какую он к ней питал, он задумал отправить ее в монастырь.

Из предусмотрительности он выждал какое-то время, прежде чем остановить свой выбор на человеке, какого он искал, чтобы заняться мной. Что до нее, то, так как он думал, что лучше стоило действовать по отношению к ней с возможно меньшим шумом, он ее отправил к ее отцу. Тот был знатным дворянином в Нормандии. Он прикинулся, будто получил письма из этой страны, известившие его, что тот был совсем плох, и он сказал, что ей было необходимо заехать туда, дабы, в случае кончины, вторая из двух его единственных дочерей, жена родовитого человека из Прованса, не наложила руку на все наследство.

Гнев отца

Дама чистосердечно ему поверила, и так как она его не любила, а когда испытывают такие чувства к мужу, не требуют ничего лучшего, как от него удалиться, она уехала не только без всякого противоречия, но еще и с удовольствием. Она сочла, что пока будет у своего отца или у ее родственников, ей нечего бояться. Но прибыв туда, вместо того, чтобы увидеть своего отца мертвым или умирающим, как ожидала, она нашла его совершенно здоровым и не имеющим ни малейшего желания умирать. Она, без сомнения, весьма этим обрадовалась, но почувствовала при приближении к нему, что он не особенно [344] хорошо настроен по отношению к ней. Ей даже показалось, что взгляды его были угрожающими, в чем она не слишком ошиблась.

Он получил письмо от мужа, кто поставил его в курс всех дел, и кто в заключение умолял его как можно раньше освободить его от жены из страха, как бы он не поддался соблазну, появлявшемуся у него иногда, обойтись с ней самым дурным образом. Бедняга, конечно, скрыл бы от него свое горе, если бы умел скрытничать, как делают обычно люди его провинции; но он на них не походил, и не только скорчил ему кислую мину, но еще и высказал ему все свои резоны. Дама была весьма поражена, услышав эти упреки. Однако, не зная, что сказать в свое оправдание, потому что ее муж прислал ему также и два перехваченных им письма, она потупила глаза. Она не скоро бы их подняла, если бы ее отец, казавшийся довольно сдержанным сначала, не занесся таким образом, что она испугалась, как бы он не пошел на странные крайности.

Итак, подумав, что самое плохое извинение было бы все-таки лучше, чем ничего, она ему ответила — если бы он пожелал дать себе труд ее выслушать, он, может быть, не нашел бы ее такой виновной, как он заявлял; он должен бы припомнить, что ее выдали замуж против ее воли, как она заклинала его дать ей в мужья другого, поскольку прекрасно чувствовала, что никогда не сможет полюбить такого мужа; он же не хотел ничего сделать, несмотря на ее слезы; но ее слезы произвели не больше эффекта, чем ее мольбы, она должна была жить с человеком еще более неприятным по его настроениям, чем по его мине, хотя и его мина не была сильно привлекательна для женщины; полное отсутствие в нем деликатности устрашило бы самую добродетельную женщину; итак, она не могла расточить ему всех тех ласк, какие уделила бы другому; он разумеется, не был этим удовлетворен; однако все это могло бы еще устроиться, если бы

он не был осведомлен о чувствах, какие она испытывала к нему перед свадьбой; он пришел от [345] этого в отчаяние и вздумал обвинить ее в том, что у нее якобы имелся любовник; он не остановился на одних упреках и перешел к крайностям, вплоть до того, что поднял на нее руку; она же не хотела никому жаловаться, льстя себя надеждой, что со временем он успокоится. Но поскольку его ревность довела его до изобретения любовных авантюр из-за каких-то невинно написанных писем, она не могла больше помешать себе дать знать отцу, до какой степени была несчастна.

Этот человек не верил всему, что ему говорили, особенно, когда это исходило от такой женщины, против кого у него имелись серьезные подозрения. Он ответил, что если она говорила правду, это делало ее ошибку более легковесной, но не оправдывало ее полностью; муж был неправ, заходя так далеко, какими бы ни были его резоны; но еще хуже, когда женщина, ради желания отомстить, доводила себя до поступков, в каких ее обвиняли.

Она захотела еще ему сказать, что это был лишь ревнивец, не заслуживавший никакого доверия к его словам. Он возразил, что желал бы ради любви к ней и ради собственного самолюбия, чтобы она говорила правду; но так как это дело следовало еще прояснить, прежде, чем ей поверить, он все-таки отвезет ее в монастырь. Он скомандовал в то же время заложить свою карету, и, препроводив ее в Руан, сдал там на руки Аббатиссе, одной из его родственниц.

Она перенесла без сопротивления, что ее туда отвезли, поскольку верила — ее заточение не будет продолжительным. При том, что она сделала со своим мужем, ему долго не прожить, а после его смерти она будет свободна и не обязана признавать власть над собой кого бы то ни было.

В монастыре она так здорово разыграла святошу, что сама Аббатисса обманулась и велела сказать ее отцу, кто осведомил ее обо всем деле, дабы она неотступно следила за ее поведением, что все сказанное о его дочери наверняка было клеветой; никто, как [346] она, не мог быть ни более мудр, ни более скромен, и он должен быть удовлетворен ею в самой высшей степени. Отец знал, что женщины, желающие обмануть других, обычно стараются выглядеть добродетельными. Он отложил свое окончательное суждение до тех пор, когда предпримет путешествие в Париж. Он хотел прояснить этот вопрос со своим зятем, кому распорядился сообщить место, где находилась его жена, дабы, если того охватит желание ее повидать, он мог бы сделать это, когда ему заблагорассудится. Он знал, что подобные

желания частенько разбирают рогоносцев, и рогоносцы рогоносцами, но они тоже любят, чтобы их навещали, если не жены, то хотя бы любовницы. Но прежде, чем он смог осуществить свой план, яд подействовал на другого, заставив его впасть в бессилие; он не осмеливался с ним об этом говорить, поскольку в свете прошел слух, якобы тот заболел лишь от горя. Он боялся бередить его рану при том, что считал свою дочь более виновной, нежели невинной.

По примеру Адмирала

Болезнь этого бедняги усиливалась день ото дня; его исповедник спросил, не простит ли он своей жене, на что получил ответ, в точности подобный ответу одного Адмирала Франции в аналогичной ситуации. У этого Адмирала была одна-единственная дочь, и некий дворянин сделал ей ребенка. Соблазнитель сбежал в Англию после нанесения такого удара, дабы уклониться не просто от побоев, но еще и от повешения, неизбежного в данном случае, или, по меньшей мере, от отсечения головы. Итак, Адмирал уже обеспечил ему приговор, когда сам слег с опасной болезнью. Исповедник не скрыл от него состояния, в каком тот оказался, и так как он был подкуплен друзьями дворянина, он спросил у своего кающегося, неужели он хочет унести с собой свою месть в мир иной? Богу было бы угодно, дабы он простил, и если он не простит, исповеднику не хотелось бы быть на его месте. Адмирал ответил ему, что тот требует от него весьма трудного решения, но если он не мог спастись иначе, как на этом условии, [347] то он прощает соблазнителю и своей дочери, если действительно умрет. Исповедник возразил ему, что этого недостаточно, и надо сделать это вне зависимости, умрет ли он или же выздоровеет. Но другой ответил ему, — что сказано, то сказано, и он не должен ждать от него большего. Он и в самом деле умер, не пожелав изменить решения, но так как этого было достаточно, чтобы принести покой любовникам, соблазнитель вернулся, едва тот закрыл глаза, и женился на своей любовнице. Они стали родоначальниками множества кавалеров голубой ленты (Голубая лента — лента Ордена Святого Духа, самого почетного из Орденов французской знати, эквивалентного Ордену Подвязки в Англии или Ордену Золотого Руна в Испании и Австрии) и других весьма значительных персон, хотя муж был всего лишь мелким дворянином из Прованса, даже настолько мелким, что подобные ему так бедны в Берри, что вынуждены сами проливать пот за плугом.

Между тем, муж моей любовницы, дав своему исповеднику условный ответ, точно так же, как Адмирал своему, так же и отошел в мир иной, не пожелав ничего изменить. Дама немедленно вышла из монастыря, и ее отец счел себя обязанным дать на это свое согласие, не заставив себя уламывать из страха, как бы, сопротивляясь, он бы не убедил свет, что у его зятя была причина поступить именно так, как он сделал.

Не надо занимать место рогоносца

Когда она вот так возвратилась в Париж, я счел, что ничто не мешает мне больше заходить к ней, и явился туда, как обычно. Я был так же прекрасно принят там, как и в других случаях, но когда пожелал попросить ее о тех же милостях, что прежде, она мне откровенно сказала, что времена теперь не те; если она и была безумна, то больше не хочет ею быть, но если ее милости мне были дороги, она вернет их мне, как только я пожелаю, лишь бы я захотел заслужить их, женившись на ней. Многие на моем месте поймали бы ее на слове. Молодая, красивая и богатая, какой она уже была, она должна была стать еще богаче после смерти ее отца. Этого было более, чем достаточно, дабы соблазнить Гасконца, у кого ничего не было, кроме плаща да шпаги; но, [348] найдя, что в мире вполне довольно рогоносцев, без неуместного увеличения их числа, я застыл столь холодный и озадаченный при этом предложении, что ей невозможно было ошибиться в ответе.

Она осыпала меня множеством упреков и сказала мне — вот что значит облагодетельствовать неблагодарного. Я было открыл рот, собираясь ей ответить — если бы она никогда не благодетельствовала никого, кроме меня, я, может быть, не вглядывался бы в этот вопрос столь пристально; но, не желая обидеть ее такими словами, и предпочитая подыскать какое-нибудь скверное извинение, я ей ответил, что от чистого сердца принял бы честь, какую ей угодно было мне оказать, если бы не испытывал такого нерасположения к браку из страха сделать ее несчастной, впрочем, так же, как и самого себя. Она распрекрасно поняла, что я хотел сказать. Она была мной очень недовольна и принялась искать другого покупателя, раз уж я не пожелал им стать. Таковых всегда можно найти в Париже, где не испугаешь рогами большинство людей, лишь бы они были позолочены.

Предусмотрительный муж

Шевалье де…, младший сын славного дома, но не имевший другого достояния, кроме мизерного пенсиона, установленного ему старшим братом, встал в ряды соискателей и одержал победу, я вовсе не позавидовал его удаче, поскольку лишь от меня зависело ею обладать; но так как я был бы не прочь снова сделать ее моей любовницей, я представился ей, когда они были женаты, дабы посмотреть, не будет ли она в настроении обходиться со мной так, как это делала при жизни своего первого мужа. Шевалье, в чьем сознании она не могла сойти за Весталку, и опасавшийся ее слабости, счел за лучшее поговорить об этом скорее со мной, чем с ней. Он мне сказал без лишних предисловий, что каждый мэтр у себя дома, и он не находит особенно добрым, чтобы я сюда когда-либо возвращался. Мне нечего было на это сказать, и, принужденный поступить так, как он мне намекнул, я бы здорово заскучал, если бы [349] Париж не снабдил меня тысячью других любовниц, вскоре утешивших меня от потери этой.

В самом деле, я недолго подыскивал себе одну, сказать по правде, не такую красивую, какой была жена Шевалье, но зато гораздо более богатую. Речи, с какими она ко мне обратилась, едва мы сделались добрыми друзьями, полностью пришлись мне по вкусу. Она мне сказала, — поскольку нам хорошо вместе, надо, чтобы все между нами было общее; итак, я мог запускать руку в ее секретер, когда мне что-нибудь понадобится, и она никогда не найдет на это возражения.

Ее муж был Президентом, и они не слишком хорошо жили вместе, причем ни один, ни другая особенно об этом не заботились. Он сам стал причиной их раздора. В начале их семейной жизни, вместо того, чтобы жить с ней, как он и должен был делать, он пустился в тысячу авантюр. Она была этим оскорблена и донимала его попреками. Он попытался смягчить ее более порядочным поведением, но, так как он напрасно себя насиловал, ведь развратники всегда возвращаются к их первоначальной манере жить, с ним случилось досадное приключение, принятое им поначалу за простую галантность. У него имелся красивый дом в четырех лье от Париже, куда он часто ездил понаслаждаться вволю со своими любовницами. Как-то его жене нездоровилось несколько дней; он отправился туда один и назначил там свидание одной из своих подружек. Он продержал ее там два или три дня, и, хорошенько позабавившись с ней, выпроводил ее обратно в город, тогда как сам задержался

там на весь остаток недели.

Соседство с Парижем привлекало к нему многочисленную компанию друзей, пока он был там; один из них явился с некой Дамой, кого он представил, как одну из своих двоюродных сестер. Он сказал, что она была замужем за одним видным дворянином из Бургундии, а в Париж ее привел процесс в Парламенте. У него действительно имелась одна, вышедшая замуж в тех краях, и находившаяся там [350] в настоящий момент, но она далеко не походила на эту, настолько же мало добродетельную, насколько та была мудра. Они, ее друг и она, выбрали дом Президента, чтобы провести несколько дней вместе, оба абсолютно уверенные, что он не тот человек, кто будет особенно присматриваться к их делам, а даже, если он что-нибудь и заметит, он не был достаточным врагом природы, чтобы возмутиться из-за того, как они воспользовались его домом для их удовольствий.

В самом деле, он не был особенным формалистом в этом вопросе. Однако, догадавшись, в каких они были отношениях, хотя они и устроили из них для него тайну, он решил раскрыть истину, ничего у них не спрашивая. С этим намерением он отвел им спальни, соединявшиеся одна с другой. Но Даме он предоставил не совсем обычную кровать; она располагалась посреди комнаты и была подвешена за четыре угла. Он рассчитал, что мужчина явится к ней туда, и замыслил такой план, какой должен был сразу же прояснить все дело.

После славного ужина настал час отходить ко сну; он распорядился проводить их обоих, каждого в его апартаменты. Они обрадовались, когда увидели, как близко находились друг от друга, а главное, когда обнаружили, проверив общую дверь, что ничто не мешало их обоюдным визитам. Как и ожидал Президент, мужчина пробрался к Даме и улегся с ней в кровать, в подвешенную кровать, походившую скорее на маятник, чем на настоящую кровать; едва Президент убедился, что они задремали, как они были подняты к самому потолку комнаты при помощи веревок, пропущенных через блоки, прикрепленные к четырем углам. Они были столь утомлены, либо вояжем, что они проделали от Парижа до этого дома, либо чем-то иным, о чем не говорится, но легко угадывается, что ничего не почувствовали. На следующее утро они были страшно изумлены, оказавшись вот так наверху комнаты. Она была, по меньшей мере, пятнадцати футов в высоту; они [352] никак не могли спрыгнуть, не подвергаясь риску сломать себе руку или ногу, и их ситуация показалась им столь же печальной, как участь человека, попавшего в осаду, когда он меньше всего об этом думал.

Они оставались там вплоть до полудня, когда Президент счел за благо пойти сменить их с поста. Он разыграл удивление, когда увидел их, лежащих вместе и поднятых так высоко; но вскоре, обратив свое так называемое удивление в насмешку, он сказал им, что они могли бы избавиться от подобного конфуза, если бы признались ему в их интрижке, и так как он не был святошей, то с удовольствием бы оказал им услугу. Он довольно долго высмеивал их, и хотя Дама воспринимала это не без стеснения, как, впрочем, и ее друг, они притворились, будто и для них это была всего лишь веселая шутка, потому что они просто не могли сделать ничего лучшего. Однако, они затаили определенную злопамятность, и как только возвратились в Париж, молодой человек решил за себя отомстить. Ему пришла в голову идея,

какую он нашел выдающейся, и вот что он немедля сделал для ее осуществления.

Не всякая, что в рясе, — Аббатисса

Так как он знал, — стоит лишь предложить любую прелестную девицу Магистрату, как тот, очертя голову, попадет впросак, он выбрал одну, настолько же всю прогнившую от болезни, насколько и красивую. Он привел ее к себе вместе с другой женщиной тех же нравов. Он велел им переодеться в монахинь и дал той, кто нехорошо себя чувствовала и была более привлекательной, все украшения, что носит аббатисса, дабы ее отличали от других.

Сделав это, он предоставил ей также карету, запряженную шестерней, с челядью в серых ливреях. Эта карета покатила по дороге к водам Бурбонов, где располагался дом Президента. Фальшивая аббатисса, кого ее болезнь лишала живых красок на лице, остановившись в его деревне около пяти часов после полудня, под предлогом, якобы легкое недомогание не позволяло ей ехать дальше, послала через час спросить у Президента, не позволит ли он ей [353] прогуляться в его Парке, когда она отдохнет. Тогда стоял месяц май, и дни были долгими и довольно жаркими. Она пошла туда к семи часам вечера, после того, как узнала, что Президент не только на это согласился, но еще и вызвался сам показать ей все, что было прекрасного в его доме. Он спустился и встретил ее в дверях, когда узнал, что она прибыла. Он нашел, что ей недостает лишь румянца, дабы быть одной из самых красивых особ на свете, приписав этот палевый цвет лица тому, в чем обычно обвиняют Дам, то есть, влюбленности. Благотворительность, какую он, естественно, оказывал прекрасному полу, заставила его задуматься о том, как бы предложить ей лекарство, почитающееся наилучшим при такого сорта болезнях. Не пожелав сказать ей сразу, до каких пределов простирается его добросердечие к ней, слишком счастливый от возможности расположить ее в свою пользу, не было такого преклонения, какого бы он ей не принес, ни такой нежности, какой бы он ей не высказал. Фальшивая аббатисса сделала вид, будто не остается ко всему этому нечувствительной, и когда она дала ему понять, что не имеет ни малейшей склонности к жизни в монастыре, тогда как ее родственники вынудили ее к этому, он заверил ее, насколько его потрясло насилие, какое над ней проделали. Наконец, воспламеняясь все более и более подле нее, он проявил к ней множество галантностей и не счел их потерянными по той манере, с какой она их принимала. Она делала это, как женщина, не имевшая никакого представления об этом мире, то есть, как воплощенная

невинность, верившая всему, что ей говорили. Президент приписал это тому, что она была заперта в монастыре с пеленок, таким образом поверив, будто она настолько же наивна в любви, насколько она была в ней дряхла и истрепанна; он счел себя счастливейшим из людей. Итак, он устроил себе роскошный пир из того лакомого кусочка, что она ему заготовила. Он весьма сильно ошибся; едва попробовав упомянутый кусочек после нескольких церемоний, [354] представленных ему Дамой, дабы лучше сыграть свою роль; он не замедлил заметить, что уж лучше бы он выпил яд, чем делать то, что он сделал. Совсем немного дней спустя он заболел, и его цвет лица сделался ничуть не лучше, чем у мертвеца, он вынужден был признать, рассматривая себя в зеркало, что если и стоило смеяться над теми, кто бледны, то и он теперь принадлежал к их числу, так же, как и его новая подружка.

Фальшивая аббатисса прожила у него четыре или пять дней, и все это время они разделяли тот же стол и ту же постель. Затем она уехала в свое так называемое путешествие, но, едва добравшись до Корбея, вместо того, чтобы продолжать путь, она пересекла там Сену и возвратилась в Париж. Тот, кто ее послал, пообещал ей доброе вознаграждение в случае успеха. Она была рада ему доложить, что ее вояж завершился полной удачей, в чем она вовсе не ошибалась. Человек пришел в восторг от этой доброй новости; он щедро с ней расплатился, и она сбросила одежды, что носила прежде.

Между тем Президент почувствовал сильные боли во всем теле, и, однако, далеко не осознавая, что бы это могло значить, он зашел в один прекрасный момент в спальню своей жены, когда у него не было ничего лучшего на примете. Она его там приняла, хотя они и находились в скверных отношениях; то ли ей больше нравилось это, чем совсем ничего, или же ее исповедник посоветовал ей не отказываться от супружеских обязанностей. Вот так она и приняла свою долю подарка, преподнесенного ему, а убедившись в этом гораздо раньше, чем он, она наговорила ему оскорблений, способных вывести из терпения самого сдержанного светского человека. Он не осмеливался ничего говорить, потому что боль, от которой страдал и он сам, заставляла его опасаться, что он и есть виновник. Ему не понадобилось долго размышлять, чтобы признать аббатиссу за фальшивку, и он кинулся в ноги жене, умоляя ее о прощении. Он даже рассказал ей, как сам был обманут, [355] намереваясь таким способом вызвать у нее сострадание или, по меньшей мере, сделать свои извинения более приемлемыми. Если бы он так хорошо не поступил, то вместо признания своей ошибки, да еще с такой искренностью, он мог бы свалить на свою жену причину этой заразы. Дама, замирая от страха, как бы он об этом не догадался, притворилась, будто простила ему, наказав на другой раз хорошенько изучить предмет, прежде чем за него браться. Он почувствовал себя счастливым в своем несчастье, и, ничего больше не боясь, заново рассказал ей об этой авантюре; откуда же ему было знать, что она спрятала двух особ между стеной и кроватью, дабы донести на него, когда настанет удобное время. Вот тогда-то он и стал жертвой ее обмана, когда меньше всего об этом думал; а она вынудила его предстать перед правосудием, подав на него иск с требованием раздельного жительства супругов.

Тонкая штучка

Он вознамерился тогда отречься от того, что было сказано по секрету — он был уверен в том, что никто не сможет уличить его во лжи, поскольку лишь от его доброй воли зависело признать правду или же скрыть ее; но когда ему противопоставили двух свидетелей, ему больше нечего было сказать, разве только то, что его жена оказалась более тонкой штучкой, чем он сам. Так она добилась в Шатле раздельного жительства, какого она и требовала, тогда как Парламент, по своему обычаю, не пожелал высказаться столь быстро. Он пожелал оставить им время на раздумье о том, что они собираются делать, и своим постановлением дал им шесть месяцев на решение, расстанутся они либо же нет. Едва истекла эта отсрочка, как она возобновила свои судебные преследования, и Парламент не мог отказаться утвердить приговор Шатле.

Итак, разделенная с мужем, кем она совсем не была довольна, она отправилась жить к одному родственнику, моему близкому другу. Здесь уж я не тратил времени понапрасну подле нее. Она мне сделала много добра, в отличие от Месье Кардинала, [356] кто не доставлял мне никакого, впрочем, не больше, чем Бемо; он по его приказу последовал в Италию за Маршалом де ла Мейере. Он попал там под пистолетный выстрел или, по меньшей мере, уверил всех, будто бы получил его в угол глаза. Тем не менее, это была безделица, и он испытывал от этого не больше неудобства, как если бы, почесавшись, оцарапал себя собственным ногтем; но из страха, как бы память об этом не затерялась, и для того, дабы показать при случае, что и он был на войне, он носил с тех пор на этом месте мушку; он весьма бережно сохраняет ее еще и сегодня.

Как подчас кончается любовь

Мне не понадобилось долгого времени, чтобы заручиться любовью Дамы, и так как она никогда не имела детей от мужа, то думала, что какую бы милость она мне ни предоставила, она не подвергалась никакому риску. Я не был, разумеется, огорчен, когда она избавилась от страха, что любая другая могла бы иметь на ее месте, и жили мы с ней, как муж и жена, с тем единственным исключением, что далеко не оповещая о наших отношениях с барабанным боем, мы все делали втихомолку; как вдруг она оказалась беременной, когда меньше всего этого ждала. Едва она это заметила, как пришла в отчаяние. Однако, так как дело было сделано, и не существовало от него никакого лекарства, она обратилась ко мне, пожелав услышать от меня, как ей следует поступить, чтобы весть об этом не дошла до сведения ее мужа и ее родственников. Я не нашел другого выхода, как поместить ее в монастырь, раз уж она боится, что вскоре это будет видно по ее талии. Она меня послушалась, взяла себе повивальную бабку, вместо горничной, дабы та могла ей помочь в случае родов, и все дело было проведено с такой ловкостью и под таким секретом, что только мы были в курсе, она, ее горничная да я, как внезапно об этом узнал весь монастырь из-за несчастья, какого никто не мог предвидеть.

У нее начались самые страшные роды, какие когда-либо могла иметь женщина, и повивальная бабка, [357] не зная, к кому обратиться, увидела себя в роковой неизбежности или оставить ее умирать у нее на руках, или же просить о помощи в городе. Она не могла ничего сделать, однако, не испросив на это позволения Настоятельницы, и так как речь шла о жизни женщины и ее ребенка, она не колебалась. Кто был необыкновенно изумлен, так это Настоятельница, когда она узнала, что Дама рожает. Она собрала всех наиболее благоразумных монахинь, дабы узнать, что сделали бы они в столь деликатном положении. Они все были так же растеряны при такой неожиданной новости. Те, кто были добросердечны, сказали, однако, по зрелому размышлению, что вопреки всему, что бы ни могло из-за этого произойти, надо было помочь матери и ребенку. Другие придерживались иного мнения, и так долго они не могли договориться, что эта Дама скончалась в таких муках, какие легче почувствовать, чем описать Ребенок, между тем, оставался у нее в животе, и хотя повивальная бабка сказала им, что, вскрыв его, они смогли бы еще, может быть, спасти ему жизнь, они ни за что не пожелали позволить послать за хирургом из страха, как бы это не нанесло удар по репутации

их монастыря.

В поисках супруги

Смерть этой Дамы положила конец нашей идиллии, и, утешившись некоторое время спустя, поскольку в этом мире и самые великие беды кончаются я решил жениться, дабы не подвергаться более тем бесчисленным приключениям, что случались со мной из-за моих любовниц. Принять такое решение было нетрудно — мне хотелось бы молодую особу кто была бы богата и скорее привлекательна, если только не совершенная красавица. Так как такое не встречается каждый день, особенно, когда ты не устроен, как было в моем случае, я растратил долгое время на поиски, так и не сумев найти то, что хотел. Наконец, одна дама из Судейских, родственница Месье де Тревиля, чей дом я посещал во всякий день, зная мои намерения, сказала мне, что она знакома с одной молодой вдовой, кто полностью бы мне [358] подошла; она была не прочь оказать мне услугу и представить меня ей; мне же предстояло довершить остальное; но если понадобится еще замолвить за меня словечко, она приложит все силы, чтобы повернуть дело в мою пользу.

Я был в восторге от этого предложения и, поблагодарив ее, как должно, умолял ее как можно раньше подать мне знаки ее доброй воли. Я ей сказал, что если я настолько тороплюсь, то только потому, что вскоре возобновится кампания, и так как меня неизбежно назначат верховым курьером Месье Кардинала, я боюсь, раз уж я вступлю в отношения с Дамой, как бы он не спутал всех моих планов, доверив мне какую-нибудь неудобную миссию. В самом деле, Бемо и я развозили большую часть его посланий, и это нам вовсе не нравилось, поскольку не приносило ни славы, ни дохода, но лишь усталость, без какой бы то ни было пользы для нас.

Но прежде, чем устремиться дальше в рассмотрение этого дела, мне надо сказать несколько слов о делах Государства.

ЧАСТЬ 9
На службе Мазарини

Герцог д'Орлеан покинул армию после взятия Куртре и нескольких других завоеваний, и Герцог д'Ангиен, за кем осталось командование, и спросил позволения осадить Дюнкерк. Это поразило весь Двор, потому что кампания была уже в самом разгаре, и, казалось, времени далеко недостаточно для столь значительного предприятия; кроме того, Комендантом в этом городе был некий Маркиз де Лед, человек весьма опытный в ремесле войны; предвидя с предыдущего года, когда он увидел осаду Мардика, что мы занялись этим предприятием только для того, чтобы открыть дорогу к нему, он предостерегся против наших замыслов.

Кардинал напомнил об этих трудностях Сент-Эвремону, кого Герцог д'Ангиен отправил ко Двору добиваться позволения, какого он испрашивал. Он выбрал его предпочтительно перед многими [360] другими для этой миссии, так как тот обладал большим разумом, и он надеялся, что тот дельно ответит на все возражения, какие ему будут сделаны. Он не ошибся; тот сгладил перед этим Министром все трудности, какие могли прийти ему на ум. Однако, видя, как он все время возвращается к естественной застенчивости, заставлявшей его дрожать среди самых верных друзей, тот спросил его — разве Герцог д'Ангиен, увенчанный славой, пожелал бы предпринять что-то сверх его сил; разве он не знал, что здесь дело коснется личной репутации этого Принца, так же, как и славы Государства; всегда оставаясь ревностным к этой репутации, он был не тем человеком, чтобы дерзко устремиться в безумное предприятие. Кардинал возразил ему, что эта осада не может осуществиться без Голландцев, а у нас нет еще с ними подлинного договора, и пройдет целый год, пока появится возможность его заключить. Сент-Эвремон ответил, что Герцог и об этом позаботился, отправив к ним Барона де Турвиля, своего первого Камер-юнкера; он должен подготовить с ними этот договор, под условием согласия Двора, дабы, если он одобрит его намерения, понапрасну не терять времени. Кардинал прекрасно увидел по манере, в какой говорил с ним Сент-Эвремон, что эта осада была решена в сознании Герцога; и так как он имел большую доверенность к нему, он отослал назад этого посланника с приказом сказать ему, что Король оставляет его мэтром делать все, что он сочтет за лучшее.

Взятка Дюнкерка

Была и некоторая доля лукавства в столь поспешной снисходительности. Этот Министр, начинавший желать единоличного правления, не видел ни одного, как я уже сказал, прекрасного вакантного места, будь то на войне, будь то при Дворе, какого бы он не пожирал глазами для своих племянников и племянниц, вызванных из Италии. А вот уже несколько месяцев пустовало одно из самых великих и самых значительных мест — это была должность Адмирала Франции; на нее был назначен Герцог [362] де Брезе, брат Герцогини д'Ангиен, перед своей смертью. Он был убит пушечным выстрелом на берегах Италии, где командовал нашей морской армией для поддержки того самого предприятия, затеянного Кардиналом в двух местах, о каких было сказано раньше.

Это предприятие ему лучше удалось, чем при Орбетелло; Маршалы де ла Мейере и дю Плесси одержали победу, и так как кампания во Фландрии была не менее счастливой, он претендовал никак не на меньшее за услуги, какие он, по его мнению, оказал, как именно на эту великую должность. Он предназначал ее Герцогу де Меркеру, старшему сыну Герцога де Вандома, за кого хотел выдать одну из своих племянниц, но он столкнулся с трудностями со стороны Принца де Конде и Герцога д'Ангиена, заявивших, что она должна была принадлежать сестре покойного. Эта претензия могла быть основана только на личных заслугах Герцога, а они были таковы, что можно было бы насчитать столько же выигранных баталий, сколько он уже проделал Кампаний. Столь разительная слава порождала зависть у этого Министра и заставляла его побаиваться, как бы право Герцога не перевесило его собственное, если, конечно, с ним не приключится ничего огорчительного. Итак, теша себя надеждой, что, каковы бы ни были поведение и отвага этого Генерала, ему трудновато будет преодолеть природные неприятности и атаковать столь многоопытного Коменданта, он освободил ему руки на все, чего ему захочется.

Сент-Эвремон уехал с этими приказами; Турвиль возвратился из Голландии с добрыми новостями, и Герцог направился к этому месту и, благодаря своей распорядительности и доблести, восторжествовал над всеми преградами, устроенными ему врагами и природой. Маркиз де Лед сделал, однако, все, чего можно было ожидать от человека бравого и отлично разбиравшегося в ремесле. Тем временем Граф де Лаваль, о ком я говорил ранее, находясь на посту в траншее, был там ранен

мушкетным [363] выстрелом в голову. Я был совсем рядом с ним, когда произошел этот несчастный случай. Месье Кардинал отправил меня к Герцогу, дабы настроить его отречься от претензий на должность Адмирала; в качестве компенсации за нее он обещал обеспечить ему Комендантство Дюнкерка для того, кому будет ему угодно его отдать, как только это место будет взято. Он ему обещал также присоединить к этому какие-то другие милости Двора. Но Герцог лишь осмеял его предложения, и я мог вновь пуститься по дороге на Париж, откуда я и явился; тем не менее, я не хотел ничего делать прежде, чем сам не взгляну на траншею.

Смерть Графа де Лаваля

Граф де Лаваль, кто был Маршалом Лагеря, командовал там в этот самый день, и так как я с ним еще не виделся, он спросил, нет ли у меня новостей от его жены; тут-то и грохнул выстрел, о каком я недавно упомянул. Он повалился от него на землю, как если бы был мертв. Я действительно было поверил, будто с ним покончено, когда он поднялся одним рывком, сказав мне, что все это ничего. Он даже велел подать чернила и бумагу, прежде чем позволил перенести себя в палатку, и написал своей жене, что так как он не сомневался, она наверняка встревожится при вести, что тотчас же распространится о его ране, он был весьма рад сам сообщить ей, что она вовсе не так опасна, как могли бы ее в том уверить.

Итак, едва я провел час или два в траншее и отметил, в каком она находилась состоянии, как был вызван к Герцогу д'Ангиену; тот сказал мне, что он хотел бы дать мне письма к Его Преосвященству. Он действительно дал мне одно, и так как он говорил в нем о ране Графа де Лаваля совсем иное, чем то, что Граф сам написал о ней своей жене, весь Париж вскоре наполнился слухами о его близкой смерти. Все это скрывали, как могли, от Мадам де Лаваль, но, прослышав о его состоянии, она не пожелала ничего принимать всерьез, поскольку придавала больше веры письму, полученному от мужа, чем всему остальному. Канцлер, видевший его в руках дочери, [364] узнав, что именно я приносил новости, послал просить меня явиться его повидать. Он спросил меня по секрету, в каком состоянии был его зять, и должен ли он верить письму, написанному им самим жене, или же тому, что разносят в свете. Я было хотел его обнадежить, но, сейчас же распознав мое намерение, он мне сказал, что ни о чем больше не спрашивает; я сказал ему гораздо яснее, не сказав ему ничего, чем если бы подтвердил то, что рассказывается повсюду; он умолял меня объясняться со всем светом на том же языке, на каком я объяснился с ним, потому что если я заговорю в другой манере, он боялся, как бы его дочь об этом не узнала, а это было бы способно свести ее с ума — так как она бесконечно любила своего мужа; он же заранее примет меры, чтобы незаметно подготовить ее к новости о его смерти, что, по всей видимости, не замедлит объявиться. Я не хотел ничего больше добавлять из страха быть к нему жестоким, приукрашивая правду. Он точно угадал, когда поверил тому, что сам же и высказал; поскольку двумя днями позже явился гонец из армии, кто и привез эту печальную новость.

Однако, Герцог д'Ангиен взял этот город, вопреки надеждам Кардинала, и это завоевание еще более увеличило ожидания Принца де Конде; он передал сыну не возвращаться из армии до тех пор, пока он не узнает, что Министр в настроении удовлетворить его справедливые претензии. Дело находилось в обсуждении, как с одной, так и с другой стороны, и Кардинал, уверившись, что с момента, как он сохранит за собой эту должность, он не может ни в чем отказать взамен, тут же предложил ему множество вещей. Принц де Конде, действовавший от имени своего сына, счел, что все надо принимать, и это не помешает Герцогу возобновить его претензии в другое время. Итак, он прикинулся удовлетворенным, после чего Герцог явился ко Двору, где на него смотрели, как на героя, равного кому не было уже давным-давно.

Вот в это-то самое время родственница Мадам [366] де Тревиль и предложила мне супружество, о каком я говорил раньше. Я ей достаточно засвидетельствовал, насколько это было мне приятно, дабы побудить ее не терять времени. Потому она его и не теряла, и, поговорив об этом с Дамой, рассказала ей обо мне столько хорошего, что та согласилась увидеть меня у нее, чтобы рассудить самой, должна ли она верить всему сказанному моей подругой. Она мне необычайно понравилась обаянием мудрости, исходившим из всей ее особы. Ее красота была не особенно поразительной, хотя в ней и не было ничего отталкивающего. Побеседовав с ней некоторое время и выйдя первым, дабы моя подруга могла спросить, что та обо мне думала, я зашел к ней в тот же день выслушать ее отчет. Моя подруга сказала мне, что я произвел неплохое впечатление на Даму, и так как та обладала большим состоянием, она надеялась, та не станет допытываться, имею ли я какое-либо или нет. Я пришел в полный восторг от такой доброй новости и умолял ее предоставить мне еще несколько бесед с этой Дамой, дабы поддержать и даже увеличить то доброе мнение, какое та могла составить обо мне; она мне это пообещала и сдержала свое слово.

Эта Дама звалась Мадам де Мирамион, и это та самая, о ком сегодня идет такая молва по поводу ее набожности. Я имел счастье нравиться ей все больше и больше, и так как не существует очарования, подобного тому, что исходит от добродетели, я сделался столь влюбленным в нее, что не имел никакого покоя, пока она не давала слова моей подруге, что согласна с намерением, с каким я обращался к ней. Она ни на что не хотела решаться, пока не узнает меня до конца. Итак, она ей ответила, что недостаточно чувствовать какую-то склонность ко мне для заключения сделки, что должна была длиться столь

долго, и только время могло ей в этом помочь; я вынужден потерпеть, поскольку частенько все портят лишь потому, что чересчур спешат. Я не смог найти никакого возражения на этот ответ и встречался [367] с ней еще время от времени, всегда у той же самой Дамы, и, по всей видимости, дела мои шли наилучшим образом, когда все мои надежды оказались разом разрушены.

Месье де Бюсси-Рабютен совершает похищение

Большие богатства этой Дамы привлекали к ней множество влюбленных; одни из них делали предложения, а другие ничего еще не делали. Я не знаю, по каким причинам Бюсси-Рабютен, кого мы видели впоследствии Генерал Лейтенантом Армий Короля и Мэтром Лагеря легкой Кавалерии Франции, был из числа этих последних. Это был весьма тщеславный человек, и когда бы я не сказал этого здесь, достаточно было бы прочитать его «Любовную историю Галлов», дабы рассудить, что я ничего не приписываю ему, что не было бы им вполне заслужено. Однако, каким бы надменным он ни был, он счел некстати положиться на свои редкие качества, какими хвастает сам в похвальном слове, посвященном им собственной персоне. Он решил похитить Даму, дабы когда он сделается мэтром над ней, никто больше ее бы не пожелал, а он добился бы от нее силой тех милостей, каких не мог надеяться получить по доброй дружбе. Едва замыслив себе такой план, он принялся за его исполнение. Он обзавелся сменными лошадьми и каретами, и, расставив их на дороге к Бри, где намеревался удалиться в маленькую крепость, принадлежавшую одному из его родственников, выбрал момент, когда она ехала из Сен-Клу к горе Валериан, для нанесения своего удара.

Она уже была набожной, но набожностью сдержанной, не имевшей ничего несовместимого с замужеством. Она намеревалась отправиться туда в паломничество, когда он приказал задержать ее карету нескольким из своих родственников и друзей, какими заранее запасся. В то же время он произнес ей свой комплимент, и так как язык у него был хорошо подвешен, он собирался уверить ее, будто бы она была обязана ему своим избавлением от похищения, якобы грозившего ее особе. К несчастью для него, она не была очень доверчива, так что она изрыгала [368] ему проклятья, вместо изъявления нежности, к которой он хотел ее приготовить. Тогда он оставил прежний слащавый тон и сказал, — согласна она или нет на свое похищение, это уже ничего не изменит. В то же время он вынудил ее покинуть ее карету и, заставив ее подняться в другую, погнал по дороге между Сен-Дени и Парижем, дабы не заезжать в город. Он думал, будто настолько хорошо принял свои меры, что прибудет на место назначения прежде, чем смогут узнать, что произошло. Но карета, куда он ее заставил подняться, сломалась

подле Булонского Леса, и прошло более двух часов до того, как ее починили.

Это дало время одному из лакеев Дамы явиться объявить ее подруге о том, что случилось. Я был у нее, к счастью, и, узнав эту скверную новость, тут же вышел, чтобы лететь ей на помощь. Я пошел бы, конечно, скорее всего в Резиденцию Мушкетеров, но ее не было больше. Мазарини настолько заупрямился в желании получить Роту Месье де Тревиля, что, увидев, как тот ни за что не хочет ее ему отдать, он устроил так, что она была расформирована.

Потому мне стоило больших трудов собрать семь или восемь моих друзей. Я был уверен — мне понадобится никак не меньше, поскольку выяснил, что Бюсси имел столько же своих, и даже больше. Я проявил расторопность, и так как примерно знал, какой он придерживался дороги, вскоре напал на его след. Он обнаружил меня издалека, в момент, когда уже собирался войти в крепость, куда намеревался удалиться, и так как никто не любит драться, когда неправ, он покинул поле боя и оставил мне Даму.

Еще одна разбитая надежда

Я бросился к ней и засвидетельствовал ей, какую радость испытал, освободив ее из рук похитителя. Я верил, что она сейчас же выразит мне свою признательность и отблагодарит меня в соответствии с оказанной услугой, но она посмотрела на меня почти как на вовсе незнакомого ей человека. Я приписал это страху, какого она натерпелась, и что [369] сделал ее как бы бесчувственной. Итак, я не стал пугаться по этому поводу и вернул ее в Париж, где, как я верил, она будет более в состоянии высказать мне все, что она думала о сделанном мною ради нее. Однако напрасно я этого ждал, я не увидел никакого эффекта, а если и увидел какой-то, то он лишь убедил меня, что я не могу надеяться на большее подле нее, как если бы я ее оставил в руках Бюсси.

Она мне действительно сказала, что, после всего приключившегося с ней, навсегда мужчина станет для нее ничем, и она не желала подвергаться упрекам, какие могли бы быть ей сделаны за то, что она побывала в руках другого; всевидящий Бог, тем не менее, знает, что тот ни в чем не покусился на ее честь, но так как ей недостаточно осознавать себя невиновной и надо еще постараться, чтобы весь свет знал об этом так же хорошо, как и она сама, она изберет такой образ жизни, какой укроет ее от всего, чего ей, возможно, довелось бы опасаться, если бы она совершила безумие снова выйти замуж.

Я был поражен ее словами более, чем могу это выразить. Я даже настолько растерялся, что мне было как бы и невозможно на это отвечать. Дама воспользовалась моим молчанием и покинула меня; либо она, может быть, так же была пронзена болью, как я, или же она просто не пожелала меня пожалеть. Итак, она избежала присутствия, молчаливо обвинявшего ее в дурном обращении с единственным человеком на свете, кто меньше всего этого заслуживал. Я не сумею сказать, говорила ли она, покидая меня, еще что-то, кроме переданного мной; одно лишь я знаю наверняка — зайдя к ее и моей подруге рассказать ей о моем несчастье, я не имел даже утешения с ней об этом поговорить. Она участвовала в маскараде, и, уйдя на бал, возвратилась оттуда лишь на следующее утро. Так как я был не в настроении идти искать ее там, я поплелся к себе, где провел одну из самых скверных ночей, какие знал в жизни. Она длилась бесконечно, и утро тоже; поскольку эта Дама пробегала всю ночь, я должен был [370] оставить ее отдохнуть, и снова зайти навестить ее только после полудня.

Наконец, я явился туда, когда счел, что она могла бы уже быть доступна. Она прекрасно знала, что я прибыл на помощь ее подруге и даже с достаточной пользой; но так как она не знала, в какой манере мне за это заплатили, то вообразила, будто бы это должно было продвинуть мои дела. Итак, едва меня увидев, она наградила меня комплиментом, весьма отличным от того, что бы она мне сказала, когда бы знала, как все произошло. Она, между тем, ходила повидать свою подругу через полчаса после того, как я ее покинул; но там у нее было столько посетителей, что она не смогла перемолвиться с ней по секрету. Я ее крайне изумил, когда поведал, в какой манере я там был принят. Она мне сказала, что в это просто невозможно поверить, а когда я подтвердил мои слова клятвой, она сделалась серьезной и заявила мне о своем намерении свидеться с ней в тот же самый день, дабы попытаться заставить ту изменить настроение, со всей горячностью, на какую она была способна.

Я вернулся еще раз повидать ее в тот же вечер, чтобы узнать, какое впечатление ей удалось произвести. Она воскликнула, едва завидев меня, что абсолютно ничего нельзя было для меня сделать, и она сожалеет обо мне так, как я того и заслуживаю; никогда не слыхано было о несчастье, подобном моему, и, должно быть, мне суждено было родиться под такой весьма несчастливой звездой, чтобы мои надежды рушились как раз в то время, когда все, казалось, способствовало их возвышению. Наконец, она мне накурила бесконечное множество фимиама; но, поскольку все это было лишь дымом, я спросил ее, не сказала ли ей что-нибудь Дама, дабы скрасить, по меньшей мере, резкость своего поведения. Она мне ответила, что той и не оставалось говорить ничего иного, кроме сказанного уже мне самому — она не желала, как сама выразилась, подвергаться упрекам, какие я смог бы ей сделать, если [371] бы она вышла за меня замуж; и это все, что ей удалось из нее вытянуть; в довершение всего, та настолько прочно вбила себе в голову эту, мысль, что она очень сомневалась, смогу ли я или кто бы то ни было ее оттуда вырвать.

Дамам объявляется банкротство

Вот и весь ответ, что я смог получить от одной и от другой, и столько у меня накопилось причин быть недовольным Дамами, что я решил не терять больше моего времени с ними. Я действительно объявил себя банкротом по отношению к ним, на пять или шесть месяцев, по крайней мере; я распрекрасно сделал бы то же самое и с Кардиналом, если бы мог, настолько я находил его скверным мэтром. Он никогда не делал нам никаких подарков, причем Бемо не больше, чем мне, и хотя мы состояли при нем в качестве его дворян, мы не имели даже мизерного влияния пропустить одного из наших друзей в его комнату. Если кому-либо доводилось нас об этом просить, нам приходилось признаваться им в нашей несостоятельности или же подыскивать какое-нибудь извинение для подобных наших действий.

Наконец, мы были настоящими рабами, что заставило меня задуматься, как бы занять место на другой стороне, если бы я знал, к кому мне обратиться, чтобы быть лучше устроенным. Но никто не хотел и взглянуть на нас, пока мы оставались на его службе. Так как вот уже некоторое время, как он дал знать о себе, что он такой же скряга, как и мошенник, казалось, что и мы на него похожи, поскольку находились у него в услужении. Это мешало знатным особам связываться с ним, так что можно было сказать — вокруг него гораздо больше видно било сволочи, чем честных людей.

Вошел туда примерно в это же время или, по меньшей мере, боюсь, как бы не соврать, вошел туда за некоторое время до этого некий маленький человечек, чье происхождение едва ли было значительнее его роста. По своему первому ремеслу он был гарсоном-кабатчиком в Беарне, но, обменяв красный колпак, что он носил в те времена, на широкополую [372] шляпу и белое перо, он сделался столь горд, изменив таким образом внешность и положение, что ссорился почти со всеми на свете. Однако, так как он приобрел кое-какие преимущества, над некоторыми, он пользовался большой милостью у Его Преосвященства, кто сделал его даже несколько времени спустя одним из главных Офицеров его Мушкетеров. Он был бравым человеком, сказать по правде, и так как в той же Роте имелся еще один Офицер, такой же неуживчивый, как и он, но только дворянин, дело у них вскоре дошло до рук.

Дуэли были так же строго запрещены в те времена, как они еще запрещены и сегодня, потому они были обязаны прятаться, чтобы получить верную возможность драться. Король недавно

подал, на персоне де ла Фретта, поучительный пример несгибаемости, с какой он будет обходиться с теми, кто нарушит его Эдикты. Это нагнало страха на всех и каждого, так что, если кто-то был возбужден, один против другого, он стремился прикрыть свои действия потемками. Они бились в комнате Шарантона, где располагалась их казарма, и ла Вернь, так звали дворянина, был убит наповал, там же на месте. Нантиа, его старший брат, служивший обычным Шталмейстером Королевы, счел своим долгом скорее приглушить это дело, чем придавать ему огласку какой-нибудь процедурой. Он приказал схоронить мертвеца украдкой, и убийца был столь счастлив, что Король никаким образом не прослышал об этой битве. Итак, это не помешало маленькому человечку продвигаться своей дорогой. Он оставался Младшим Лейтенантом этой Роты, когда Король забрал ее для себя. Бравый Марсак, командовавший ею раньше, умер, и Месье Кольбер, Государственный Министр, назначил на его место своего брата, вскоре поставившего ее на другую ногу, чем она была прежде; тогда маленький человечек был так горд, забыв о своем собственном происхождении, не пожелал ему подчиняться. Он предпочел покинуть свою должность, что обеспечило [374] судьбу Месье де Монброна. Поскольку, хотя он был рожден иначе, чем другой, он почел за честь служить под этим новым Командиром, кто вскоре принял имя Графа де Молеврие вместо того, что он носил прежде. Этот Граф был, однако, всего лишь сыном простого плательщика податей, то есть, доброго Горожанина, но так как удача его брата и ему самому открывала доступ к более великим почестям, он не только назвался Месье Графом, постоянно напоминая окружающим о его титуле, но еще вскоре пожелал стать Наместником Провинции.

Он вел переговоры о Наместничестве над Мецем и над всей его округой с Маршалом де ла Ферте, кто был вдобавок еще и Наместником Лотарингии. Он был убежден, что получит согласие, опираясь на поддержку брата, кто был тогда в наибольшем блеске, да и на собственную отвагу, какая была, чтобы не соврать, отнюдь не из мельчайших. Между тем, на маленькой войне, что разразилась некоторое время спустя в Голландии, и куда Король послал шесть тысяч человек на помощь Республике против Епископа Мюнстера, к числу которых принадлежал и он, Месье де Прадель, командовавший там, обычно поговаривал, как бы ему хотелось оказаться его наследником, уж очень тот был охоч до траншеи. Однако, хотя каждый отдавал ему должное в этом вопросе, и не было такого достаточно страстного человека, чтобы посмел говорить иначе о его храбрости, Король отказал ему в согласии на это

Наместничество. Никто не знает хорошенько, откуда проистекал этот отказ, был ли он возмущен тем, что этот Граф заручился им, не поговорив с ним об этом заранее, или же его гордость, еще даже превышавшая гордыню маленького человечка, о каком я только что говорил, чем-то была ему неприятна. Граф де Молеврие счел себя настолько задетым, что покинул его Роту. Месье де Монброн заступил на его место и покинул его совсем недавно, чтобы стать во главе Полка Короля, где, как засвидетельствовал Его [375] Величество, его услуги будут ему более приятны, чем где бы то ни было еще.

Размышления о композиции произведения

Я немного упредил время и перескочил от 1648 года к году 1672; я не знаю, буду ли я порицаем за это теми, кто ищет малейший повод раскритиковать произведение; но пусть они делают все, что им заблагорассудится, если только это можно поставить ему в упрек, я вскоре получу отпущение грехов от публики. Существуют материи, что часто увлекают, и прерванная нить которых может не понравиться порою больше, чем следование за ней вопреки хронологии. Как бы там ни было, когда Мадам де Мирамион дала мне отставку в той манере, о какой я говорил, я нашел утешение хотя бы в том, что вовсе не ради другого она меня покинула. На самом деле, в самом скором времени она основала то заведение, что удовлетворило весь Париж, и подает большую помощь огромному числу особ.

До сих пор Кардинал обходился с нами довольно холодно, как с Бемо, так и со мной, и так как мы были товарищами в Гвардейцах, потом в Мушкетерах, и, наконец, компаньонами по судьбе в его доме, казалось, он хотел, чтобы все между нами двоими было равное, вплоть до его грубостей. Но, в конце концов, когда мы меньше всего об этом думали, он внезапно и совершенно изменил поведение по нашему поводу. Я захотел узнать причину, находя, что мы менее, чем никогда, заслуживали его ласк, по крайней мере я, видя, как мало значения он придает моим услугам, не понуждая меня, как прежде, их ему оказывать. Я недолго оставался в неведении. Я увидел, как его удача шаталась, и так как он начинал верить, что вскоре ему понадобятся все на свете, он постарался нас подкупить. Я сказал об этом Бемо, кто мне ответил — будь это так или иначе, надо обернуть это в нашу пользу. Он всегда заключал точно так же, потому я не был удивлен его ответом. Этот Министр нажил себе бесконечное число врагов гнусной скупостью, что он проявлял в тысяче обстоятельств. Едва освобождалась должность, будь то на [376] войне, или же где-то еще, не следовало и думать, будто он посчитается со службой либо с достоинствами, чтобы ее отдать. Тот, кто предлагал ему больше, всегда предпочитался остальным. Вот это самое сделало его столь омерзительным для всех тех, кто мог усмотреть здесь свой интерес, что если бы это зависело только от них, они давно бы уже выдворили его обратно в Италию.

Что же касается народа, то он вовсе не был им доволен. Он был обременен его Эдиктами о новых поборах, и было ли это правдой или нет, заявляли, якобы он отправлял часть денег,

собранных благодаря этим Эдиктам, в Италию. Ропот об этом начал подниматься с 1645 года, и, может быть, с этого времени был бы способен привести к весьма нежелательным эффектам, если бы Месье Принц де Конде не помешал этому своим благоразумием; но он умер в конце 1646 года, а Герцог д'Ангиен, кто принял его имя, не проявлял к Кардиналу того же уважения, как его отец; либо он был менее осмотрителен, либо считал себя вправе жаловаться на этого Министра. Он обвинял его в том, что через год после баталии при Дюнкерке тот отправил его в Каталонию, и, дабы очернить там его славу, коварно втянул его в осаду Лериды, где оставил его нуждаться во всем необходимом.

Интриги вокруг Герцога д'Ангиена

Кардинал, кому стоило всего лишь показать зубы, чтобы добиться от него всего, что захочешь, едва прослышав о его жалобах на него, сделал все, что только мог, дабы вновь обрести его дружбу. Он употребил на это всех, кто имел хоть какое-то влияние на его душу; и поскольку Герцог де Шатийон пользовался у того большим доверием, а к тому же боялся, как бы он не затаил обиду на него самого за его отказ предоставить ему Наместничество над Ипром, он пообещал обеспечить ему жезл Маршала Франции в случае, если он потрудится над этим примирением. Этот Герцог, в чьем Доме дважды получали подобное достоинство, свято верил, что заслужил его ничуть не меньше тех, кто был уже им [377] награжден; он был шокирован таким предложением вместо того, чтобы им удовлетвориться, как на то рассчитывал Кардинал.

Он ответил тому, кто говорил с ним об этом от его имени, что только собственным заслугам он будет обязан этим достоинством, и ни в коем случае не предложенной ему Министром интриге; он оставляет это тем, кто более к такому приспособлен, чем он сам; что до него, то он будет благодарен лишь своей шпаге за все благодеяния, что выпадут на его долю. Кардинал, рассудив по этому ответу, что тот был озлоблен на него, обратился к Гито, кто с некоторого времени сделался фаворитом Принца. Этот оказался не столь гордым, как другой, и, получив от него двадцать тысяч экю звонкой монетой, пообещал устроить ему мир со своим мэтром. Принц, кто ни в чем не мог ему отказать, согласился на все, о чем тот его попросил. Он простил Кардиналу оскорбление, по его мнению, полученное им от него, и, взаимно пообещав ничего не делать в будущем, что могло бы их снова рассорить, они скрепили это обещание большим застольем, данном в их честь Маршалом де Граммоном, общим другом как одного, так и другого.

Между тем, началась Кампания 1648 года, и так как враги отбили Куртре и сделали несколько других завоеваний, опять появился повод говорить о том, как радовался Министр такому обороту событий, поскольку снова появился предлог поднять денежные поборы; якобы он хотел, чтобы война тянулась бесконечно, потому что, если бы она закончилась, а ему ничто не мешало добиться этого, если бы он хоть раз применил соответствующие средства, не было бы больше никакого предлога поднимать новые пошлины. С такой отговоркой Парламент Парижа отказался заверить несколько Эдиктов, а так как тогда

невозможно было поднять денежные поборы за счет народа без его согласия, начали искать различные подходы к этому Корпусу, дабы убедить его поступить так, как желал Король. [378] Именно так называл Кардинал те решения, что он принимал в своем кабинете с несколькими другими людьми подобного пошиба, заинтересованными в точном следовании его воле и его политике. Так как им было привычно жиреть на крови народа, он прекрасно знал, что они ни в чем не станут ему противоречить. Парламент, среди Членов которого имелись и такие, что проявляли столько же заботы об их интересах, сколько и об интересах публики, не нашел кстати его удовлетворить.

Кое-кто, обязанные их честью рекомендации, тем не менее, не воспротивились этому открыто. Они попытались, наоборот, согласовать права Короля с правами Народа, внося некоторые предложения, казавшиеся им разумными; но другие, не торговавшиеся столь прямо, провалили их добрые намерения, и появилось более, чем никогда, препятствий к подтверждению нескольких Эдиктов, что Король, или, скорее, его Министр отправил в этот Корпус.

Они сделали гораздо больше. Они тайно представили мятежный отказ, где формально обвиняли Его Преосвященство в разжигании беспорядков в Государстве ради его личных интересов. Они в этом документе восставали также против сторонников, обвинили их в многочисленных взятках, для искоренения которых требовали криминального процесса против них, вплоть до окончательного приговора.

Арест Брусселя

Так как это не могло осуществиться, не вызвав неудовольствия Совета, кому Король поручил ознакомиться с делом, а Двор мог быть только крайне деликатен по этому поводу, поскольку его власть была бы уменьшена, если бы такой процесс имел место, Советники, кто были мудрецами и любителями общественного покоя, ни за что не желали за все это браться. Некто Бруссель, кто был Советником по Ходатайствам, поступил иначе. Он скрывал громадную амбицию под фальшивым рвением к общественному благу. Так как он не мог похвастаться своей удачей, она была достаточно паршива, он задумал исправить ее, заставив себя бояться. Ради [379] этой цели он демонстрировал при всех обстоятельствах свою горячую любовь к народу. Он разговаривал с одними и с другими запанибрата и заявлял, будто Кардинал, дабы помешать ему взять их под свое покровительство, вскоре передаст ему словечко на ухо. Итак, он взялся за это дело с большой дерзостью.

Так как Министр не знал еще могущества этого Корпуса, и никогда он не обучался ни самостоятельно, ни через кого-то еще тому, какую весомость он мог бы придать партии в случае гражданской войны, он презирал поначалу этого Советника, вместо того, чтобы умаслить его, как он должен был бы сделать. Итак, воспользовавшись новой победой, одержанной Месье Принцем де Конде во Фландрии, и примирением, заключенным между ними, он приказал арестовать Брусселя вместе с несколькими другими членами Парламента при выходе с Благодарственного Молебна, отпетого Богу в Нотр-Дам в честь этого успеха.

Удар был дерзок, поскольку это означало нанести оскорбление не только всему населению Парижа, считавшему Брусселя своим покровителем, но еще и Парламенту, что не должен бы быть в настроении безнаказанно стерпеть такие покушения на его свободу; потому немедленно разразились устрашающие беспорядки, да такие, каких Двор и не думал никогда увидеть.

Баррикады Парижа

Этот народ, узнав, что произошло, возвел баррикады, начиная от Нотр-Дам и вплоть до расстояния в один пистолетный выстрел от Пале-Рояля. Все было сделано в один момент и, так сказать, молниеносно. Доложили Кардиналу, и так как Король проживал тогда в этом Дворце, Министр приказал усилить охрану, потому что он не ощущал себя там в безопасности. Одновременно он собрал Совет, дабы выяснить, не должен ли Король выехать из города. Что до него, то он придерживался этого мнения, потому что страх, в каком он находился, не давал ему свободы хорошенько оценить, какие от этого [380] могли возникнуть неудобства; но Месье Ле Телье, принадлежавший к этому Совету, и к кому он питал совсем особое доверие, продемонстрировал ему, как, помимо того, что совершенно неизвестно, позволит ли ему народ увезти Короля, гораздо лучше стоило бы попытаться обезоружить это население мягкостью.

Он меня отправил к первой баррикаде, чтобы ловко разведать, в каких настроениях находились те, кто ее защищал. Я явился туда в тот же час, хотя и существовала достаточная опасность, если бы случайно меня кто-нибудь там узнал. Как только я прибыл, передо мной предстал ремесленник, вооруженный с ног до головы, будто бы он хотел попугать маленьких детишек. Он мне крикнул: «Кто идет?» — грохочущим голосом, дабы все в нем отвечало его одеяниям. Я отозвался: «Да здравствует Король» и «Да здравствует Бруссель» — что чрезвычайно пришлось ему по вкусу. Он раздвинул передо мной заграждение и пропустил меня внутрь баррикады. Я обнаружил там несколько бутылок вина на бочке с каким-то холодным мясом. Тот, кто там командовал, хотел заставить меня пить вместе с ним, дабы, видимо, вынудить меня скрепить слова, что я недавно произнес, выпив за здоровье этого Магистрата. Мы действительно это и сделали, затем он позволил мне идти дальше.

Пока я был там и братался с этой сволочью, чтобы лучше раскрыть ее секреты, Маршал де Граммон явился в Пале-Рояль, после того, как отдал приказ Полку Гвардейцев, чьим Полковником он был, посылать туда же солдат по одному. Несколько Офицеров этого Полка также пробрались туда, и Королева Мать, рассматривавшая все происходящее, как устрашающее покушение на власть ее сына, сочла, что если она повелит маршировать против этих бунтовщиков всех солдат, собранных вместе, те быстро разбегутся; она скомандовала

Маршалу де ла Мейере вести их туда лично. Маршал посчитал себя не вправе проявить меньше храбрости, чем эта [381] Принцесса, в положении, вроде этого, и поскольку у нее хватило отваги принять такое решение, уж он-то должен иметь не меньшую и его исполнить.

Он тут же направился туда, но эта чернь, вместо того, чтобы перепугаться, как предполагала Королева, оказалась достаточно наглой и открыла по нему огонь. Силы были неравны; потому, тотчас же удалившись, и даже осуществив отступление втихомолку, он передал Королеве — если, по меньшей мере, ночь не охладит это население, он просто не знал, как призвать его к порядку.

Шпион на Баррикадах

Я был внутри первой баррикады, когда все это случилось, и, немного продвинувшись дальше после того, как выпил три или четыре стакана, помимо собственной воли, встретился с настолько буйными настроениями повсюду, куда бы ни обращал мои шаги, что пришел в ужас от количества вещей, говорившихся против нынешнего правления и, особенно, против персоны Кардинала. Был там даже один, кто болтал настолько великие глупости, что я счел своим долгом ему их не простить. Однако, так как было опасно позволить ему узнать мои дурные замыслы против него, я прикинулся, будто не только разделяю его чувства, но пошел бы еще и дальше. Я сказал ему, что он не мог бы лучше засвидетельствовать его рвение к народному благу, кроме как открыто выказав свою ненависть к этому Министру; все это, однако, ничего не значит, если не присоединить дела к воле; я знаю секрет, как дать почувствовать Кардиналу ту злобу, какую он к нему питает, и если он захочет разделить со мной опасность, он разделит так же и всю славу. Я говорил это не только для того, чтобы передать его в руки Кардинала, но еще и стараясь рассмотреть, способен ли он, как похвалялся, однажды убить Его Преосвященство. Я вскоре признал по его ответам, что он настолько же опасен, насколько хотел, чтобы этому верили, поскольку он мне сказал в тот же час, что не только готов разделить со мной все, о чем я ему говорил, но еще и пойти на риск совсем один, если я не захочу [382] составить ему компанию. Я притворился более, чем никогда, будто не меньше, чем он, раздражен против этого Министра, и поскольку он буквально требовал сказать ему, как нанести предложенный мной удар, я ему ответил, что знаю место, где Кардинал проходит в полном одиночестве, когда он идет в Совет, и где можно будет свести с ним счеты.

Он был достаточным простаком, чтобы мне поверить, и спросил меня, со шпагой или кинжалом нужно было идти в эту экспедицию, или же с каким-нибудь огнестрельным оружием; я ему ответил, что кинжал был бы надежнее всего остального; по тому простейшему резону, что, нанеся удар, его можно незаметно обронить, дабы в случае преследования и обыска подозрение не упало бы на него.

Угрызения совести провокатора

Двое или трое из его товарищей, весь день устраивавшие дебош вместе с ним, и неспособные ни к какому здравому рассуждению, услышав меня, разглагольствующего таким образом, не только нашли, что я был прав, но еще и ободрили его в этом предприятии. Он же, казалось, и не имел в этом нужды, по меньшей мере, если все хотели верить его словам. Как бы там ни было, он сейчас же хотел отправиться вместе со мной, чтобы как можно раньше совершить это убийство, я счел, что не должен этого позволить, поскольку вполне могло быть и так, что этим планом он был обязан всего лишь винным парам, ударившим ему в голову. Итак, я пожелал перенести дело на следующий день и вынудил его, помимо его воли, этим удовлетвориться. Он мне назначил свидание в кабаре, довольно близко от Пале-Рояля, и заставил меня поклясться, что я появлюсь там между семью и восемью часами утра. Я все ему пообещал, не слишком задумываясь о том, что я больше не буду иметь чести, заманив его в ловушку, какую ему приготовил; итак, поразмыслив над этим, после того, как я его покинул, я решил изменить своему слову, когда один из моих друзей, с кем я об этом поговорил, сказал мне, что по совести я должен следовать моему намерению, потому как здесь уже шла речь о благе [383] Государства; лишь так я помешаю разразиться беспорядкам, а они неизбежны, если поздно или рано тот убьет Министра; наконец, я ни в малейшей степени не должен церемониться, потому что затаить такую злосчастную мысль против Короля или против того, кому он доверил заботу о своих делах, было почти одним и тем же.

Я не особенно удовлетворился словами этого казуиста и был бы рад посоветоваться с кем-то другим. Я пошел искать одного доброго человека, к кому обращался иногда, дабы разрешить сомнения, возникавшие у меня порой по поводу моей совести. Я изложил ему дело, ничего не преуменьшая и не преувеличивая. Он высказал те же мысли, что и мой друг, и я решил им поверить, из страха, как бы от чрезмерной привязанности к собственному мнению я не сделался бы преступником по отношению к Государству.

Итак, на следующее утро я отправился на это свидание, теша себя мыслью по дороге, что, быть может, ночь подала совет моему человеку и плеснула воды в его вино. Но он меньше всего об этом думал; так что, хотя назначенный нами вместе час еще и не прошел, он уже не знаю сколько времени поджидал меня в кабаре, настолько его подстегивала страсть.

Я предупредил Месье Кардинала о намерении этого человека, тут же, как только мне сказали, что я обязан по совести позволить его схватить. Его Преосвященство, кто легко был способен пугаться, задрожал, когда услышал от меня, что существует человек, замышлявший его убить. Он весьма одобрил казуистов, посоветовавших мне выдать его ему в руки, так как я не постеснялся признаться ему, в каком находился затруднении, дабы он не посчитал меня ни льстецом, ни человеком, желавшим попользоваться подле него, потому что он имел всю власть Государства в своих руках.

Как бы там ни было, мой человек уже проявлял нетерпение поскорее оказаться на месте, где надеялся нанести свой удар; он даже не захотел выпить [384] больше одного стакана прежде, чем туда идти. Он застыл на указанном мной месте, а я поместился в десяти шагах ниже его, под предлогом, что если он случайно промахнется, я устроюсь так, чтобы не промахнуться самому. Он был необычайно доверчив для столь злобного человека, каким он и был. По крайней мере, это не совсем обычно, когда человек, способный пойти на такой зловещий поступок, так плохо заботится о предосторожностях.

А, мошенник! А, злодей!

Но страсть ослепила его до такой степени, что он расположен был верить всему, чему хотел, и едва он оказался на своем посту, где царила такая тьма, что мы не могли различить один другого, как он попался, будто в силок. В то же время он прозрел, и, как бы начиная осознавать, что не должен винить никого, кроме меня, в своем несчастье, тотчас сказал: «А, мошенник! А, злодей!» Кардинал, разумеется, приказал бы его убить без всякого дальнейшего разбирательства, если бы посмел, но так как мы живем при Монархии, когда не позволено столь безоглядно прислушиваться к своим страстям, он отложил это дело до тех пор, пока Парламент не будет принадлежать к числу его друзей, чтобы тогда потребовать от него правосудия. Хотя намерение и не наказуемо во Франции, как поступок, но так как этот несчастный вменил себе в обязанность исполнить свой план, надо было рассматривать его действие не только, как нечто задуманное в его сознании, но еще и как исполненное, если бы его не предупредили тем, что было сделано.

Итак, поскольку Его Преосвященство не осмелился дать ход всему своему негодованию, распорядились вызвать к двум часам ночи на кухонный двор карету, чтобы отвезти его в Бастилию. Несколько стражников Прево получили приказ поместиться внутри вместе с ним, дабы доставить его более надежно. Окружить карету не посмели из страха, как бы народ не бросился на них, если бы разузнал, что увозят государственного преступника. Но все эти предосторожности ничему не послужили. Народ, [385] расставивший доносчиков у всех ворот этого Дворца, из страха, как бы не вывезли Короля, узнав, что кто-то выехал в наглухо закрытой карете, остановил ее прежде, чем она смогла преодолеть улицу Пти-Шан. Стражники Прево хотели выскочить наружу, когда услышали, как оттуда спросили их имена, их должности и куда они направлялись. Тем не менее, им не пришлось трудиться на это отвечать, пленник их от этого избавил, сказав, куда они его везли, и причину, по какой он был отдан в их руки. Чернь его освободила, в то же время и стражники были бы не прочь, чтобы и их изгнали подобным образом; но их проводили обратно, наградив тысячей ударов по дороге. Один из них даже умер через несколько дней от побоев.

Народ, однако, верил, что Парламент станет на его сторону, и если не повелит повесить этих стражников, то, по крайней мере, отправит их на галеры; но, не являясь таким уж неопытным и не заводя дела столь некстати и столь несправедливо, чтобы

наказывать людей всего лишь за исполнение приказов Двора, от чего те не могли отказаться, Парламент вскоре предоставил им полную свободу, вместо того зла, какого требовали их враги.

Месье Кардинал был в отчаянии, когда Офицеры Прево отдали ему отчет о том, что случилось с их стражниками. Он испугался, как бы этот человек, вот так ускользнувший от него, не задумал снова нанести свой удар. К его глубочайшему прискорбию, он не был допрошен; итак, он не знал, ни где его схватить, ни как ему самому поступить, дабы избежать того, чего он опасался.

Он послал за мной в то же время, чтобы сказать мне о произошедшем и спросить, не упоминал ли тот в разговоре со мной, кто он такой. Я ему ответил, что не смел его об этом спрашивать из страха возбудить его подозрения; я удовольствовался тем, что заманил его в ловушку, полагая, что всегда сумеют узнать, кто он такой, когда он окажется в надежном месте. [386]

Однако, если он имел основания бояться чего бы то ни было от столь злобного человека, то и я не видел, почему не должен бы остерегаться его подобным образом. Так как он знал, что именно я сыграл с ним дурную шутку, по всей видимости, он постарается за себя отомстить, как только поверит в возможность в этом преуспеть. Я имел все резоны, по меньшей мере, так думать, особенно когда этот человек узнал, кто я такой, после своего ареста. Поскольку Месье Кардинал пожелал, дабы я сам упрекал его в преступлении в присутствии нескольких персон, а те называли меня перед ним, расспрашивая меня о некоторых обстоятельствах, какие я им не особенно внятно объяснил с первого раза.

Девушка необычайной красоты

Мой страх был далеко не безосновательным, и я могу сказать, то, что я выскользнул из всего этого, было настоящим чудом. Этот человек, вновь обретя таким образом свою свободу, ловко осведомился о моем характере и моих привычках, и, узнав, что моей грешной слабостью всегда были Дамы, рассчитал тем легче подловить меня, что не знал о том, как я объявил себя банкротом подле них с некоторого времени. У него имелась сестра, и хотя у нее не было ни особенных одежд, ни других безделушек, так прекрасно служащих для подчеркивания красоты, тем не менее, она была одной из самых очаровательных девиц Парижа.

Он пустил ее по моему следу, и я больше не делал, так сказать, ни единого шага, не обнаруживая ее перед собой. Шел ли я в церковь или в какое-нибудь другое место, она следовала за мной повсюду, ни больше, ни меньше, как если бы была моей тенью. Я не замедлил это заметить, и так как человек всегда слишком хорошего мнения о самом себе, я тотчас уверился, что она нашла меня по своему вкусу. Это заставило меня тщательнее наблюдать за ней, и все мною подмеченное еще более укрепляло меня в этой мысли, потому я сказал ей однажды, когда она опередила меня у кропильницы, куда, как она видела, я направился взять святой воды: «Вы необычайно [387] прелестны, моя девочка, и я давно уже заметил, что для моего счастья не нужно ничего иного, как быть любимым вами». Она сделала мне реверанс с грациозным видом, и как его обычно делают, когда услышанное не вызывает неудовольствия. Я нашел мой комплимент славно употребленным, поскольку она приняла его таким образом, и отдал приказ лакею, находившемуся при мне, проследить за ней до ее жилища и осведомиться у соседей, кто она такая; он отрапортовал мне, что это была честная девушка, или, по меньшей мере, она пользовалась такой репутацией. Он сказал мне в то же время, что она жила под крылышком мамаши, и они обе занимались швейным ремеслом. Когда мой лакей доложил мне обо всем этом, я сделался влюбленным на основании упомянутой им репутации, якобы девица вела себя мудро. Поскольку для меня это совсем немаловажное обстоятельство, вызывающее уважение к особе — вера в ее добродетель; без этого все впечатление, какое может произвести красивое лицо — это зажечь несколько огоньков, живущих не дольше, чем сгорает солома; материя, способная их поддержать — это вера в то, что особа добродетельна; если же такой веры нет, то это растение, умирающее от отсутствия корней, или же

постройка, разваливающаяся сама собой от отсутствия солидных фундаментов.

После этого открытия я первым же делом послал за этой девицей под тем предлогом, что некая Дама желала бы заказать ей кое-какое белье. Я порекомендовал, однако, особе, какую я туда отправлял, не входить к ней, пока она не увидит, что мать вышла, из страха, как бы она не привела мне одну вместо другой. Девица поначалу отказалась идти и хотела дождаться своей матери, чтобы ее повели вместе с ней; но особа, говорившая от моего имени и на все имевшая готовый ответ, сказала ей, что Дама, ради кого она явилась к ней, находилась накануне отъезда из города, и если та не пойдет с ней, она легко найдет другую, кто не будет разводить таких [388] церемоний; тогда девица подхватила свою шляпку и перчатки из страха потерять эту работу. Я умолил одну мою знакомую женщину побыть в комнате одного из моих друзей, дабы ее принять.

Сам себя перехитрил

Эта женщина, далеко уже не Весталка, Знала свое ремесло, так что, отдав ей несколько мужских рубашек в работу, как если бы она имела такое поручение от одного из своих друзей, она ей сказала, что для столь хорошенькой девушки та выбрала себе занятие гораздо ниже ее достоинств. Девица не была удивлена этим комплиментом; должно быть, она частенько слышала подобные из уст тех, кто давал ей работу. Она изумилась гораздо больше, увидев меня, входящего в ту же комнату; она даже покраснела, и я приписал это склонности, что, как я верил, она имела ко мне. Дама в то же время перешла в другую комнату под тем предлогом, что ей еще нужно передать ей какой-то кусок полотна. Так как все было обговорено между женщиной и мной, я не упустил эту возможность и тут же высказал девице все, что я к ней чувствовал.

Однако, дабы лучше ее подготовить, я не преминул заверить ее, что никогда не буду носить никакие рубашки с такой радостью, как те, что выйдут из-под ее руки. Но, наконец, желая перейти к делу, поскольку все это пока еще было лишь взбитыми сливками, я без всяких церемоний сделал предложение снять для нее хорошую комнату и сделать ее моей любовницей. Я в то же время приукрасил мою речь всем тем, что обычно льстит девице. Я даже сказал ей, что она сможет перевезти с собой свою мать, если пожелает, а я буду содержать как одну, так и другую.

Эта девица, кто была, по меньшей мере, настолько же лживой, насколько приятной, принялась плакать при этом предложении. Я сделал его ей дерзко, поскольку предполагал, что, после сделанных ей самой шагов, оно не могло быть ей неприятно. Однако, уже распрекрасно поддавшись на обман, я по доброй воле попался на него еще и во второй раз. [389] В самом деле, ничего не понимая в происходящем, я поверил всему, что ей угодно было мне сказать по поводу тех слез, какие она проливала передо мной. Она мне сказала столь наивным тоном, какой обманул бы любого другого, не только меня, что ей страшно не посчастливилось иметь те чувства, что были у нее, поскольку вместо признательности, какой она ожидала, она нашла во мне лишь беспримерную неблагодарность; иногда действительно видят, это правда, как взаимная любовь приводит к последствиям, подобным тем, что я ей теперь предложил; но, наконец, начинать так с девицей, как я поступил в настоящее время с ней, значит совершенно ее не уважать, да, наверное, я вообще никого не уважаю, кроме самого себя.

Я нашел столько справедливости в ее упреках, что даже не счел себя вправе оправдываться в сказанном о глубине моей страсти — мне показалось гораздо лучшим для меня откровенно признаться ей в моей ошибке. Так я и сделал от всего моего сердца и сказал — она была права, говоря мне все то, что она сказала; я согласился с ней, — мало ли что говорила Пословица, якобы надо сначала узнать, прежде чем полюбить; тем не менее, я не видел в этом для себя никакой необходимости, поскольку она была настолько привлекательна, что достаточно было на нее хоть раз взглянуть, чтобы отдать ей все свое сердце без остатка. Произнеся перед ней такие речи, я сказал ей также, что она со своей стороны была совершенно права, пожелав узнать меня, прежде чем отдать мне свое.

Я добавил еще множество всего такого все в том же тоне и, убедившись, что она этим удовлетворилась, не счел себя несчастным, поскольку она позволила мне придти повидать ее, как только получит согласие своей матери. Она мне пообещала попросить ее об этом тотчас же, как представится случай, а дабы я ничего не опасался, она мне сказала, что эта женщина так привязана к ней, что не откажет ей во всем, чего бы она ни попросила. Она молила меня [390] зайти ее навестить на следующий же день, якобы за моими рубашками, ее мать уже сделает их для меня. Она хотела, чтобы та меня увидела, поскольку, когда та меня увидит, она еще скорее даст ей согласие, которое она собиралась у нее попросить.

Вот так она позолотила мне пилюлю, и я заглотил ее столь удачно, что на следующий день был на свидании. Ее мать находилась там, как она мне и сказала; я не сумею утверждать наверняка, предупредила ли она ее о той шутке, какую желала со мной сыграть, и сыграла-таки в самом скором времени; так как предлог для моего визита к ней был настолько убедителен, что эта женщина могла прекрасно принять меня у себя, вовсе не участвуя в мошенничестве. Но, если она и не была предупреждена в это время, то ее поставили в курс сразу же после, поскольку она позволила мне не только заходить видеться с ее дочерью, но еще и нашептывать ей всякие нежности.

Она принимала их с величайшей грациозностью на свете, и будто бы была к ним весьма чувствительна. Это доставляло мне тем большее удовольствие, что я делался все более и более в нее влюбленным. Между тем, в один прекрасный день, когда я туда направлялся, я встретил за сотню шагов от ее дома одного Гвардейца Месье Кардинала, кто сказал мне, что я нашел себе славную интрижку; моя любовница, разумеется, стоила труда, а он достаточно ее знал, чтобы за это поручиться. Я сделал вид,

будто не понимаю, что он хочет этим сказать. Я потребовал от него объяснения, и он мне тотчас сказал, что это абсолютно бессмысленно; видимо, мне хотелось его перехитрить; он же видел меня ежедневно, как я входил к портнихе и выходил от нее; я не мог к ней пройти без того, чтобы он меня не заметил, поскольку он проживал как раз под ней; а мне все-таки здорово повезло встречаться с ней, когда мне заблагорассудится, потому что он так и не смог добиться этой цели, хотя и сделал для этого все возможное. [391]

Так как я увидел, что его сведения исходили из надежного источника, я не стал больше настаивать. Я согласился с ним на этом факте и спросил его, так ли добродетельна эта девица, как мне рассказывали; он мне ответил, рассмеявшись, что скорее мне, а не ему надо задавать такой вопрос, поскольку за то время, что я с ней вижусь, я мог отдать себе в этом отчет лучше, чем кто-либо другой. Я же ему ответил, что мы совсем недавно познакомились; да и видел-то я ее всего пять или шесть раз, так что он должен был знать ее лучше, чем я, ведь он проживал в ее доме. Он подтвердил мне все хорошее, что я о ней уже слышал, и когда мы с ним распрощались, я думал лишь о том, как бы продвинуть мои дела подле нее, поскольку узнал из тысячи мест, что ее поведение таково, что мне не придется краснеть за мою склонность.

Западня

Однако, два или три дня спустя после этой встречи, когда я явился туда, как обычно, к пяти или шести часам вечера, ее брат нагрянул туда ровно через час в сопровождении троих его друзей, имевших вид настоящих телохранителей. Я был поражен, увидев его, и даже до последней степени. Я тут же угадал, что он явился сюда разделаться со мной. У меня был резон в это верить, и даже когда бы я не поверил, его комплимент осведомил бы меня вполне достаточно. Он меня спросил, что я явился делать у его сестры, и уж не думал ли я, что он это безнаказанно стерпит. В тот же миг он набросился на меня вместе с тремя своими друзьями; защищаться я никак не мог, они застали меня врасплох, и он сказал мне готовиться к смерти, потому что он мне не предоставит больше одного момента жизни.

Если я был поражен его появлением, то еще больше я был изумлен его манерой действовать. Тем не менее, имея довольно живую сообразительность, чтобы заметить одну вещь, которой я был обязан жизнью, я сказал, что если я не могу надеяться получить от него пощады, я умоляю его, по крайней мере, дать мне время приготовиться к смерти, как [392] подобает доброму Христианину; пусть он позволит мне зайти в соседний кабинет, чтобы я мог собраться. Он согласился, и заскочив туда, я захлопнул за собой дверь, запер ее на крючок, нежданно оказавшийся там, и начал колотить ногой в пол, дабы призвать Гвардейца Месье Кардинала ко мне на помощь.

К счастью для меня, он сидел в своей комнате с тремя или четырьмя друзьями, они должны были ужинать вместе с ним. Они слышали шум, поднятый моими убийцами, когда они входили, а главное, бросались на меня. Они не поняли, что бы это могло означать, поскольку не привыкли слышать сверху подобный грохот. Но призыв, что я им выстукивал, позволил им подумать, что там происходило что-то неладное, и они поднялись посмотреть, в чем было дело. Мои убийцы уже было захотели высадить дверь кабинета, где я находился, но когда они услышали соседей на лестничной площадке, их ярость быстро превратилась в страх; они прекрасно поняли, что в самом скором времени их вынудят отдать отчет в их действиях. Гвардеец прибыл к двери вместе со своими друзьями, но ему не пожелали ее отпереть. Я крикнул ему через мою дверь послать за Комиссаром, чтобы силой заставить их открыть. Он услышал мой голос, несмотря на ропот, поднятый этими убийцами, совещавшимися, как им поступить в столь опасной для них

ситуации. Они приняли решение, продиктованное благоразумием — открыть дверь самим, прежде чем прибудет Комиссар.

Так как один человек из Роты Гвардейцев ушел искать этого Офицера, их было теперь четверо против четверых; таким образом, кровопролитие было неизбежно, потому что отчаяние, в каком оказались эти убийцы, заменило им храбрость.

Беспощадная битва

Едва я услышал, как входная дверь открылась, я отпер дверь кабинета, где находился, хотя эти убийцы меня и обезоружили, когда накинулись на меня. У меня не было средства подать особенно большую помощь Гвардейцу и его друзьям, но случаю [393] было угодно, чтобы те, на кого я был зол, обернулись ко мне спиной; я внезапно напал на одного из них сзади и вырвал у него шпагу в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. Он бросился в кабинет из страха, как бы я не убил его ил, как бы его не проткнул кто-нибудь из вновь прибывших. Я нашел удачным, что он оказался там, подумав, что ему не хватит дерзости выйти оттуда, как это сделал я. Так нас стало пятеро против троих, что уже делало схватку неравной. Но отчаянье этих людей уравняло неравенство; они дрались с таким остервенением, что успели ранить двоих из наших людей, когда прибыл Комиссар. Что до них, то они были ранены все трое, и помощь, какую принес нам этот Офицер, сделала нас господами положения; они не могли нам больше сопротивляться, они были схвачены все четверо и отведены в Шатле. Увели туда же и мать с дочерью, и хотя эту мне было жаль, и я порывался ее простить, я рассудил, тем не менее, что не должен был этого делать после столь огромного надувательства с ее стороны. Я позаботился в тот же вечер осведомить Месье Кардинала об этом приключении, и так как не преминул в то же время сказать ему, каким одолжением я обязан его Гвардейцу, вытащившему меня из такой скверной ситуации, он был настолько доволен видеть того, кто хотел его убить, в руках правосудия, что дал Гвардейцу Лейтенантство от Кавалерии в своем Полку. Затем он сделался там Капитаном и был на пути к достижению чего-нибудь еще большего, когда был убит в битве у Предместья Сент-Антуан, имевшей место четыре года спустя.

Освобождение Брусселя

Конец положению с баррикадами Парижа, положившими начало тому, о чем я еще расскажу, тем не менее, весьма огорчил Двор. Матье Моле, первый Президент Парламента, человек коварный и хитрый, кто под внешней простотой и напускной беспристрастностью скрывал сердце, переполненное лукавством и заинтересованностью, был обязан его Корпусом идти требовать у Королевы Брусселя [394] и других Магистратов, арестованных вместе с ним. Это обязательство весьма ему досадило, поскольку он был пенсионером Двора и опасался потерять свои доходы, сделав что-либо ему неприятное.

Так как он пошел не один в Пале-Рояль, а имел при себе Депутатов его Корпуса, ему надо было говорить с Ее Величеством заранее предписанным ему тоном. Королева довольно дурно приняла все, что он сказал, не столько по причине его особы, сколько по причине тех, от чьего имени он явился. Итак, он был вынужден удалиться, ничего не добившись; но народ, по-прежнему остававшийся вооруженным для охраны своих баррикад, принудил его возвратиться обратно, как только он перед ним предстал. Это было сделано даже с угрозой, что если он не преуспеет лучше на этот раз, то ему придется на себе перенести последствия.

Итак, этот Магистрат во второй раз предстал перед Ее Величеством и не стал скрывать примененного к нему принуждения; это поставило Королеву в большое затруднение, поскольку она опасалась принизить власть Короля, ее сына, хоть единым компромиссом. Но первый Президент снова сказал ей, в какой манере обстояли дела на баррикаде, и добавил, что он не может отвечать за последствия, к каким, возможно, приведет неподчинение этих бунтовщиков, если Ее Величество будет упорствовать и не предоставит свободы заключенным; тогда она решилась ему поверить из страха, как бы не довести всех этих дел до крайности. Совет Короля одобрил ее решение, и когда был отправлен приказ выпустить их из тюрьмы, бунт утих точно так же быстро, как и разгорелся.

Дела на этом и остановились, когда моих убийц препроводили в Шатле. Месье Кардинал, имевший там своих людей, приказал им действовать, дабы те были осуждены с предельной суровостью. Они не пожелали его огорчать из-за подобной безделицы, так как они посчитали ни за что жизнь этих мерзавцев по отношению к низменности их [395] происхождений, скорее, чем по отношению к их действиям. Итак, они их

приговорили к повешению, а после того, как те апеллировали к Парламенту, все, чего смог добиться Кардинал, так это приговора об их ссылке. Это осуждение не понравилось ему так, как первое, настолько, что, опасаясь, как бы они не спрятались в Париже вместо того, чтобы выехать из королевства, и как бы они не употребили их время на его убийство, он распорядился выдать королевский указ об изгнании их в Сальс. Если бы он мог выпроводить их еще дальше, то не преминул бы это сделать.

Он отправил Бемо их сопровождать вместе со стражниками; мне вовсе не понравилось такое поручение, и я бы за него никогда не взялся, будь я на его месте; потому я это ему и сказал со всей откровенностью. Я счел себя обязанным сказать это именно ему, чем кому-либо другому, потому что он и я были на равной ноге подле Его Преосвященства, и я опасался, как бы эта его угодливость перед ним не отозвалась потом дурно и на мне. Он мне ответил, что когда имеешь мэтра, ты должен исполнять его приказы, а не критиковать их, таково было его мнение; я же мог делать все, что мне заблагорассудится, он не станет искать этому возражения. Я понял по его ответу, что он готов искать со мной пустой ссоры, лишь бы найти для нее малейший предлог. Это меня удивило, поскольку он сам говорил мне поначалу, что такое поручение ему не особенно приятно. Как бы там ни было, но вовсе не желая иметь дело с ним и еще меньше с Месье Кардиналом, к кому, как я боялся, он хотел бы подольститься за мой счет, я ему сказал, что далеко не порицаю того, что он делает, и готов дать ему мое благословение, дабы он мог уехать без всяких зазрений совести. Я не знаю, сказал ли я ему это с презрительным видом, или же он воспринял это в такой манере, но когда я предстал вечером перед Месье Кардиналом, тот повернулся ко мне спиной, даже не взглянув на меня. Он проделал это столь нарочито, что я не мог [396] сомневаться — он что-то затаил на сердце против меня. Я тотчас приписал это происка м Бемо, и, нисколько не сомневаясь, как он приукрасил то, что я ему сказал, решил прояснить это дело с Его Преосвященством при первом удобном случае.

Я не ошибался; Бемо был человеком, готовым пожертвовать лучшим из его друзей, как только дело доходило до его личного успеха, он не упустил возможности подольститься к Его Преосвященству. Он сказал ему при прощании, что не придал значения словам одного из его друзей, желавшего отговорить его от этого вояжа, под тем предлогом, что его поручение скорее подошло бы стражнику, чем дворянину; но, что касается его, то он от всего сердца сделается не только этим персонажем, но даже и палачом, когда речь идет о службе Его Преосвященству.

Дворянин — не стражник

Месье Кардинал не был особенно ревнив к тому, чтобы служили скорее ему, чем кому-либо другому, как был когда-то Кардинал де Ришелье. Он даже говаривал порой, пользуясь случаем осудить память его предшественника, как далек он от сходства с ним; для него не было большей радости, чем видеть, как его Слуги переходят на службу Королю. Однако, хотя он и хотел казаться таким беспристрастным, но все-таки походил на множество других, не любивших находить что бы то ни было превыше них самих, когда дело заходило об их удовлетворении. Итак, позволив себя уверить в том, что я был большим преступником, поскольку Бемо выдал меня за такового в его сознании, он продолжал не только отводить от меня глаза, но еще и строить мне кислую мину. Я не был ни достаточно доволен им, ни достаточно виновен, чтобы с терпением сносить такое обращение. Если бы я был виновен, я бы первый опустил глаза, сказав себе, что получил по заслугам; и если бы я имел какое-то обязательство по отношению к нему, я, может быть, сказал бы себе, что должен все претерпеть от человека, кому я стольким обязан; но этот Министр ничего еще не сделал для меня, и так как я полагал, что он не должен [397] был оскорбляться тем, что я сказал Бемо, я дождался его однажды в темной аллее, где человек, о ком я недавно говорил, хотел его убить. Я знал, что он проходил там во всякий день, и мне был известен даже час и, так сказать, самый момент его прохода.

У меня не было времени соскучиться, и едва я его увидел или, скорее, услышал его шаги, как я ему сказал: «Монсеньор, ничего не бойтесь, это д'Артаньян; я понял, что Ваше Преосвященство не желает на меня смотреть, и поискал темноты, дабы спросить, в чем я перед вами виноват». Месье Кардинал был весьма поражен, услышав мой голос; он был бы поражен еще больше, если бы не узнал меня, и если бы я ему не представился. Наконец, уверившись в этих двух вещах, он мне сказал, что если не смотрел на меня, то к тому имелись веские причины, и если я об этом догадывался, то мне стоило только припомнить, что я сказал Бемо перед его отъездом. Я ему ответил, что прекрасно помню, как говорил ему такие-то и такие-то вещи, и не только их придерживаюсь, но еще, если бы довелось повторить все сначала, сделал бы то же, что сделал тогда. Я его самого призываю в судьи, пристало ли дворянину вставать во главе отряда стражников, какую бы услугу ему ни предстояло оказать. Каким бы добросердечным он ни был, я убежден, он бы этого не

одобрил, и если надо меня подвергнуть испытанию, он может его осуществить в любой другой ситуации, кроме этой; какова бы ни была опасность, он никогда не увидит меня отступающим, лишь бы во всем этом не заключалось бесчестья, а если все-таки оно там будет, если я смогу поверить, что оно там есть, он увидит, как я тотчас же закроюсь в своей скорлупе.

Он засвидетельствовал свое удовлетворение моим оправданием, и когда Бемо возвратился некоторое время спустя из своего вояжа, я холодно принял его, как человека, кем у меня нет никаких оснований быть довольным. Шанфлери, Капитан Гвардейцев Кардинала, был нашим общим другом и захотел нас [398] вновь соединить, он пригласил нас обоих на солдатский обед к себе, причем мы не знали, ни один, ни другой, что оба приглашены, и еще менее, что нам придется вместе выпивать. Он воспользовался этой возможностью и попросил нас забыть прошлое. Бемо и не требовал ничего лучшего, и, рассудив, что я не должен заставлять себя умолять, тем более, что речь шла более о его вине, чем о моей, во всем, что касалось прошлого, я сделал все, что хотел от меня мой друг. Он заставил нас вместе чокнуться стаканами, и на этом дело было улажено; хотя в глубине души у меня не было большого уважения к моему товарищу, сыгравшему со мной подобную шутку, но я не нашел случая схватить его за руку, хотя и сделал бы это с радостью.

Кардинал-Миротворец

Кардинал получал удовольствие до сих пор от поддержания войны, и, дабы легче добиться такой цели, просто не предпринимал всех необходимых усилий для ее завершения; теперь он изменил политику. Едва он увидел баррикады Парижа, как оценил, насколько был ненавидим и какой опасностью могло бы ему грозить возбуждение нового бунта; он отправил меня в Германию к нашим полномочным министрам в этой стране. Он послал их туда немедленно после того, как сам сделался министром, дабы уверить народ, якобы он желал ознаменовать начало своего правления столь благословенной вещью для Государства, какой всегда был мир. Так как его еще не знали, и Королева Мать ошиблась первой, поверив в момент, когда она доверяла ему этот пост, какой он теперь занимал, что он справится лучше, чем кто-либо другой с этой должностью, поскольку заинтересованность — этот яд, что обычно коррумпирует большинство министров — не окажет на него того же действия, как на бесконечное число других, ведь она же не видела у него ни ребенка, ни наследника, тем не менее, совсем нетрудно было узнать, в каком огромном количестве у него имелись племянники и племянницы. Но он всегда представлялся столь безразличным к ним, что, казалось, о них [399] он будет думать меньше всего на свете, когда окажется на этом месте.

Однако аппетит приходил к нему по мере того, как он становился мэтром великого Королевства; он не думал больше ни о чем, кроме как ловить рыбку в мутной воде, дабы возвыситься не только над своим положением, но еще и над всеми своими надеждами. Для этого, пока он громогласно трубил о своих добрых устремлениях к миру и для доказательства таковых ссылался на отправку полномочных министров, он посылал одному из них секретные приказы порождать там непреодолимые препятствия. Итак, протекло уже несколько лет, а столь знаменитая Ассамблея так ничего и не произвела. Опытные люди признавали, еще более двух лет тому назад, что все это было не чем иным, как настоящим лицемерием. Но, наконец, грозившая ему опасность заставила его увидеть необходимость договориться о мире с иностранцами, чтобы получить возможность защищаться от внутренних врагов, и я повез приказы Месье Сервиену.

Это был один из самых хитрых людей, когда-либо существовавших на свете. Он играл с двумя своими коллегами, будто у них вовсе не было никакого здравого смысла. Правда, один из них не был слишком ловок, и хотя другой отличался

большей опытностью, это не мешало ему частенько обводить их вокруг пальца.

Сервиен, получив эти приказы, вскоре сгладил все трудности, им же самим и порожденные. Он заставил согласиться Шведов, заинтересованных в подписании этого договора, на множество вещей, против которых они восставали прежде — немного пожертвовали там католической религией и оставили этим Народам несколько стран, где она всегда царила до тех пор, и где они ее начали мало-помалу отменять. Отдали также, дабы удовлетворить протестантских Принцев, Епископство Оснабрюкк на раздел между Лютеранами и Католиками. Наконец, Император, кто так же спешил, как и Кардинал, [400] освободиться от страха, что нагоняли на него Венгры и некоторые другие внутренние враги, согласился расчленить Империю в пользу Королевы Швеции Кристины, сидевшей тогда на троне Густава Великого, ее отца, и этот договор был заключен в Мюнстере 12 октября 1648 года. Король Испании и Герцог де Лорен не пожелали принять в нем участия без того, чтобы им не возвратили сделанные ими завоевания. Так как это не могло осуществиться без неизбежного бесчестья для нас, Кардинал, кто был бы рад заставить их сложить оружие, впрочем, как и Германцев, утешался, несмотря на их сопротивление, сознанием того, что каждый узнает, сколько им приложено стараний, дабы сделать мир всеобщим.

ЧАСТЬ 10
Новая миссия в Англии

Кардинал де Ришелье или ссора из-за «Сида»

Возвратившись из этой страны, я получил приказ направиться в Англию, где разыгрывались странные Трагедии. Этот народ, выгнав собственного Короля из его Столицы и дав ему несколько баталий, принудил его, наконец, к роковой неизбежности броситься в объятия Шотландцев. Он, кто должен бы им покровительствовать, был достаточно несчастлив попасть в такое положение, чтобы требовать их покровительства. Англичане, обычно обращавшиеся с этим Народом, как с варварами, едва увидели его в их руках, как решили его оттуда вытащить. Они договорились с кое-кем из главных Шотландцев, что те им его выдадут в обмен на добрую [402] сумму денег. Сделка осуществилась немедленно, и этот бедный Принц сделался пленником своих собственных подданных. Всегда приписывали причину этих беспорядков политике одного великого Министра, кто принимал близко к сердцу славу Государства, управление которым было ему доверено. Но если это и так, он потерял весьма много своего времени, когда хотел сойти за доброго человека, так же, как и за великого политика. Такое поведение вовсе не отвечает тому, что сказано в нескольких набожных книгах, какие он написал; но, может быть, он выпустил их на публику лишь для того, дабы показать, что у него было достаточно разума, чтобы сыграть все персонажи, какие пожелает. Например, мне вспоминается, как он сочинил также одну Комедию в ту же эпоху, и огорчение, что она не завоевала такого же успеха, как пьесы Корнеля, заставило его предпринять все, чтобы основанная им французская Академия осудила «Сида». Он думал — так как она обязана ему своим основанием, она с удовольствием засвидетельствует ему свою признательность слепым угодничеством. Но все произошло как раз наоборот; да настолько, что ему пришлось испытать неудовольствие увидеть себя ободранным еще и с этой стороны.

Как бы там ни было, если заточение Короля и было событием невероятным, этот Народ не остановился и на этом. Раз уже решив действовать преступно против него и подчинить его своим законам, как мог быть им подчинен ничтожнейший между ними, он перешел от мыслей к поступкам. Кромвель, кто сделался знаменитым на все последующие поколения, поднявшись от положения простого дворянина до ранга Протектора трех Королевств, составляющих эту Корону, был уже как бы мэтром этой Нации. Он снискал себе это могущество какой-то волшебной ловкостью, а за ней последовало и почти единодушное согласие этого Народа. Он был одним из самых амбициозных людей в мире, но умел скрывать этот изъян под столь безупречной внешностью, [404] что сказали бы напротив — не существовало еще человека ни менее напыщенного, ни меньшего любителя пустых почестей. Наконец, казалось, настолько умело он играл своего персонажа, что преступная процедура, производившаяся против Его Величества британского, была ему абсолютно не по вкусу, хотя он и не требовал ничего лучшего, как увидеть его, сложившего голову на эшафоте.

Дела обстояли таким образом, когда Королева, его жена, удалившаяся во Францию уже три или четыре года назад, умолила Королеву Мать употребить все ее влияние, дабы помешать, чтобы это злодейство, чей ход она прекрасно предвидела, не зашло гораздо дальше. Кардинал, превосходно себя чувствовавший, пока этот Народ копался в своих внутренних распрях, не позволявших ему вмешиваться в дела его соседей, не принимал чрезмерных забот до сих пор к тушению этого огня, хотя ему было не более трудно, чем Королеве Англии, предвидеть все его последствия.

Но либо он не верил, что они могли зайти так далеко, как все увидели в самом скором времени, или же секретные пружины, что заставляют действовать большинство министров, вынуждали его закрывать глаза на все другие обстоятельства, непосредственно не влиявшие на благо Государства, что было ему поручено, он оставался зрителем всех этих трагедий, не задумываясь о том, что милосердие и даже интересы Короля не позволяли ему быть к ним столь безучастным. Он бы даже и не был разбужен от этой летаргии без настойчивых молений Королевы Англии. Эта Принцесса, совершенно естественно желавшая пустить в дело все средства, лишь бы не увидеть гибели Короля, ее мужа, переговорив несколько раз с Королевой Матерью и ее Министром,

добилась, наконец, что снова посылали кого-то в эту страну попробовать приложить там последнее усилие. Некоторые уже побывали там без всякого результата; либо они имели секретные приказы делать все лишь наполовину, или же они [405] не находили там благоприятных расположений для успеха в их переговорах. Как бы там ни было, Его Преосвященство бросил глаз на меня, чтобы доверить мне дело столь великой важности; он отдал мне приказ явиться получить инструкции из его собственных уст. Не то, чтобы он не должен был отдавать мне их письменно, поскольку приказал Графу де Бриенну, Государственному Секретарю по иностранным Делам, их записать; но так как существовали определенные вещи, секрет которых он сохранял за собой, он не пожелал их ему доверить, и объяснил мне их с глазу на глаз.

Секретный Посредник

Этот вояж не носил государственного характера, хотя я и ожидал этого поначалу. Я даже успел обрадоваться этому заранее, ничего и никому, разумеется, не сообщив. Поскольку я знал, что этот Министр пожелал держать в секрете место, куда мне надлежало явиться, и в самом деле, вместо того, чтобы об этом разгласить, он, напротив, захотел, чтобы я не только проник инкогнито в эту Страну, но еще и направился бы по совсем другой дороге, чем по той, что туда ведет. Ничего не стоило, таким образом, сбить со следа всех тех, кого бы разобрало любопытство по поводу моего пути; итак, вместо того, чтобы направить меня в сторону моря, он заставил меня обратиться к нему спиной.

Я начал мою дорогу с Шампани, и, проехав через Седан, вручил письмо Месье де Фаберу, кто почти из ничтожества поднялся до достоинства Наместника этой провинции, тогда одной из самых значительных во всем Королевстве. Он имел странную репутацию, а именно, будто бы он во всякий день разговаривал с тем, кто зовется духом, и хотели верить, уж не знаю ради какого резона, якобы тот предупреждал его о будущем. Я знаю, впрочем, или почти что знаю, на чем это было основано; просто он всегда любил определенные книги, не слишком рекомендованные для чтения, и похвалялся, будто бы ему явилось видение, когда, он был в девяти или десяти лье от Парижа, в замке, принадлежавшем Герцогу [406] д'Эпернону. Я не сумею сказать точно, была ли эта его репутация верна или же нет. Это превосходит мои познания, и единственное, что я могу утверждать, так это то, что человек он был остроумный. Потому Кардинал де Ришелье, кто распорядился отдать ему это Наместничество, не предпринимал более ничего, не спросив предварительно его мнения. Кардинал Мазарини не делал поначалу ничего подобного; не то, чтобы он не знал почти все, на что тот был способен, но просто он хотел заполучить для себя или для кого-нибудь из своих ставленников его Наместничество над Седаном, как он сделал с должностью Тревиля.

Фабер не пожелал ему его отдать, и это породило у Его Преосвященства мысль его погубить. Он даже решился на это тем более, что Фабер был в весьма хороших отношениях с Месье де Шавиньи, его отъявленным врагом. Фабер, распознавший его злонамеренность, не стал унывать по этому поводу. Так как мы живем во времена, когда вполне довольно заставить себя бояться и вовсе не заботиться потом стать для кого-то любимым, он

воздерживался от поездок ко Двору из страха быть там арестованным. Он сделался маленьким королем в своем Наместничестве, как случалось тогда делать то же самое определенному числу Наместников. Кардинал был этим встревожен, и дабы воспрепятствовать ему броситься в объятия врагов, он изменил поведение по его поводу. Однако, так как он по-прежнему вынашивал те же замыслы на его счет, он старался завлечь его в Париж под самыми различными предлогами. Он все еще намеревался его там арестовать. Но Фабер, кто был ничуть не менее хитер, чем он сам, и у кого хватало добрых друзей при Дворе, дабы предупреждать его обо всем, что там происходило, никак не хотел выезжать из своего места, и он находил к тому добрые резоны — то ему докладывали, что если он удалится, враги воспользуются этим моментом для осады города, а то он сам затевал какое-либо предприятие, требовавшее его присутствия. [407] Кардинал прекрасно понял, что это означало, и рассудил, что было бы совсем некстати просить у него более полных объяснений.

Добрый Советчик

Дела оставались в таком положении в течение некоторого времени, но, наконец, Фабер, желавший еще дальше распространить свой успех, видя, что если он захочет направиться этой дорогой, ему придется завоевать доверие этого Министра, изучил его характер, дабы получить возможность ухватить того за его слабую сторону. Он вскоре выяснил, что его всепоглощающей страстью была скупость, потому он ему предложил кое-какие средства уменьшить расходы на его гарнизон и кое-какие меры, дабы наши войска, опустошавшие страну точно так же, как это сделали бы враги, если бы они туда вошли, не продолжали их беспорядков; они сделались столь добрыми друзьями, что все стало теперь не так, как прежде. Кардинал ему писал регулярно во всякую неделю, и то ли он уверовал, что посредством духа, о котором я недавно говорил, тот был бы более способен, чем кто-либо другой, подать ему совет, но он начал подражать Кардиналу де Ришелье, то есть, консультироваться с ним обо всем, как это делал тот Министр.

Я распознал их совершенное согласие, как только представил ему письмо, что Его Преосвященство передал мне для него. Поскольку после того, как он взглянул на меня, будто стараясь вырвать у меня хоть несколько слов, так как видел, что я смотрел в сторону, ничего ему не говоря, он меня спросил, рассчитываю ли я преуспеть в моем вояже. Я ему ответил, что не знаю, о каком вояже ему угодно было говорить, но он сказал, что я вовсе не должен был с ним хитрить, когда сам Месье Кардинал осведомил его обо всех делах; едва я убедился в том, что он говорил правду, как ответил ему, что не могу ручаться за мой будущий успех, и мог бы сказать лишь одно — я намерен употребить на его достижение все мои силы. Вы их там употребите, — сказал он мне, — в этом я совершенно убежден без всяких клятв с [408] вашей стороны. Но, или я сильно ошибаюсь, или же вы вернетесь, ничего не добившись — ваш вояж только поторопит осуществление дурных намерений этой нации против ее Короля, поскольку она не любит, чтобы иностранцы позволяли себе свободу вмешиваться в их дела. Я ему ответил — быть может, она дважды поостережется, прежде чем это сделает, поскольку она, без сомнения, будет опасаться, как бы у нас не установился мир с Испанцами, так же, как он был установлен с Германцами, и как бы две короны не обрушились потом на нее, когда она меньше всего будет об этом думать. Он мне возразил — поостеречься самому и не делать им подобной угрозы, поскольку это будет как

раз самым верным средством все испортить; это заставит их заключить договор с Испанией, вовсе не желающей мира, и уже слишком ясно засвидетельствовавшей это, отказавшись войти в тот, что был подписан в Мюнстере. Этот отказ был продиктован единственной надеждой, что мы сами рассоримся внутри нашего Государства; и Испания не так уж неправа, веря в это, поскольку умонастроения предрасположены во Франции в такой манере, что при первом удобном случае мы увидим странные перевороты; Кардинал нанес безрассудный удар, когда распорядился арестовать Брусселя и его компаньонов, и он должен был бы предвидеть, чем это обернется; но, наконец, даже совершив ошибку, он должен был стоять на своем под угрозой смерти; выпустить же этих заключенных, как он и сделал, означало желать, чтобы тебе самому навязывали закон во всех обстоятельствах; он не замедлит убедиться в этом, и хотя гроза внешне и улеглась, он вскоре увидит, как она разбушуется вновь и станет в тысячу раз ужаснее, чем прежде. Что до остального, то Англичане были слишком близкими нашими соседями и имели слишком хороших шпионов у нас, чтобы не знать обо всех этих движениях; именно это придает им дерзости устраивать процесс своему Королю, именно это и приведет его к самой жалкой гибели. [409]

Его рассуждение было весьма справедливо; так и Месье Кардинал шепнул мне на ухо перед тем, как я уехал, хорошенько остерегаться всего, когда я прибуду в эту Страну; если я увижу, что все там безнадежно для Его Величества британского, то я его оставлю погибать, как и другие, поскольку желать ему что-то гарантировать ничему бы не послужило. Более того, в какой бы манере ни разворачивались там события, я всегда должен думать о том, что интересы Короля и Государства не требовали особенно быстрого и надежного примирения умонастроений в этой Стране, чтобы они снова могли противостоять нашим внешним предприятиям.

Обходные пути

Я задержался на два дня в Седане, где этот Наместник потчевал меня весьма отменными угощениями, хотя он и не содержал особенно деликатного стола, как делало множество других Наместников. Он думал скорее о составлении достояния своего семейства, впрочем, достаточно многочисленного, чтобы быть уверенным, что ему не доведется умереть без наследников. Я распрощался с ним, и, спустившись по Мезе до Льежа, переехал оттуда в Колонь (Имеется в виду Кельн. А. Засорин), где рассчитывал найти их Курфюрста. Мне нужно было вручить ему письма от имени Его Преосвященства, но, не застав его там, я вынужден был поехать в Брюль, где он находился. Это загородный дом, принадлежащий тем, кто владеет этим Курфюршеством. Я справился с моим поручением, что было не так уж и трудно; это письмо не содержало ничего, кроме комплиментов, весьма, однако, заинтересованных, как все, что обычно делал этот Министр. Так как он предвидел нисколько не хуже, чем Фабер, что его судьба была не слишком обеспечена; после того, что произошло, он старался заручиться убежищем подле этого Курфюрста на случай, если в этом будет нужда. Тем не менее, так как он знал, что дары неплохо служат для поддержания дружбы, вместе с письмом я привез Курфюрсту изображение Святой Девы — подарок Его Преосвященству от Герцога Савойского. [410]

Я простился с Курфюрстом после того, как два дня прожил при его Дворе, не имевшем ничего, достойного одобрения для суверенного Принца. Я даже нашел, что его манеры не слишком хорошо отвечали величию его происхождения. Он оставался целый день взаперти, никому не показываясь на глаза, и занимался там поисками философского камня, по меньшей мере, если верить тому, что о нем говорилось. Это было причиной того, что у него никогда не водилось ни единого су, поскольку, вместо того, чтобы жить, как подобало персоне его достоинства, он все свои доходы пускал в трубу. Не то, чтобы у него было недостаточно еды за столом, но все там было так дурно приготовлено, что, когда выезжаешь, как сделал я, из такого места, где все привыкли к столь славной кухне, как во Франции, можно смело сказать — они там просто помирали с голоду. Оттуда я явился в Брюссель, куда мог ехать наверняка, благодаря паспорту, что Его Преосвященство прислал мне в Брюль. Там я не виделся ни с кем, только переночевал и отправился в Остенде, где, как я выяснил, имелось судно, готовое отплыть в Англию. Это судно было устроено наполовину по-торговому, наполовину по-

военному, и мы не сделали на нем более трех или четырех лье, как увидели другое судно под флагом Франции.

Так как наше несло флаг Испании, едва они опознали одно другое, как приготовились, как с той, так и с другой стороны, к битве. Их силы были примерно равны, но буквально через один момент это равенство исчезло, поскольку мы увидели на горизонте некий корабль, спешивший к нам, будто за каким-то неотложным делом. Он был гораздо ближе к Французскому судну, чем к нашему, так что те могли намного раньше, чем мы, различить, чей он был. Он был испанским, и как только французы его опознали, они пустились наутек, вместо того, чтобы направиться к нам. Итак, два испанских судна пустились за ним в погоню; они даже подошли к нему так близко, что я было поверил, будто они его захватят. [411]

Это глубоко меня опечалило, и горе отразилось на моем лице; в тот момент я не расслышал, как меня осыпали ругательствами, но вдруг получил удар палкой, что почти оглушил меня. Я повернул голову в направлении удара, пытаясь рассмотреть, кто это был столь дерзок, чтобы обойтись со мной таким образом, и увидел, что это был Капитан судна. Хотя я и надеяться не мог отомстить за себя, не поплатившись за это жизнью, тем не менее я взял в руку шпагу, чтобы всадить ее в его тело. Ничто бы не помогло ему ускользнуть от моего негодования, если бы он предусмотрительно не покинул меня. Когда его бегство вот так лишило меня противника, некий Кавалер испанской Мальты, человек одного из первых Домов во всей Андалузии, увидевший его жест, тотчас взял в руку шпагу, не для того, чтобы помочь мне убить того, кто меня оскорбил, но дабы помешать его солдатам, кому тот сказал меня убить, исполнить его команду. Он мне крикнул ничего не бояться, и он скорее погибнет, чем позволит этому грубияну еще больше измываться надо мной.

Всеобщее почтение перед ним произвело такой эффект, что эти солдаты не посмели продолжать их предприятие. Даже пассажиры, довольно многочисленные на этом судне, приняли нашу сторону, чтобы помешать наносить нам оскорбления. Матросы, думавшие прежде лишь о том, как бы настигнуть французское судно, бросили их усилия и явились посмотреть, в чем было дело. Так как именно наше судно наиболее близко нагоняло француза, а другое, преследовавшее его, не было особенно легким на ходу, он воспользовался этой передышкой, чтобы спастись от опасности, и мы вскоре потеряли его из виду.

Другое судно подошло к нам, дабы узнать, почему мы его не захватили. Они нашли нас вооруженными, одни против других, и застыли, совершенно потрясенные. Однако, когда тот, кто меня оскорбил, пожелал защитить свое поведение перед Капитаном корабля, этот последний сказал ему, что тот был не [412] кем иным, как грубияном, и он давно уже почитал его за такового; он был раздражен тем, что не мог немедленно оказать мне правосудия, но поскольку я плыл в Англию, он даст мне добрый совет — пожаловаться Послу Испании, кто сейчас же велит того арестовать. Я был не слишком доволен этим средством, я нашел его мало способным меня удовлетворить после нанесенного мне оскорбления. Я хотел, чтобы мне позволили проткнуть его шпагой или, по меньшей мере, изрезать ему лицо, как он распрекрасно того заслуживал. Но, наконец, увидев, что я только понапрасну растрачу силы и все равно никогда не получу позволения, я ответил тому, кто, казалось, был по-доброму настроен ко мне, что Посол, быть может, не будет знать, как взять этого скота, и таким образом я не получу вообще никакого удовлетворения.

Он мне ответил, что тому так или иначе придется выгрузить его товары в каком-нибудь порту Англии; они были явно на счету каких-то английских торговцев; и вот там-то его и схватят. Однако он мне сказал, пытаясь меня утешить, что ничего хорошего и нельзя было ожидать от человека, вроде этого Капитана. Он был вероотступником и корсаром, и Его Католическое Величество никогда бы не принял его на службу, если бы не рекомендация одного из главных членов его Совета; покровительство, найденное им подле этого Министра, вовсе не заслуживало того, чтобы им хвастаться; тот добился его, лишь предложив ему рабыню, купленную им где-то в Берберии; теперь у этого Министра прошла его фантазия, и не следовало бояться, будто он будет покровительствовать ему и дальше.

Этот Капитан, настолько же достойный человек, насколько другой был скотиной, сделав все возможное, дабы смирить мой гнев, предложил нам подняться на свой борт, Кавалеру Мальты и мне, после того, как пообещал мне, что сам будет моим переводчиком подле Посла Испании. Он направлялся в Лондон, и он нас туда доставил. [414]

Мы прибыли туда, так сказать, не успев опомниться, настолько попутный ветер был нам благоприятен. Этот Капитан сдержал данное мне слово сразу же по прибытии. Он рассказал Послу все, что со мной приключилось, и потребовал у него правосудия от моего имени. Я был в большом затруднении, следовало ли мне идти к Послу, боясь, как бы мой визит не вызвал неодобрения Двора при настоящих отношениях двух Корон. Затруднение, в каком я находился, хотя и заняло мое сознание на некоторое время, но, в конце концов, я отделался от моих сомнений. Я решил, что визит, какой я ему нанесу, не имел ничего предосудительного по отношению к службе Короля. Итак, я явился его повидать и был им отлично принят; едва я поведал мою историю, как он уже вынес суждение, более выгодное для меня, чем я мог бы надеяться; затем он спросил, что я явился делать в этой стране. Он тотчас же заподозрил, как я признал это позже, что я был послан по поручению Двора, и по тому, как он оглядывал меня с ног до головы, я понял, как бы ему хотелось сделаться волшебником, чтобы узнать мои мысли. Я обманул его, и дабы он не мог ничего опасаться, ответил ему, что некое дело во Франции обязало меня оттуда выехать; я бился против одного из моих родственников, и так как дуэли там запрещены под угрозой тяжких наказаний, я не имел никакого покоя, пока не добрался до надежного места.

Как я ни старался скрыть, кем я на самом деле был, я так и не смог его уверить в небылице. Он расспросил меня обо всех подробностях моей так называемой битвы. Я не готовил заранее мою ложь, по крайней мере, как должен был бы это сделать, чтобы не показаться лжецом; потому, когда я рассказал ему первое, что пришло мне на ум, ему не составило труда узнать, что все это было враньем, поскольку у него были люди на местах; они-то и доложили ему правду. [415]

Я нашел, однако, обстоятельства столь безнадежными для успеха моего посредничества, что, следуя полученным инструкциям, счел некстати замолвить о нем хоть единое слово. Совсем напротив, я старался втереться в доверие к Кромвелю, для кого у меня имелись верительные грамоты. Так как он был лукавым политиканом, он рассылал шпионов по всей стране, и они отдавали ему отчет обо всех тех, кто въезжал или выезжал из

Англии, лишь бы они казались подозрительными. Так он узнал о моем появлении в тот же самый день, когда я ступил на эту землю. Более того, так как с тех пор протекла целая неделя, и у него не осталось никаких сомнений, что если я настолько затягиваю с визитом к нему, значит, я что-то заранее изучаю, я сделался для него еще более подозрительным, чем был для Посла. Он поостерегся мне это выразить и, напротив, обошелся со мной с сердечностью, способной обмануть гораздо большего, хитреца, чем я; он мне сказал, что весьма обязан Месье Кардиналу за предложение услуг, какие тот желал бы ему оказать; он будет иметь честь сам ему написать, и так как он никогда так хорошо не засвидетельствует в письме признательность, достойную его доброты, он будет мне крайне благодарен, если я пожелаю высказать ему ее еще и на словах.

Встреча с Кромвелем

Он сопроводил эту столь услужливую фразу бриллиантом, что вполне мог бы стоить две сотни пистолей. Он пожелал, чтобы я его принял, и я не захотел от него отказаться, из страха, как бы Месье Кардинал не нашел это дурным. Это лишило бы меня последних подозрений, если предположить, что они у меня были прежде. Однако, будто все сговаривались меня обмануть, как со стороны Посла, так и с этой стороны, это Превосходительство приказал арестовать оскорбившего меня Капитана, как только стало известно, что произошло в Грейвзенде. Он велел мне передать в то же время, что свершит доброе и краткое правосудие, и я не мог в этом усомниться, поскольку, действительно, он приказал [416] посадить того в тюрьму. Правда, против него имелись и другие жалобы, кроме моей, не меньше заслуживавшие, чтобы из него сделали назидательный пример, как и за то, что он выкинул против меня.

Однако, хотя все эти почести и утешили меня в моей явной неудаче, но вместо того, чтобы погрузиться на пакетбот и возвратиться в Кале, как намеревался прежде, я нанял специальную барку между Дувром и тем местом, где стоят две башни, что моряки называют обычно двумя сестрами. Я это сделал по приказу Месье Кардинала; он не только написал мне поступить именно так, но еще приказал высадиться подле Булони, в одной бухте, ее названия я сейчас уже не припомню. Он меня уведомил, что там я найду новости от него, и чтобы я не преминул исполнить от точки до точки все его наставления.

Я не позаботился о сокрытии моего отъезда, поскольку не верил, будто что бы то ни было меня к этому обязывало. Но едва я уехал из Лондона, как Кромвель, с одной стороны, и Посол, с другой, снарядили в дорогу людей, чтобы меня похитить. Они не сомневались, что я должен был отправиться по пути к Дувру и не сходить с него вплоть до прибытия; но так как у меня был приказ заручиться баркой и направиться туда, куда мне велено было плыть, они меня потеряли по дороге. Они узнали, что я заключил сделку с одним судохозяином и удалился в сторону Булони. Они подыскали себе другого, каждый со своей стороны, чтобы опередить меня, если возможно; но они потратили время на поиски, пока не нашли, что им было нужно, и я уже был в безопасности на земле, когда они еще находились более, чем за три лье от меня. Так как эти две барки следовали тем же курсом, каким прошел и я, и искали они обе одну и ту же вещь, едва они завидели одна другую, как сочли, что это как раз то, за чем они

гнались. Итак, они пошли на сближение одна с другой, и так как все они были вооружены мушкетами, только они приблизились на расстояние выстрела, как начали палить друг в друга безо всякой пощады. [417] Я еще был на берегу, но не знал, что бы это могло означать. За первым залпом последовал другой, потом они пошли на абордаж и тогда лишь увидели, хорошенько разглядев одни других, что там и следа не было того, что они искали. Они насчитали по двое или трое человек убитых с каждой стороны, и, вдобавок ко всему, один из судохозяев был ранен пулей навылет. Этот судохозяин явился сделать перевязку в то самое место, где находился я, и так как он меня не знал, и его спросили, ради какого резона передрались люди, что были вместе с ним, он наивно рассказал все, что об этом знал.

Отвратительная миссия

Я был в восторге, что так славно выкрутился. Я нашел там приказы, о каких говорил мне Месье Кардинал, и так как надо было снова выйти в море, счел за лучшее дождаться, пока эти люди удалятся, дабы не попасть им в руки. Отправленные мне приказы состояли в том, чтобы взять на борт испанского шпиона, кто явился подстрекать к беспорядкам Парламент, и бросить его в море, прежде чем вернуться, когда мы будем в четырех или пяти лье от рейда. Так как он не требовал ничего, кроме моего свидетельства, и я не должен был принимать ни малейшего участия в казни, я счел, что не мог ему не подчиниться.

Он отправил этого бедного мерзавца на место, не объявив ему столь жестокого приказа. Напротив, его заверили, будто он возвратится в свою страну. Я не знаю, что он думал по дороге, поскольку не здесь проходил самый короткий путь. Но, наконец, когда отплыли на полу-лье от берега, и не боялись больше, что он огласит воздух своими жалобами, не притворялись больше и сказали ему его приговор. Он был страшно поражен этой новостью и сильно кричал против совершенной с ним несправедливости. Она не была, однако, особенно великой, и он наверняка заслужил смерть, поскольку человеческое право не позволяет делать то, что он сделал. Он, тем не менее, заявлял обратное, и поскольку был отправлен некой Властью, с ним не могли обращаться ни как с [418] предателем, ни как со шпионом. Но, как бы он ни протестовал против своего приговора, ему надо было пройти через это. Итак, он с этим смирился, видя, что для него это было неизбежностью, и так как те, кто его сопровождали, взяли с собой исповедника, он покаялся в грехах, потом претерпел свою казнь с большей стойкостью, чем выказал сначала.

Я возвратился затем туда, откуда явился, и, сев в почтовый экипаж за лье оттуда, проехал через Булонь, где не преминул повидать Месье Домона, кто был Наместником как этого города, так и всей округи. Довольно было того, что я принадлежал к людям Кардинала, чтобы быть у него прекрасно принятым. Это был человек сугубо политичный и сугубо преданный власти. Он волшебно меня угостил, и, отдохнув там до следующего полудня, я снова сел в почтовый экипаж и прибыл ко Двору, что был еще в Париже.

Королева Англии, долгое время не получавшая новостей от Короля, ее мужа, и крайне этим опечаленная, узнав, что я вернулся из этой страны, послала мне сказать, так как я имел

честь быть с ней знакомым, что она будет счастлива со мной побеседовать.

Так как ничего хорошего я не мог ей сказать, я подумал сначала притвориться больным, лишь бы не быть обязанным туда идти; но, рассудив, что так не может продолжаться вечно, и, кроме того, она непременно отправит кого-нибудь ко мне, я решился ей подчиниться. Итак, я туда явился, но, не говоря ей всего, что знал, я настолько замаскировал настоящее положение вещей, что она не узнала ничего нового. Я ей сказал, что Короля так плотно охраняют в течение двух или трех месяцев, что говорить о его положении можно лишь предположительно; я видел в этой стране Милорда Монтегю и некоторых других из его самых верных слуг; они так же этим удручены, как и она, а этот Милорд переодел своего племянника, чтобы можно было надежнее приблизиться [419] к Королю, но тот был схвачен на месте и посажен в тюрьму.

Казнь Короля Англии

Это обстоятельство было мне чрезвычайно выгодно для того, чтобы уверить ее в том, что я говорил, но так как эта Принцесса была бесконечно проницательна, она сказала мне, что она погибла, а по той манере, в какой я с ней говорил, она прекрасно поняла, что покончено также и с Королем, ее супругом. Я постарался, как мог, успокоить ее тревоги, но так как у человека часто появляется тайное предчувствие его несчастья, она горько плакала, и ни я, и никто из ее окружения никак не могли ее утешить. Она не так уж была и неправа, рассудив, что дела ее плохи; и в самом деле, Англичане дошли до такой степени злодейства, что заставили их Короля появиться на скамье подсудимых, чтобы дать там отчет в своих поступках; видели никогда невиданное до сих пор, такое, о чем даже никогда не слыхано было прежде, видели, говорю я, как подданные выдали себя за судей их Государя и приговорили его к смерти.

Вся Европа была не просто удивлена столь гнусным отцеубийством, но еще и странно застонала. Однако никто не взялся за него отомстить, по крайней мере, соседние Могущества, поскольку большая их часть вела войну между собой, а были даже и такие, что были обременены, так же, как и Англия, гражданскими войнами. Мы, к несчастью, принадлежали к их числу, и баррикады Парижа произвели столь страшное действие, что, как со стороны Двора, так и со стороны Народа, имелись все вообразимые предрасположенности к смуте, что, по всей видимости, не погасла бы особенно скоро. Королева Мать была в отчаянии от того, что ее принудили, можно сказать, с кинжалом к горлу, вернуть свободу человеку, кого Совет Короля, ее сына, нашел достаточно виновным, чтобы у него ее отнять. Народ со своей стороны, опершись в его бунте на Парламент, надувался спесью, видя, как его увенчали выгодным успехом, вместо положенной кары, и был готов к любому неповиновению. [420]

Парламент Парижа и начало Фронды

Двор не осмеливался больше выпускать Эдикты без того, чтобы Народ не находил им возражений; а так как нужды Государства требовали выпускать их ежедневно, или по крайней мере, Министр с легкой совестью в этом уверял, во всякий день в Парламент представлялись Ходатайства, дабы не терпеть больше такого вспарывания глотки всему Королевству ради обогащения одного человека, чья скупость была такова, что он никогда не будет доволен, пока не разжиреет на крови всего Народа. Этим достаточно указывали на Кардинала Мазарини, чьи бережливые настроения, если не называть их чем-нибудь похуже, вызывали всеобщую яростную неприязнь. Когда же оказалось недостаточным такое объяснение, чтобы его узнали, вскоре его назвали формально, дабы ни у кого больше не оставалось сомнений. [421]

Парламент был в восторге, что таким образом обращались к нему, дабы он служил посредником между Королем и его Народом. Некоторые члены этого Корпуса, обладавшие добрым аппетитом, сочли, что это даст им средство обделать их делишки, но так как Кардинал не был особенным либералом, они вскоре увидели, что им придется многое уступить, если они хотели положиться на это. Те, кто заметили, что им надо заставить себя бояться, дабы вырвать у него хоть что-нибудь, изменили тогда свою тактику и начали отделять его от всего остального, что подавало повод к ропоту. Они обвинили его в преднамеренном затягивании войны ради личных интересов, а так как они не могли доказать это по поводу войны во Фландрии, то обратились к тому, что происходило в Германии между Сервиеном и его коллегами, дабы знание о прошлом послужило предубеждением для того, что осуществлялось в настоящее время. Они составили еще множество других обвинений против него, и так как. это означало протрубить призыв к гражданской войне, Кардинал решил их опередить.

Король выезжает в Сен-Жермен-ан-Лэ

Королева Мать сама была к этому предрасположена. Итак, в Крещенский сочельник эта Принцесса вывезла из Парижа Короля, ее сына, кому Кардинал дал уже странные впечатления об этом городе; она удалилась в Сен-Жермен-ан-Лэ, замок, расположенный на вершине горы, омываемой у подножья водами Сены. Там ни о чем больше не говорили, как об осаде этих

бунтовщиков, и Месье Принц де Конде, кто не считал ничего для себя невозможным, пообещал это Королеве, или, по меньшей мере, их блокировать, хотя у него и не было более десяти-двенадцати тысяч человек для столь огромного предприятия.

Парламент был бы весьма удивлен известиями о таком намерении, если бы он не предвидел его заранее. Однако, так как все их предвидение не доходило до такой степени, чтобы заготавливать впрок продовольствие для такого громадного Народа, [422] а кроме всего прочего, это было бы даже и абсолютно невозможно, он счел, что сделает лучше, если поищет примирения, а не будет подвергаться упрекам, неизбежным для него, если бы он стал причиной народной гибели. Множество бедных людей, кому предстояло много страдать, было действительно ни при чем в тех секретных движениях, что всех их заставляли действовать. Голод наступал на них, и не могло быть никакого сомнения, в какой манере разовьются события.

Поскольку, наконец, так как столь огромное население перебивается обычно лишь со дня на день, было не только совершенно ясно, что когда ему не будет хватать хлеба, оно тотчас обвинит Парламент, но еще, может быть, оно сделает его за это ответственным. Вот эти соображения и обязывали этот Корпус не подталкивать события так далеко, как кое-каким из его членов очень бы хотелось. К тому же наиболее мудрые были бы рады оправдаться во множестве вещей, в каких их обвиняли. Самые зоркие говорили, что во все их собрания входило больше происков и амбиций, чем рвения об общественном благе.

Итак, они отрядили кое-кого из них в Сен-Жермен, с предложением вернуться к исполнению долга на определенных условиях, тем не менее, еще показывавших, что если они и не хотели стать полноправными мэтрами, то по меньшей мере, не думали уступать тому, кто должен им быть. Это не понравилось Королеве Матери; она была предупреждена еще до их отбытия из Парижа, какие предложения они намеревались ей сделать. Итак, когда их выпроводили, не пожелав даже выслушать, Парламент настолько вознегодовал, что выдал решение против Кардинала. Он был объявлен там врагом Государства, и в таком качестве недостойным того места, какое занимал. Этот корпус в то же время отдал приказ охранять город, а так как это не могло осуществиться без войск, он объявил о нескольких новых мобилизациях, как в Кавалерию, так и в Пехоту. [423]

Месье де Лонгвиль, недавно прибывший из Мюнстера, где находился во главе ваших Полномочных министров, скорее по причине его происхождения, чем заслуг, вместе того, чтобы выразить признательность за милость Двора, выбравшего его, а не

кого-либо другого для столь важного поста, первым же заявил себя его Противником. Он покинул Сен-Жермен, куда поначалу последовал за Королем, и явился предложить свои услуги Парламенту. Этот Корпус их с радостью принял, а так как его неповиновение послужило примером для нескольких других Вельмож, он заявил, поскольку его ранг при Дворе был выше, чем у них, что его предложения службы этому Корпусу могут быть действительны лишь при возведении его в звание Генералиссимуса его армий, хотя обязан был уступить его другому, кто был еще более знатен, чем он.

Со шпагой вместо креста

Принц де Конти, или соблазнившись поменять свой крест на шпагу, поскольку он был Аббатом Сен-Дени, или, может быть, отправленный Принцем де Конде, его братом, дабы получить еще через его посредничество немного влияния на Парламент, что он сам подрастерял, объявив себя его противником, также явился в Париж с теми же намерениями, как и Герцог де Лонгвиль. Таким образом, он привел к согласию нескольких Герцогов и некоторых других знатных персон, не желавших подчиняться Герцогу де Лонгвилю. Они требовали предварительно взглянуть на грамоту, какой похвалялся его Дом, и что давала ему право следовать непосредственно за Принцами крови. Они не верили, будто эта претензия настолько надежно обоснована, что они не могли бы ее оспорить, особенно, когда они не видели, чтобы он пользовался ею при Дворе, где они наблюдали всякий день, как Принцы Савойского и Лотарингского Домов оспаривали у него первенство. А так как Герцоги настаивали на том, что они никогда не уступали тем, то соответственно они не должны были уступать ему. Но, если таковы были их претензии, Маршал де ла Мотт Уданкур, кто [424] был недоволен Кардиналом, и кто с намерением отомстить за себя, поскольку тот засадил его в тюрьму, откуда он с трудом выбрался, тоже явился предложить свою голову и шпагу Парламенту и выдвинул против них свое право, казалось, гораздо более обоснованное. Он заявил, что их титулы Герцогов никак не могли равняться его званию, когда речь шла о Командовании армией, и что Маршалы Франции были несравненно выше их с этой точки зрения. Наконец, все эти различные претензии, может быть, послужили бы причиной еще и другой войны, кроме той, что готова была разгореться, когда Принц де Конти всех их привел к согласию своим прибытием. Те, кто оспаривали это командование у Герцога де Лонгвиля, не осмелились оспаривать у истинного Принца крови то, что они

готовы были отстаивать один против другого со шпагами в руке. Итак, когда заканчивалось это разногласие, Месье Кардинал сказал мне приготовиться к возвращению в Англию. Я взял на себя свободу напомнить ему, что я был подозрителен Кромвелю, кто намного увеличил свое могущество со дня зловещей смерти Карла I. Этот человек, ставший одним из самых великих политиков, когда-либо существовавших в Европе, после того, как узнал на опыте, что Англичане были способны предпринять все, что угодно, лишь бы сохранить их. свободу, заставил их уничтожить звание Короля, под чьим правлением они всегда жили, дабы заявить, якобы у них отныне Республика. Он настолько их обольстил, что они чуть ли не целовали следы его шагов и не раздирали его одеяния на куски, чтобы наделать из них себе столько же реликвий. Действительно, никогда не видано было столь великой дружбы к человеку, как та, что этот Народ проявлял к нему поначалу. Он сделал еще и гораздо больше в их пользу. Так как простой Народ, освободившись из-под королевской власти, рассматривал, как своего рода рабство, влияние Высшей Палаты в Парламенте, он устранил ее, как уже сделал с Королевством. Невозможно передать, какими [425] благословениями осыпало его население. Оно устраивало иллюминации в течение нескольких дней, и так как его встречали восторженными воплями каждый раз, когда он появлялся на публике, Его Преосвященство счел его способным с этих пор преуспевать во всем, что он пожелает предпринять.

Отъезд в Англию

Эта мысль, вместе с той, что явилась ему в то же время, завязать тесную дружбу с Кромвелем, стали причиной того приказа, о каком я только что сказал. Он обратил внимание на мой ответ по этому поводу, и так как знал, что меня преследовали люди этого нового тирана, так же, как и Посла Испании, мое замечание, может быть, и произвело бы на него какое-нибудь впечатление, если бы он не считал меня более способным, чем кто-либо другой, приспосабливаться к этой стране. Он собирался не только отправить комплименты Кромвелю по поводу его могущества, увеличивавшегося день ото дня, но еще и выявить тех, кто пользовался наибольшим влиянием подле него, дабы расположить их к себе своей щедростью.

Итак, он дал мне заемные письма на двадцать тысяч экю, сказав, что если мне потребуется больше для исполнения его распоряжений, мне стоит лишь предупредить его, и он мне их

немедленно вышлет. Вот почему ничто не должно было мне помешать делать авансы вплоть до той суммы, какую я найду необходимой им пообещать. Я поехал, как бы против собственной воли, в эту страну. Едва Кромвель меня увидел, как он меня узнал. Он тотчас спросил, не обману ли я его и теперь, как в прошлый раз, и добавил, что мне здорово повезло вырваться из его рук; если бы я попался ему при тех обстоятельствах, он бы не мог сказать, в какой манере он бы со мной обошелся, потому что это бы зависело от тысячи вещей; он мне прощает в настоящее время, когда нет больше опасности, особенно, если я ему сообщу, что я снова явился делать в Англии.

Кромвель, говорил со мной с такой добротой и сердечностью, что я решил наивно признаться ему [426] во всех делах. Я не принял предосторожностей, что при этом я отступлю от того характера, в какой я преобразился. Я прекрасно знал, однако, по портрету, составленному человеком этого века, будто бы имевшим много разума, что народный Министр, вместо того, чтобы строить из себя персонаж, какой я намеревался изобразить, должен скорее уметь врать со значительным видом. Это, по меньшей мере, определение, какое он дает, и оно недурно придумано по отношению к персонажу, что большинство тех, кто берутся за подобные поручения, разыгрывают во всякий день на глазах у всей Европы. Итак, освободив себя от всей этой политики, даже если я и считал ее неотделимой от моего достоинства, я сказал Кромвелю, что он не был неправ, заподозрив, что я был чем-то другим, нежели представлялся, поскольку в первый раз я действительно явился с другим намерением, чем сделать ему простой комплимент; я имел приказ выяснить, в каком состоянии находились дела Карла, и вести себя в соответствии с тем, что мне о них удастся узнать; он не должен бы находить мое поведение дурным, поскольку если он поставит себя на место Месье Кардинала, то признает, что не сделал бы меньше, чем тот.

В узком кругу с Кромвелем

Ему понравилось мое простодушие, и он мне сказал, — насколько лучше можно сделать дела своего Мэтра в согласии с правдой, как это сделал я, чем стараясь их замаскировать; он пожелал быть одним из моих друзей при условии, что я буду принадлежать к числу его друзей; он просит в этом моего слова, так как убежден, — когда я его ему дам, я его не нарушу. Я счел себя крайне польщенным такой манерой поведения и сказал ему, что вовсе не в моей дружбе я осмелюсь его заверить, но в

глубочайшем почтении; он мне весьма учтиво ответил, чтобы я оставил за дверью почтение, и предоставил ему то, о чем он меня просил. Я постарался ответом, исполненным уважения и смирения, не нарушить его доброго мнения обо мне.

Наконец, эта встреча меня бесконечно [427] удовлетворила, и я попытался воспользоваться честью, какой он меня удостоил, чтобы предложить ему то, что Месье Кардинал мне порекомендовал. Я сказал ему о страсти, с какой Его Преосвященство желал бы стать одним из его друзей, а она была такова, что он не упустит ни малейшего случая ее доказать. Он мне ответил, рассмеявшись, что я исполнял мой долг, пытаясь его в этом убедить, и если бы он захотел исполнить свой, он бы мне посоветовал не настолько уж доверяться слову Кардинала, чтобы служить ему заложником; этот Министр явился из страны, где не устраивают себе закона из всего, что обещают; истинная правда, не существует такого общего правила, у какого не было бы своего исключения, но, наконец, быть Итальянцем и Государственным Министром великого Королевства, такого, каким была Франция, и в то же время исполненным искренности, это были две вещи почти несовместимые; он скажет это ему самому в лицо, как он говорил об этом мне, и чем больше Кардинал найдет возражений, тем больше будет доказательств, что он ему сказал правду. Он принялся в то же время зубоскалить вместе со мной над всеми гримасами, что строят друг другу при большинстве Дворов, спрашивая меня, были ли когда-нибудь Франция и Испания лучшими друзьями от всех тех посольств, что они направляли одна другой, а также и от всех тех союзов, что они заключали? Я не мог сказать ему ничего другого, кроме того, что считал его абсолютно правым. Ему еще раз понравилось мое чистосердечие, и когда мы расставались таким образом, он сказал мне, что хотел бы пригласить меня пообедать в кругу семьи, прежде чем я возвращусь во Францию; он не мог лучше отметить свое уважение ко мне, и он всегда поступает так лишь со своими добрыми друзьями; наконец, сбросить с себя вместе с ними свое достоинство означало показать им, что не желаешь застать их врасплох в какой бы то ни было манере.

Полковники Харрисон, Мэлми и Лэмберт были [428] самыми близкими его соратниками. Он сам представил меня им, и они все трое устраивали мне угощения, но слишком они были строгими и слишком роскошными, чтобы можно было поверить, будто все это от чистого сердца, так как, когда дают застолья своим друзьям, не разводят столько церемоний. Я был в восторге, что он сам познакомил меня с теми, кто был ему близок, и я устроил им всем троим ответное угощение, и оно ничуть бы не

уступало их собственным, если бы у меня был дом, так хорошо обставленный, как бы мне хотелось, чтобы их там принять. Но так как в этой стране не существовало подобных тому, что находится в Сен-Клу у некого Денуайе, все, чего, могло недоставать моему празднику, так это того, что место, где мы пировали, вовсе не отвечало сделанным мною затратам. Правда, я ничего не упустил, тем более, что рассчитывал поставить это все на счет Месье Кардинала. Я был уверен, что он не сможет на это возразить, поскольку ради его интересов, а вовсе не ради моих, я их обхаживал, и он никогда меня не попрекнет ни единым словом.

Скупость Его Преосвященства

После этого я сделал все, что надо было сделать, и все, что могло подсказать мне благоразумие, дабы привлечь этих трех Полковников к партии Кардинала. Но так как Посол Испании меня опередил и наобещал им золотые горы, лишь бы они оставались глухими ко всем предложениям, что могли бы быть им сделаны с моей стороны, я нашел этих людей столь непрошибаемыми, что мне было совершенно невозможно их смягчить. Я известил об этом Месье Кардинала и сообщил ему в то же время, что, по моему мнению, было тому причиной. Он мне ответил — хотя Индии и снабжают Испанию сокровищами, каких у Франции не имеется, так как наша Корона всегда побеждала другую, надо попробовать еще, когда представится удобный случай, чтобы я ничего не жалел, и я не буду опровергнут, какими бы ни были расходы, что я должен сделать. Я уже предлагал мои двадцать тысяч экю, дабы их [429] подкупить. Они сочли это за безделицу, и, должно быть, Испания пела на другой лад, раз уж они так меня запрезирали. Наконец, это письмо было составлено в столь точных выражениях, что я поверил, будто могу дойти до ста тысяч экю, если будет нужда. Мне удалось провернуть гораздо лучшую сделку, поскольку, пообещав шестьдесят тысяч, я заставил их согласиться сделать все, что пожелает Месье Кардинал. Я поделился этим с Его Преосвященством, весь исполненный гордости за победу, какую я одержал над Послом; но полученный мною ответ, вместо того, чтобы меня обрадовать, странным образом меня ошеломил. Кардинал меня извещал, что по той манере, в какой я действовал, он удивляется, как это вместе с шестьюдесятью тысячами экю я не предложил еще и Корону Короля, моего Мэтра; ему абсолютно нечего делать с их дружбой за такую цену, и ему гораздо больше нравится обойтись без нее, чем покупать ее столь дорого. Он приказал мне в то же время вернуться, но, не желая ничего делать, пока я не сниму с

себя вину перед этими тремя Сеньорами за измену моему слову, я сделал это как только можно лучше, но чувствовал себя при этом крайне неловко.

Когда я возвратился в Париж и захотел поставить в счет, представленный Его Преосвященству, сделанные мной затраты для их ублаготворения, он мне сказал, что я просто смеюсь над ним, и все это мне повычеркивал. Он мне сказал также, что если бы ему надо было оплачивать все пирушки, что угодно будет закатывать его Слугам, всех доходов Короля на это не хватит, а те, кто приглашают других плясать, должны и оплачивать музыку; и лишь я один такой, кто пожелал его к этому обязать. Жесткая манера, в какой разговаривал со мной Его Преосвященство и от какой попахивало выговором, показалась мне невыносимой. Я поговорил об этом с Месье де Навайем, кто был его фаворитом или, в достаточной мере, его ушами, чтобы передать ему, [430] когда он с ним заговорит, вое, что у меня имелось ему сказать.

Я ему сказал, что решил покинуть Кардинала, не в силах больше терпеть дурного обращения, что сносил от него во всякий день; я умолял его попросить у того моей отставки, а я ему буду за это весьма признателен. Так как он был одним из моих друзей, он спросил, не смеюсь ли я над ним, разговаривая с ним подобным образом; он не тот человек, чтобы мне поверить, а если бы он даже, это и сделал, то это была бы самая дурная услуга из всех, какие он когда-либо мне оказывал; если я не хотел потерять время, проведенное на службе Его Преосвященства, надо было запастись терпением, и то, что он не делал за один день для своих Слуг, он делал это со временем; истинная правда, он мог бы воздержаться и не говорить мне всего того, что он мне наговорил; но что должно меня утешить, так это то, что я не единственный, кто сносит его грубости; он сам от них не избавлен, точно так же, как и другие, но так как этот Министр держит в своих руках все милости Королевства, и проистекать они могут только по его каналу, надо не просто закусить губы, когда чешется язык пожаловаться на свои обиды; но еще и задушить негодование, что может зародиться в сердце; надо принимать и дурное и хорошее от людей, с кем имеешь дело, и решиться иногда проводить скверные часы, дабы однажды получить наилучшие.

Я действительно нуждался в подобных наставлениях, чтобы привести в порядок мой рассудок, настолько он был возбужден против этого Министра. Не то, чтобы расходы, какие он свалял на меня, особенно меня заботили, хотя у меня в то время каждая монета была на счету, но мне казалось, и это было правдой, что даже если бы правота была на его стороне, а это далеко не было

правдой, можно было бы в более достойной, чем у него, манере сделать выговор. Но таков уж был у него характер, и хотя он был самым большим мошенником из всех людей, он имел еще и такую особенности что часто, вовсе не [432] скрывая своих мыслей, объяснялся в таких выражениях, какие были в тысячу раз оскорбительнее для тех, о ком шла речь, чем если бы он мог заподозрить их в неверности или нечестности.

Бормотание Кардинала

Несколько дней спустя убили одного Лейтенанта Гвардейцев при взятии какого-то замка во Фландрии, и так как вопреки совету, данному мне Месье де Навайем, я решил покинуть Кардинала при первом удобном случае, я попросил у него эту должность, что снабдила бы меня прекрасным предлогом для собственного удовлетворения. Он внимательно посмотрел на меня, и, боясь, как бы он не сказал мне еще какой-нибудь грубости, я заранее прикусил язык, потому что почувствовал определенную чесотку поговорить с ним, как надо, если он опять начнет меня хулить. Но, вместо того, чтобы сказать мне что-либо неучтивое, он ответил со своим бормотанием, от какого так и не смог никогда избавиться, вплоть до самой смерти:

> «Месье д'Артаньян, никогда не узнаешь о человеке по виду; я вас всегда принимал за орла, и я вижу, что вы всего лишь птенец. Хочет меня покинуть ради Лейтенантства в Гвардейцах; знайте, Капитан в этом полку сочтет за счастье обменяться своей должностью с вами, и дать еще вам двадцать тысяч экю впридачу. Наместничество — малейшая вещь, на какую может надеяться один из моих Слуг. Взгляните-ка, что за прекрасное сравнение — Лейтенантство в Гвардейцах или Наместничество».

Другой на моем месте утешился бы таким отказом из-за прекрасных надежд, что он мне посулил; но так как это был самый большой обманщик на свете, а уж я его знал лучше, чем кто-либо, я не счел себя от этого особенно неуспевшим. Наоборот, я вообразил, что этот отказ исходил из того факта, что у него имелся какой-нибудь покупатель под рукой, предлагавший ему наличные деньги за эту должность. Я не ошибся; некий деловой человек выторговывал ее у него для своего сына. Однако, такой пост не предназначался для особы столь низкого [433] происхождения. Когда я прибыл в Париж, такого сорта должности

были заняты исключительно людьми первейшей знатности, но так как происхождение не казалось ему чем-то достойным наибольшего уважения, и он гораздо больше значения придавал богатству, он бы отдал ее и человеку еще более скромному, чем этот, лишь бы тот пожелал дать ему за нее на пятьдесят пистолей больше.

Герцог де ла Фейад, кого Король удостоил не так давно должности Мэтра Лагеря этого Полка, сделал в эти дни некую вещь, доказывавшую, что он немного походил на этого Министра, за тем исключением, что он поубавлял спеси, когда ему не хотели дать того, чего он просил, а Его Преосвященство не отступался вплоть до того, пока сам не убеждался, что ему не на что больше надеяться. Сын одного откупщика из моих друзей, пожелав купить в эти дни Звание в Гвардии у знакомой ему и мне особы, заключил с ним сделку в четырнадцать тысяч франков; когда же он пожелал получить согласие Герцога прежде, чем просить о нем у Короля, Герцог ему сказал, что он не принимает этой должности от того, кто ее ему продавал, и что он хотел бы сам продать ему подобную, находившуюся в его распоряжении. Сын откупщика был в восторге, поскольку счел, что это облегчит ему принятие в Полк. Но, когда они заговорили о цене, другой пожелал получить две тысячи луидоров под предлогом, что стоившее бы дворянину четырнадцать тысяч франков должно стоить двадцать две тысячи простолюдину, вроде него. Он хотел, таким образом, проверить, что говорится обычно о черни, а именно, что они проникают на Должности через позолоченные ворота. Но хотя он был таковым от отца к сыну и вплоть до тысячного поколения, ему больше понравилось вообще не вступать в Гвардию, чем вступить туда, отдав на восемь тысяч франков больше, чем было нужно.

Заметки по поводу амбиции

Когда Месье Кардинал отказал мне в такой манере, я решил сделать то, что посоветовал мне Месье де Навай, то есть, запастись, терпением до тех пор, [434] пока Его Преосвященству не будет угодно дать мне какое-нибудь положение в свете. Случилось так, что Месье Кардинал вскоре воздал по справедливости Бемо и мне, одному за другим. Так как он считал его более способным, чем меня, охранять его зал, а меня более способным, чем его, вращаться в армии Короля, он дал ему Лейтенантство в своих Гвардейцах, а мне должность, подобную той, о какой я его недавно просил. Так мы были удовлетворены, как один, так и другой, и я постарался служить в моей должности таким образом, чтобы не задерживаться в ней. Поскольку, когда

тебя подталкивает добрая амбиция, хотя и добился, чего желал, ты вскоре желаешь чего-нибудь еще лучшего. Человек имеет такую особенность, что он никогда не доволен своей удачей — он всегда надеется на нечто новое, и даже Король не лишен этой слабости, хотя, казалось бы, чего уж может не хватать исполнению его желаний. Да, вот так я называю слабостью это нетерпение, заставляющее нас никогда не довольствоваться нашим настоящим положением.

Кардинал, после того, как вывез Короля из Парижа, постоянно возбуждаемый Королевой Матерью и своим собственным негодованием отомстить за общие оскорбления, что они получили от Парламента и Парижан, теперь уже ненавидевших ничуть не менее одного, чем другую, хотя нельзя было сказать, будто они подали к тому равный повод, Кардинал, говорю я, решив в своей душе не оставлять их бунт безнаказанным, держал Совет с Месье Принцем де Конде, как он должен за это взяться, дабы добиться успеха.

Месье Принца отводили сначала от этого решения его настоящие друзья и его добрые и преданные слуги. Они убеждали его в том, что он потеряет таким образом дружбу этого Корпуса, а ведь его отец, чей пример он не мог презирать, поддерживал ее с такой заботой, что всегда ставил ее в число вещей, наиболее для него драгоценных. Но Кардинал, кто, если уж он в ком-то нуждался, не гнушался пойти на [435] любые низости, лишь бы добиться, чего он желал, встал перед ним на колени и умолял его не бросать его интересы, в данном случае настолько связанные с интересами Государства, что можно было сказать — они были одними и теми же. Он сделал еще много больше, он примирился с Президентом Перро, Интендантом этого Принца, кого не мог выносить прежде, потому что, под предлогом достоинства и влияния своего Мэтра, этот Президент желал иметь почти такую же силу в делах, как если бы он был первым Министром. Так как он был естественно горделив, как почти все люди, явившиеся из ничтожества, он говорил весьма громко не только, когда дело касалось интересов Месье Принца или его собственных, но еще и кого бы то ни было, состоявшего на службе его Мэтра. Он был Президентом Счетной Палаты, что уже было много для него по отношению к его происхождению, но так как он был как раз из тех, о ком я сейчас говорил, то есть, из тех самых людей, что никогда не бывают довольны их удачей, он желал быть Парламентским Президентом.

Принц де Конде, вняв желаниям Его Преосвященства, к чему немало усилий приложила Королева Мать, заклиная его не бросать ни ее сына, ни ее в столь грозных для них

обстоятельствах, приказал маршировать своим войскам со стороны реки Сены, ниже Парижа. Малое их число помешало им овладеть всеми выгодными постами, и так как Шарантон принадлежал к тем, что не были заняты, Принц де Конти, кто был назначен Генералиссимусом сил Парламента, отправил туда две тысячи человек под командованием Маркиза де Шанлье. Тот наскоро воздвиг баррикады, чтобы защищаться в этой ничего не стоившей дыре. Граф де Бранкас, придворный Кавалер Королевы Матери, попытался вытащить его из неповиновения, пока тот не заявил о нем еще очевиднее. Они были близкими родственниками, и узы крови, что особенно дают себя почувствовать во времена вроде этих, придали ему дерзости [436] ничего от того не скрыть, дабы заставить его признать свою ошибку; но так как другой жаловался на Кардинала, будто бы он оставлял того в забвении, чтобы выдвигать людей, послуживших гораздо менее его, тот никак не пожелал ему довериться.

Битва при Шарантоне

Месье Принц де Конде, опасавшийся, как бы Парижане не принялись поддерживать этот пост, удаленный едва ли на лье от их предместий, сам направился в эту сторону, хотя такое худо укрепленное местечко было недостойно его присутствия. Он поместился за стенами, окружавшими Парк Венсенн, с кое-какой Кавалерией, отдав приказ своей Пехоте охранять Аббатства Конфлан и Каррьер. Он поручил Герцогу де Шатийону совершить эту атаку, и так как тот всеми силами хотел стать Маршалом Франции, он понадеялся, что Кардинал, принимавший близко к сердцу это предприятие, зачтет ему это гораздо больше, чем все то, что он мог бы сделать в других местах. Месье Принц воспользовался стенами Парка Венсенн, как укреплением, чтобы не быть подавленным количеством, поскольку Парижане не могли явиться к нему иначе, чем через бреши, что он сам же велел проделать, и что видны еще и сегодня в том же состоянии, в каком он их оставил. Герцог де Шатийон, всегда показывавший себя достойным того великого имени, какое он носил, после разведки того дома, что, по мнению Шанлье, он должен был атаковать со стороны Парижа, поскольку эта сторона казалась наиболее слабой, нашел его столь надежно укрепленным, что решил с ним не связываться. Он предпочел обратиться в сторону собора, имевшегося у монахов в этом Местечке, хотя он был, естественно, более крепок, чем с другой стороны, и Шанлье бросил туда какую-то Пехоту захватить с фланга тех, кто выдвинется с этой стороны; но так как он пренебрег устроить там

траншеи, как сделал по всем другим местам, а искусство частенько превосходит природу, он оказался схваченным как раз с той стороны, с какой вовсе не ожидал.

Он помчался туда сам, чтобы его защитить, и [438] подвергался тем большему риску, поскольку боялся, как бы его не обвинили в пренебрежении мерами предосторожности из-за глупой самонадеянности. Он обещал Парламенту, что, благодаря тому количеству войск, какого он требовал, он сохранит этот пост или же будет погребен под его руинами. Итак, при превосходной обороне и не менее мощной атаке вскоре можно было увидеть, как с той и другой стороны пало множество людей, но не разобраться, за кем же остался верх.

Герцог де Шатийон, сопровождавший Месье Принца во всех его победах и в атаках на большинство городов, павших перед ним, рассердясь, что это местечко еще сопротивляется ему после стольких великих свершений, сделал тогда последнее усилие, чтобы заставить согнуться противостоявшие ему войска. Он в этом преуспел и, выгнав их из их укреплений, приказал сровнять их с землей, чтобы освободить себе проход для дальнейшего продвижения. Так его люди пробились на улицу, что вела к Собору. Шанлье сопротивлялся как нельзя лучше, и так как он помнил о слове, данном им Парламенту, он позволил там себя убить, сделав все, что только мог сделать человек разума и отваги.

Герцог де Шатийон, не находя больше ничего, что оказало бы ему сопротивление после смерти Шанлье, направился к Собору; он, разумеется, рассчитывал, что те, кто там были, сложат оружие и сдадутся в плен без боя. Но тогда, как он меньше всего опасался дурной участи, он получил ранение, от которого сначала потерял сознание. Немедленно доложили Месье Принцу, кто был бы этим гораздо более разозлен, чем был на самом деле, если бы он не был влюблен в его жену; но так как Герцог с недавних пор сделался весьма неудобным мужем, а этот Принц не любил быть стесненным, он сказал Гито, стаявшему рядом с ним, что Герцогу вовсе не стоило быть настолько ревнивым, раз уж ему оставалось так мало времени жить. [439]

Люди Герцога не оставили, невзирая на его рану, завершения завоевания, какое он начал. Войска Шанлье почти все были изрублены в куски, хотя смерть их Командира должна была бы сделать их менее дерзкими. Тем временем раненого перенесли в Венсенн, куда со всех сторон потянулись медики и хирурги. Король послал ему своих, и Месье Кардинал сделал точно так же, и он наверняка избежал бы смерти, если бы это зависело только от помощи; но его рана была смертельна, так что он прожил лишь

до следующего дня. Его Преосвященство, у кого я еще служил, послал меня засвидетельствовать ему, какое горе он испытывал по поводу его положения. Я нашел Герцогиню, его жену, подле него. Она со всей поспешностью явилась из Сен-Жермена, узнав, что он был при смерти. Не то, чтобы она питала к нему большую дружбу, у нее было слишком много любовников, чтобы любить еще и мужа; и так как это была самая красивая особа при Дворе и наиболее кокетливая, он признал, но немного поздновато, что должен был поверить своему отцу, сказавшему ему перед свадьбой, что частенько опасно жениться на чересчур красивой женщине. Я нашел его совершенно растроганным подле нее; либо он сожалел, что покидает ее, или же, поскольку ему было всего тридцать лет, он не мог перенести своего несчастья с той же твердостью, как если бы был постарше. Шарантон таким образом был взят, Месье Принц вернулся в Сен-Жермен вместе с Герцогом д'Орлеаном, кто пожелал поприсутствовать при этой акции.

Смерть Герцога де Шатийона

Кардиналу сказали, что из Парижа вышло более двадцати тысяч человек, дабы этому воспротивиться, и Месье Принц обратил их в бегство с единственным эскадроном. Одно было правдой, другое же нет. Правда состояла в том, что двадцать тысяч человек действительно выходили из этого огромного города, но вовсе не для атаки на него. Они удовольствовались тем, что высунули нос, не осмелившись на большее; но так как этот Министр был большим [440] любителем курить фимиам, даже не осведомившись больше, сказали ли ему правду или нет, он воскликнул, как только его увидел: «Месье Принц, что отныне будут делать Испанцы, если вы один убиваете больше народу, чем это делает целая армия?» Он в то же время попросил его показать ему его шпагу, видимо, предполагая, что она обагрена кровью бедных Парижан; но Месье Принц вовсе не желал восхвалений ни за что; впрочем, даже когда они были им заслужены, он ничуть не больше о них заботился; потому он просто рассказал ему, как было дело. «А, что вы говорите, подхватил тот, — я далеко не отрекаюсь от того, что сейчас заявил, я сожалею о них еще больше, один ваш вид для них более опасен, чем вид Василиска; обратить в бегство двадцать тысяч человек, лишь взглянув на них, это поистине свершение, присущее только вашему Высочеству».

Он наговорил ему еще множество смехотворных похвал, лучше прозвучавших бы из уст бродячего комедианта, чем из уст первого Министра Государства. Я даже полагаю, что такова была и мысль Месье Принца. Как бы там ни было, Генералы Парижан

все были пристыжены тем обстоятельством, что у них под носом взяли пост, какой им легко было удержать; они попытались смыть позор каким-нибудь более значительным завоеванием. Однако, просто не существовало таких, что могли бы принести им большую честь. Все, что мы удерживали выше и ниже Сены, ничего не стоило, и не заслуживало даже названия городка. Единственный город Мелен имел кое-какую репутацию по причине своей древности, так как он был построен до Юлия Цезаря, по меньшей мере, об этом нас извещают его «Записки».

Стычки среди полей

Но так как не древность делает город значительным для войны, а если бы это было и так, ничто не шло в сравнение с городком Трев, однако, ничего не стоившим, потому они и не нацеливались на это место, поскольку река разделяла его на три части, можно сказать, почти на три города, и они боялись, [442] что им придется раздробить их силы для атаки, тогда как Месье Принц нападет на них, а они не смогут и помочь одни другим. Итак, они ограничили их великие замыслы овладением Бри-Конт-Робер и несколькими другими местечками.

Когда эта новость достигла до ушей Месье Принца, он пожелал покинуть Двор и соединиться со своей армией, удерживавшей, по крайней мере, пятнадцать или двадцать мест в стране. Он поместил ставку Короля в Сен-Дени, потому что это место казалось более значительным, чем другие, не только потому, что оно является усыпальницей наших Королей, но еще и из-за близости его к Парижу. Но Кардинал и Королева Мать заявили ему, что места, подверженные атаке, недостойны его присутствия; он позволил себя тем проще разубедить, что у него имелось несколько любовных интрижек в Сен-Жермен, делавших его пребывание там более приятным. Маршал дю Плесси принял его место. Граф де Грансей, впоследствии Маршал Франции, и кто был тогда Генерал Лейтенантом, отделившись от его армии, атаковал Бри-Конт-Робер. Этот город у начала Бри со стороны Парижа сделал вид, будто защищается, потому что было бы постыдным сдаваться, находясь у ворот столицы, откуда можно было надеяться на помощь; но никто не появился отогнать Графа от его стен, поскольку Маршал встал между двумя городами и помешал этому, и они тотчас попросили о капитуляции. Затем несколько других атакованных городов сделали то же самое, и никогда не видели большей трусости, чем было выказано со стороны Парижан, поскольку, хотя у Маршала дю Плесси была всего лишь горстка людей, они так и не осмелились показаться

перед ним. Правда, когда из Сен-Дени войска были выведены в поле, и осталась там одна Рота швейцарцев, неспособная его защитить, они захватили это место, льстя себя мыслью, что этим взятием они оправдаются от хулы, справедливо им воздаваемой за потерю всего остального без малейшего сопротивления. Но, если они и [443] хвастались этим завоеванием, однако, совершенно неспособным смыть их позор, их похвальбы вскоре были задушены прибытием Месье Принца. Он покинул Сен-Жермен, чтобы отобрать это место, и сделал это под самым их носом, так что они не посмели воспротивиться.

Месье Кардинал был в восторге от всех этих маленьких экспедиций, что, хотя и незначительные сами по себе, теснее сжимали блокаду вокруг Парижан. настолько, что те начали испытывать нужду во всем. Они должны были бы обратиться к их Генералам, а те должны были бы открыть им проходы; но так как они не думали больше ни о чем, все, сколько их там было, от первого до последнего, как бы только лично заключить какое-нибудь выгодное примирение с Двором, и они остерегались, как бы Народ не прослышал о их секретах, потому что это было бы уж слишком большой наглостью, они находили трудности на каждом шагу, а Парламент не мог разобраться, правда это была или нет, в самом деле, вовсе не его ремеслом было решать все это, и ему приходилось волей-неволей полагаться на их слово. Ненависть всех тех, кому доводилось страдать, обрушивалась, тем не менее, на него, потому что они резонно обвиняли его в разжигании войны ради его частных интересов. Так как их недовольство и нищета, что во всякий момент увеличивались в городе, были способны возбудить какое-нибудь восстание, этот Корпус оказался в сильном замешательстве и начал признавать, но немного поздно, что никогда не уклоняются от подчинения, каким обязаны своему Государю, не находя при этом громадных затруднений. Все начало даже казаться ему подозрительным вплоть до его собственных членов, потому что некоторые из них, по примеру их Генералов, вступали во взаимоотношения с Двором, стараясь добиться от него какой-либо милости, прежде чем пообещать ему вернуться к исполнению своего долга. [444]

Месье Кардинал, и не требовавший лучшего, как только увеличить подозрение их собратьев к их поведению, далеко не покончив с ними, держал их в неведении, тогда как украдкой посвящал других во все предложения, что были ему сделаны. Он использовал меня в этих случаях, и я ему весьма полезно служил.

Галантная интрига

Я знал жену одного Советника, она была кокетлива до такой степени, что желала весь свет видеть у своих ног. Я служил ей в соответствии с ее наклонностями, потому что мне это стоило всего лишь слов, и не больше труда сказать женщине, что она прелестна, чем когда это делают другие, частенько повторяя это вопреки истине, вместо того, чтобы сказать, что они думают на самом деле. Ее кокетство поначалу не нравилось ее мужу, уверенному в том, что удел мужчины, чья жена пребывает в подобных настроениях, вскоре стать тем, кем столькие другие уже являются; но время и опыт научили его, хотя это обычно и случается, совсем иное было с ней, и если она и любила ухаживания, она ничуть не меньше ценила добродетель; он к этому привык, и порой испытывал лукавое удовольствие, слушая о ее интрижках. Она сказала ему, что я принадлежал к числу ее воздыхателей, и так как я еще не покинул Месье Кардинала, и этот Магистрат верил, что я могу быть особенно в курсе происков его собратьев, она написала мне письмо по его совету. Содержание его было таково, что она поверила, якобы я говорил ей правду, когда подчас принимался заверять ее, будто она мне небезразлична; но она боялась, однако, в этом обмануться, поскольку когда истинно любят, находят же какое-то средство, вопреки тому, что происходило между обеими партиями, вновь увидеть ту, кого любят; такая неразбериха творилась с паспортами, что я, конечно же, мог раздобыть себе один, если бы хоть немного об этом позаботился; она даже предлагала мне сама избавить меня от этого труда, если я столкнусь с какими-нибудь трудностями; мне стоит лишь ее предупредить, и она пришлет мне паспорт.

Я показал это письмо Месье Кардиналу вовсе не для того, чтобы испросить у него позволения пойти повидать эту Даму, так как это была наименьшая из моих забот, но дабы узнать, не пожелает ли он воспользоваться этим случаем и приказать мне провернуть что-нибудь в городе, что могло бы обернуться в его пользу. Он мне сказал, что признателен за мою откровенность; мне непременно следует принять это предложение, и прежде, чем этот паспорт до меня дойдет, он скажет, что мне предстоит сделать для его службы; ему надо обдумать вопрос, поскольку по зрелому размышлению меньше ошибаются, чем когда решают дела впопыхах. Часом позже он послал за мной и вызвал к себе в Кабинет. Едва он меня увидел, как спросил, хорошо ли я умею разыгрывать влюбленного; я ему ответил, что были времена, когда я совсем недурно с этим справлялся, да полагаю, что и сейчас не окончательно все забыл. — Тем лучше, — сказал мне он, — но смотри не обмани меня, поскольку, когда имеют

любовницу, весьма редко не жертвуют ей своим Мэтром при случае. — Я ему ответил, что такое приключалось несколько раз, но только не с достойным человеком; к тому же для этого понадобилась бы любимая любовница, но когда она не больше по сердцу, чем эта, ни Мэтру, ни даже самому незначительному другу нечего бояться. Он мне заметил, поскольку я ее не любил, он признает вместе со мной, что должен отбросить всякое подозрение, и таким образом я должен ей без промедления написать, дабы она выслала мне обещанный паспорт.

Я сделал это, как только его покинул, и так как между ею и мной были совершенно одинаковые чувства, и мы думали лишь о том, как бы обмануть друг дружку, она не теряла времени со своей стороны и отправила мне то, о чем я ее просил. Я явился к ней в тот же день, когда получил мой паспорт, и, здорово разыграв своего персонажа подле нее, настолько хорошо прикинулся влюбленным, что она нашла мое месячное отсутствие, без возможности видеть ее, чудесным секретом для подогрева самого холодного любовника. Однако, подтверждая ту пылкость, какую я к ней проявлял, я сказал ей по секрету о своей надежде в самом скором времени вновь свидеться с ней, но уже без всякой нужды в паспортах. Я не хотел говорить об этом больше, прекрасно зная, — если я скажу что-то наполовину, то лишь сильнее раздразню ее любопытство узнать, что я под этим подразумевал. Что и не замедлило проявиться. Она умоляла меня объясниться получше, и, притворившись, якобы я раскаиваюсь в том, что и так уже слишком много выболтал, я ни за что не хотел нарушить молчания, пока она клятвенно не пообещала мне никогда и никому не передавать то, что я так хотел ей сказать в доказательство моей страсти к ней.

Я действовал не слишком хорошо, требуя от нее подобной вещи, ведь я нисколько не сомневался, что она не замедлит стать клятвопреступницей; но, наконец, так как я знал, что лицемерие часто приходится ко времени, и оно может даже принести больший успех, чем все остальное, я без труда отделался от всяких угрызений совести. Дама поклялась мне во всем, в чем я пожелал, и я сказал ей после этого, что такие-то и такие-то Президенты и такие-то и такие-то Советники обещали Месье Кардиналу принять его сторону вопреки всему; большинству из них обещаны бенефиции для их детей, и это осуществится тотчас же, как появятся вакантные должности; благодаря этому вознаграждению, они обещали незамедлительно покинуть Париж и удалиться в Монтаржи, куда Король переводит их Корпус своей Декларацией; те, кто останутся в Париже, окажутся после этого в малом числе; таким образом, Его Преосвященству будет нетрудно

их свалить. К тому же, Народ, уже жалующийся на них, вскоре поднимет их на смех, увидев, как более здравая часть их Корпуса бросила их, а те, что остались в Столице Королевства, не заслуживают больше называться Парламентом.

Парламент разделен

Дама тем лучше проглотила эту новость, что все те, кого я ей называл, сделались подозрительными для их собратьев. Они действительно знали, что те делали многочисленные предложения Двору, дабы запутать их партию, и если это не завершилось еще договором, то скорее потому, что их запросы не согласовывались с бедностью Двора. Так как, по большей части, Провинции поддержали неповиновение Парламента и последовали его примеру, деньги, поступавшие из них, были столь редки, что, далеко не проматывая их, как тем бы хотелось, никак не могли даже достаточно их сэкономить. Потому-то я и решил, что не должен заявлять, будто бы они были подкуплены за наличные деньги, поскольку все, что бы я ни сказал, было бы опровергнуто настоящим положением дел; и было гораздо более кстати, как я это и сделал, обратиться к таким вещам, на каких меня не смогли бы уличить во лжи.

Муж, с кем Дама поделилась тем, что я ей поведал, попался на это так же распрекрасно, как и она, настолько, что, войдя в сношения с теми из его Корпуса, кого он считал незапятнанными в каких-либо связях с Двором, они собирали между собой различные ассамблеи, где они, не остерегаясь, называли тех, кто был им подозрителен. Я не назвал, однако, Даме тех, кто должен был вызвать наибольшее подозрение, и кто действительно получал благотворительность Двора, так что никто ничего об этом не знал. Это уничтожило бы доверие к ним и те услуги, какие они оказывали, заверяя, что их советы даются исключительно в интересах Корпуса и блага Народа. Как бы там ни было, это коварство начинало сталкивать их между собой, и вскоре можно было надеяться на кое-какие плоды, когда Герцог де Бофор, недавно спасшийся из тюрьмы и вступивший в партию Парламента, постарался опровергнуть фальшивые слухи о предательстве его членов. Так как он не мог простить Кардиналу всех тех бедствий, что тот заставил его претерпеть, он не мог слышать без ужаса, будто бы кто-то желал пойти на соглашение с ним. Итак, когда он позаботился оправдать тех, кого я пытался очернить, я подвергся большому риску увидеть, как все мои надежды рухнут, как вдруг нежданный случай скорее, чем все остальное, вновь соединил души в тот самый момент, когда,

казалось, они снова рассорятся точно так же, как прежде.

Дурное состояние дел Парижан вынудило Парламент отправить кого-то просить помощи у Испанцев; Эрцгерцог Леопольд, командовавший в Нидерландах, счел не только возможным обещать ее тому, кого послал к нему Парламент, но еще и должным написать ему письмо своей собственной рукой, дабы заверить его, что он мог быть в этом уверен. Один из его дворян привез это письмо от его имени, и когда Двор узнал об этой новости и даже о том, что этот Эрцгерцог должен сам войти во Францию, чтобы снять блокаду Парижа, Королева Мать, всегда казавшаяся твердой в решимости покарать этот огромный город, внезапно изменила к нему отношение по причине угрожавшей ему опасности. Она сочла, и с полным на то резоном, что этот Принц, уже воспользовавшийся нашими беспорядками, чтобы отбить во. Фландрии множество добрых мест, прекрасно сможет присоединить к ним по дороге те, что пристанут к нему, будь то на границе Пикардии, будь то даже в самом сердце Королевства. Итак, необходимость обязала ее поубавить гордости; она отправила герольда к подданным Короля, хотя они и переходили всегда лишь от государя к государю. Но страх перед явлением Эрцгерцога настолько затуманил мозги большинству, что они больше сами не знали, что делали. Этот герольд предстал перед Воротами Сент-Оноре в своем военном платье и со своим жезлом; известили о нем этот Корпус, что не собирался больше, как обычно, для разбирательства личных дел, но только тех, что имели отношение к нему самому или же к Государству в целом.

Так как он был по-прежнему разделен, и те, кто были хорошо настроены по отношению ко Двору, пытались лишь урезонить других разделить с ними их соображения, они ухватились за этот случай, чтобы призвать тех к исполнению долга. Они заявили, что те, все, сколько их ни было, уже породили достаточно возражений своим поведением, отправив просить помощи у врагов Государства, чтобы навлекать на себя еще и новые упреки; если они примут этого герольда, они подадут их врагам повод обвинить их, как кое-кто уже и делал, в желании выдать самих себя за Государей; итак, следовало отослать его обратно и дать знать этой Принцессе, что если они его не приняли, то лишь потому, что не были такими преступниками, какими их старались изобразить в ее воображении.

Примирение

Парламент нашел этот совет совершенно достойным для него, и когда это мнение было принято большинством голосов, он

послал людей Короля, дабы сообщить Королеве, из-за какого резона был отправлен назад этот герольд. Среди этих Депутатов были люди, по-доброму настроенные к миру, и так как подобная покорность пришлась по вкусу Двору, и он хотел избавиться от страха перед явлением Эрцгерцога, он им предложил конференцию, дабы завершить полюбовно разногласия, разделявшие души. Они не могли согласиться на нее самостоятельно, какими бы добрыми ни были их намерения. Им надо было предварительно отдать об этом рапорт Парламенту, и, сделав это в таких выражениях, что если им пожелают поверить, то следовало немедленно воспользоваться расположением Королевы Матери их простить, они добились единогласного согласия с их мнением. Договорились, как с одной стороны, так и с другой, что все соберутся в Рюэй для изучения всех вопросов. Парламент направил туда Депутатов, и Кардинал Мазарини сам поехал туда от имени Двора; Герцог д'Орлеан почтил эти конференции своим присутствием.

Наконец, после добрых споров, мир был заключен между обеими партиями. Но он был недолговечен, в том смысле, что в самом скором времени гражданская война разгорелась столь сильно, что все виденное до тех пор показалось ничем по сравнению с тем, что увидели тогда.

Конец, первого тома.

notes

Примечания

1

То и другое произносится одинаково — Эден, генерал Лортест